**Максим Д. Шраер**

**В ожидании Америки**

Эмилии Шраер и Давиду Шраеру-Петрову с любовью

*Моя огромная и замороженная Mademoiselle вполне мыслима на земле, но невозможна в вечности. Удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю.*

Владимир Набоков

*Я говорил по-итальянски лишь тогда, когда мы с отцом навещали ворона в парке на Вилле Боргезе и кормили его арахисом.*

Джон Чивер

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

**Бегство**

**1**

**Винервальд**

В 1987-м, в начале июня, через два дня после того, как мне стукнуло двадцать, наша семья эмигрировала из Советского Союза. Почти девять лет мы безуспешно пытались получить разрешение на выезд, боролись, теряли надежду и обретали ее вновь. Мне было девять лет, когда родители решились эмигрировать; ко времени отъезда я был на третьем курсе университета.

Ночью в Москве шел дождь, и, когда ранним утром мы в последний раз вышли из дома, мостовые и тротуары были покрыты одеялом летнего снега — тополиного пуха. В аэропорт мы ехали на черной БМВ с дипломатическими номерами. Наш друг и покровитель, сотрудник отдела культуры американского посольства, предложил отвезти нас в Шереметьево-2 и посадить в самолет. Чтобы убедиться, что напоследок службы безопасности не приготовили нам никаких сюрпризов.

В суете и хаосе аэропорта я мысленно прощался (навек, как мне тогда казалось) со всей прежней жизнью. С нами ехали бабушка, моя тетя (младшая сестра моей матери) и ее одиннадцатилетняя дочь. Бабушке, вдовевшей не один год, было семьдесят три. Голубоглазая, с завитыми, окрашенными в янтарный цвет волосами, в юбке медово-кориандровых тонов и желтой шелковой блузке оттенка бледного тюльпана, она выглядела значительно моложе своих советских лет. В руках бабушка крепко держала огромный кожаный ридикюль. В Москве они все — бабушка, тетя и двоюродная сестренка — жили в одной квартире, образуя ядро семьи, в которой не было отцов и мужей. Теперь им предстояло первыми пройти таможню. Высокая женщина-сержант, которая в другой жизни, наверное, остригала несчастным волосы в предбанниках газовых камер, приказала бабушке встать отдельно от дочери и внучки и увела ее на личный досмотр. В этот момент моя двоюродная сестра, будто осознав окончательность отъезда, вдруг зарыдала и, размазывая по лицу слезы, стала неистово рваться к отцу, стоявшему за перегородкой. Ее родители давно разошлись, и отец оставался в России со своей новой семьей. Невыносимо было смотреть на эту девочку в платьице в горошек, на эту девочку с ангельскими кудряшками, навек прощающуюся с отцом. Я почувствовал облегчение, когда меня вызвали к таможенной стойке.

— Куда направляемся? — спросил меня до глупости улыбчивый лейтенант службы досмотра, одновременно прощупывая со всех сторон мой ярко-синий рюкзачок. — В южном направлении или в Штаты?

Игнорируя вопрос, я уставился на свои новые черные блестящие туфли, сделав вид, что не понял вопроса. Естественно, я знал, что «в южном направлении» означает Израиль, и не хотел поддерживать этот провокационный разговор.

Я был другим человеком, когда в июне 1987-го уезжал из России. Более дерзким, смелым, даже отчаянным, но в то же время менее чувствительным, менее способным к терпимости и, уж конечно, более категоричным. За двадцать лет советской жизни я привык ожидать проявления антисемитизма и был готов защищать свою честь кулаками. Я искренне считал Рональда Рейгана отличным президентом лишь потому, что Рейган яростно противостоял «империи зла» — Советскому Союзу. Худой, долговязый, я носил короткую стрижку с челкой над бровями а-ля юный Пастернак. И был абсолютно поглощен собой, как бывает только в молодости.

— Что в карманах? — спросил таможенник, заводясь от моего упрямого молчания.

Я методично выложил на стойку все содержимое карманов своего нового светлого костюма в мелкую клетку, присланного дядей Пиней из Израиля. Там были маленький блокнотик в кожаном переплете с набросками будущих стихов, рулетка, два носовых платка, драгоценная кассета с фотопленкой и шоколадка, которую кто-то мне сунул в аэропорту. В этот день мы были одеты в самые нарядные вещи: вступая в новую жизнь, мы хотели выглядеть как можно лучше.

Миновав таможню и пройдя паспортный контроль, мы замедлили шаг. Еще один, теперь уже последний взгляд на провожающих — небольшую группу друзей и родственников. Я смотрел на моих дорогих друзей. Вот он, мой разорванный магический круг: Миша Зайчик, впервые отпустивший бороду; Таня Апраксина, с невероятными ногами и осанкой балерины; Алик Фраерман, весельчак-левантинец; Леночка Борисова, с тушью, размазанной по круглым славянским щекам; аристократ и флегматик Федор Боголепов, пытающийся выловить носовой платок из кармана своего вельветового пиджака; Лана Бернштейн — стрижка в духе югендстиля, великолепно вылепленный нос и изящные руки. Среди них не было «моей» девушки, да у нас тогда не было герлфрендз и бойфрендз в американском смысле слова — только девочки и мальчики, с которыми мы дружили и встречались, только и всего. Да, Лана Бернштейн была моей первой любовью, но не моей «официальной» подругой. По ту сторону турникета стояли самые дорогие мне люди и махали на прощание. Увижу ли я их когда-нибудь? Вот о чем я думал, когда аэрофлотовский стюард вел нас в зал ожидания пассажиров первого класса.

Мы летели первым классом просто потому, что в первый класс было легче купить билеты. Получив, наконец, разрешение на выезд после девяти лет в чистилище отказа, мы не хотели ни одного лишнего дня оставаться в России. В английском слово *«refusenik»*  соответствует советскому слову «отказник» и должно означать «тот, кому отказано в разрешении уехать» из Советского Союза. Но на самом деле в английской перелицовке этот термин приобрел двусмысленность, ирония которой вряд ли намеренна: это советская власть «отказывала», а единственное, от чего отказывались сами евреи, — это от билета в советский рай.

Вскоре нам принесли напитки и тартинки с черной икрой. Родители судорожно стали меня обнимать. Мама пригубила бокал с тоником; она дрожала, а в глазах стояли слезы.

— Ты замерзла? Хочешь мой пиджак? — спросил отец.

— Подожди, не могу говорить, — прошептала мама, уткнувшись головой ему в плечо. Одной рукой она шарила в замшевой сумочке, где были сигареты и спички.

Маме было тогда сорок семь. У нее были пепельнозолотые волосы. Уже в Америке, от невозможности забыть советское прошлое, они обрели ртутный блеск. Летом мамины волосы становились слегка волнистыми и выгорали на солнце. А большие серо-голубые глаза, пронзительные и проницательные, смеющиеся или ниспровергающие, летом принимали глубокий оттенок аквамаринового свечения — этого чуда морской воды и солнца. Но сейчас в ее глазах была соль от едва сдерживаемых слез, они блестели от бессонной ночи и от флуоресцентных ламп, освещавших зал ожидания первого класса.

— Мы вытащили тебя отсюда, сынуля. Наконец-то мы тебя вытащили, — сказал мне отец. Странное сочетание изощренности и ярости, недоверия и наивности скользнуло в его воспаленных, серо-зеленых глазах, глядевших из-под прямоугольных черепаховых очков. Отец не мог уснуть перед отъездом, бродил по округе до рассвета. А утром зашел его друг — поэт Г. С., чтобы проститься. Они вместе завтракали, пили коньяк.

Моему отцу, писателю и ученому, шел пятьдесят второй год. Американский тележурналист, который брал интервью у моих родителей еще в Москве, а потом поддерживал с нами связь в Америке, спустя много лет поведал мне, что в шестьдесят один отец выглядел лучше, чем в Москве десятью годами раньше. За год с лишним до нашего отъезда отцу два месяца пришлось скрываться от спецслужб. У него за границей вышел роман; к нему приставили постоянную слежку. После двух месяцев такой жизни у отца случился инфаркт. Рубец на сердце зажил, а вот тяжелые воспоминания о тех днях еще долго мучили. В утро нашего отъезда отец надел темно-синий пиджак, который мы называли «клубным» в честь мифической британской моды, серые габардиновые брюки и бордовые кожаные испанские туфли. Черно-коричневый портфель-дипломат, в котором лежали все наши документы, отец не выпускал из рук.

— Мы вытащили тебя, — лихорадочно повторял отец, целуя меня и маму, словно слепой, тыкаясь в наши носы, подбородки, лбы.

Наша семья стояла на пороге другой, «западной» жизни. Как вскоре выяснилось, несмотря на годы ожидания и приготовлений, мы оказались к той жизни вовсе не готовы.

Через полчаса мы сели в самолет. Стюардессы Аэрофлота, одетые в синюю форму, выглядели как кинозвезды. К нам они уже не относились как к своим — субъектам советской империи. Мы, эмигранты, для них были почти иностранцами, а иностранцам они выказывали значительно больше почтения, чем своим согражданам. Мы летели над Украиной, потом над Чехословакией и пили шампанское. Мы пили за наше избавление и все заглядывали в иллюминатор, пытаясь определить, миновал ли самолет невидимую границу Восточного блока. Багаж всей нашей жизни умещался в пяти чемоданах. Удостоверениями личности служили нам советские выездные визы с черно-белыми обезумевшими фотографиями. Нас лишили советского гражданства. Раньше мы были отказниками — заложниками режима; теперь же стали еврейскими беженцами — лицами без гражданства, единственной защитой которых являлись шаткие международные соглашения. О будущем мы знали лишь одно — мы едем в Америку.

В венском аэропорту нашу группу, состоящую примерно из двадцати пяти советских беженцев, сероголубые униформы отвели в какой-то зал ожидания или холл (здесь в моих воспоминаниях панический пробел). И там мы стояли, сгрудившись, в ожидании первой разлуки.

— В Израиль? Кто-нибудь в Израиль? — выкрикнула по-русски высокая загорелая женщина, представительница израильского Министерства абсорбции.

Выпустив из рук портфель, мой отец дрогнул. Он распахнул руки и разомкнул сухие губы, будто бы хотел подать знак или что-то сказать этой израильтянке. Мама посмотрела на отца с укоризной.

— Пожалуйста, не начинай опять… — прошептала она, и этот свинцовый шепот достиг ушей окружавших нас беженцев.

Справа от нас притулился Анатолий Штейнфельд, бывший университетский профессор-античник. В 1980-м он попал «в отказ» и потерял работу. Мои родители были со Штейнфельдом шапочно знакомы — по отказническим делам — и не жаловали его за хроническую надменность. В годы «отказа» Штейнфельд преподавал историю в вечерней школе рабочей молодежи. Ему было около сорока пяти, он был дважды разведен и в Москве оставил дочку-подростка. Полиглот, Штейнфельд был известен в кругах московских отказников прежде всего тем, что, ни разу не побывав за пределами СССР, свободно владел английским, немецким, французским, итальянским и испанским языками. Второй заявкой на славу была его близость к известному деятелю русской православной церкви, отцу М., выходцу из евреев, поставившему себе целью крестить других евреев. Его духовными чадами по большей части становились интеллектуалы, художники, литераторы, музыканты. Под влиянием отца М. в 1970-е Штейнфельд крестился, а позднее стал распространять среди отказников идею, что евреи-христиане — «дважды избранники» — и посему несут двойную миссию. Штейнфельд стригся под Юлия Цезаря и культивировал отталкивающую бледность на пухлых щеках и двойном подбородке.

— Кто захочет ехать в Израиль?! — произнес Штейнфельд громко, чтобы сквозь шум терминала вся наша группа беженцев услышала его слова. — Полицейское государство, — добавил он, неприятно ухмыльнувшись.

Подобно быку, которому показали красную тряпку, мой отец не смог проигнорировать ядовитый смысл, который Штейнфельд вложил в слова.

— Послушайте, Штейнфельд, — начал отец, раскачиваясь на ногах, словно вспомнив боксерское прошлое. Ему пришлось бросить бокс в мединституте, когда врачи объявили, что иначе он потеряет зрение. — Послушайте, Штейнфельд, — повторил отец, подавшись к нему головой и всем корпусом, — куда кому ехать — это личное дело каждого. Но не смейте здесь поливать грязью Израиль. Если бы не было Израиля, вы бы до сих пор преподавали французскую революцию пьяницам и прогульщикам.

Мама потянула отца за рукав клубного пиджака.

— Если бы не ваша очаровательная жена, вы бы давно стали форменным сионистом, не так ли, господин писатель? — сказал Штейнфельд, поведя жирным подбородком.

— Есть кто-нибудь в Израиль? — израильская амазонка спросила в этот раз таким голосом, каким бармен объявляет последний раунд коктейлей.

— Да, здесь! — крикнула девушка лет двадцати, обращаясь к амазонке. — Кэн!

«Кэн» означает «да» на иврите, и, услыхав это слово, вся наша группа беженцев разомкнула ряды, пропуская вперед девушку и ее семью. Девушка уезжала из Москвы с отцом, старым отказником, его второй женой и их двумя маленькими детьми. Мать этой девушки умерла от лейкемии, пока они сидели «в отказе», и отец спустя некоторое время женился во второй раз — на молодой женщине.

— Ну что, папа… — сказала девушка, взяв отца за руку. — Удачи вам в Америке!

Она поцеловала отца в лоб, потом обняла и поцеловала своих сводных братиков, но обошла стороной их маму.

— Пойдем, моя хорошая, — сказала израильтянка и обняла юную сионистку. — А то пропустишь рейс на Тель-Авив.

— Аня, — отец девушки сказал умоляющим голосом, протягивая к ней дрожащую руку, словно пытаясь в последний раз переубедить ее. — Анечка, подожди!

Но амазонка уже вела его дочь по направлению к алюминиевой двери в другом конце зала ожидания.

— Больше никого нет в Израиль? — воскликнул худощавый лысый человечек, который появился ниоткуда и предстал перед нашей группой. Он был в белой льняной кепке, желтой рубашке апаш и белых брюках. На вид ему было лет шестьдесят, и говорил он по-русски с местечковым выговором, примерно так, как разговаривала покойная тетушка моего отца из Минска, только с еще более сильным идишским акцентом и презабавными ударениями. На его левой ладони лежала записная книжечка, по которой он постукивал толстой серебряной перьевой ручкой.

— Что, слишком жарко там для вас? — быстроглазый человечек подмигнул нам всем сразу, а потом снял колпачок с серебряной ручки.

— Все меня слышат, да? — спросил он, делая один шаг вперед.

— Да. Хорошо, — раздалось несколько голосов ему в ответ.

— Меня зовут Сланский, — объявил он громко, напирая на шипящие, как старая травяная змея. — Я работаю в ХИАСе, это означает еврейское общество помощи иммигрантам. Вообще-то я из Польши, из-под Варшавы. Я и моя жена, — он повернул голову налево, указывая на стоящую рядом блондинку лет пятидесяти. Блондинка была одета в блузку с золотыми ромбиками и белую юбку и колыхалась на высоких каблуках. — Ее звать Бася. Мы уже с ней живем в Вене двадцать пять лет и почти столько же работаем в ХИАСе. Так что уж вы не волнуйтесь, мы поможем вам, доставим в гостиницу. Вопросы зададите, когда мы поедем из аэропорта. У нас три мини-вэна. Я за рулем, моя дорогая женка ведет другую машину, а еще у нас тут Попеску, румын, на третьей машине с нами работает. Он, кстати, тоже говорит по-русски. Так что, уважаемые беженцы, давайте уже пойдем. Возьмем багаж, там, кстати, и туалет есть, если кому нужно.

Разобравшись с багажом, супруги Сланские переписали наши имена и принялись делить нас на группы по восемь-десять человек в каждой. Пока они темпераментно обсуждали по-польски, как скомпоновать группы в соответствии с количеством мест в отелях и пансионах для беженцев, я стал выходить из состояния паралича сознания, в которое впал, сойдя с трапа. В первый час по прибытии в Вену я словно онемел и с трудом мог воспринимать окружающее.

Порой в самые шоковые или душераздирающие моменты память фиксирует совершенно ненужные предметы. Мой взгляд упал на группу из шести человек, выделявшихся среди новоиспеченных беженцев. Они замерли в ожидании, как провинциальное семейство в мастерской стародавнего фотографа. В центре группы — самодовольный господин лет сорока двух, в черном костюме и огромной шерстяной кепке — такие в России называли «аэродром» и недвусмысленно связывали с кавказским происхождением их обладателей. Широкий воротник его полосатой кремовой рубашки лежал на еще более широком отвороте пиджака. Словно марионетка, тлеющая сигарета свисала из угла рта. Мужчина в кепке-аэродроме поддерживал за локоть женщину с пышными темными волосами, покрытыми газовым золотистым платком. На ней было платье, вышитое золотой нитью. Женщина тревожно улыбалась. Слева от нее стояла девочка лет десяти-одиннадцати, в которой уже просыпались зачатки будущей женственности, как это бывает у девочек на Ближнем Востоке, в Передней Азии и на Кавказе. Она держалась за руку юноши, одетого в черный костюм со щегольским темно-вишневым галстуком, и, казалось, рассказывала что-то забавное, пытаясь рассмешить его, а он стоял словно манекен, позволяя девочке играть его повисшей, как плеть, рукой. Его взгляд был устремлен вниз, на гранитные плиты, которыми был вымощен пол терминала. На плече у молодого человека висел узкий черный футляр с молниями. Справа от курящего мужчины и позолоченной женщины, на видавшем виды коричневом фибровом чемодане, сидела пожилая парочка беглецов из этнографического музея. Старику было за семьдесят, он был невысок и жилист, с лицом, исчерченным стальной щетиной. Он был обут в нечто, напоминающее сапоги для верховой езды. Вместо пиджака на старике была черкеска из серого сукна с рядами газырей — традиционная одежда кавказских горцев. Черная папаха высилась как водокачка над городской площадью. Лицо старика не выражало ничего, кроме презрения к происходящему — презрения с примесью свирепости и храбрости. Зобатая жена старика с фарфоровыми блюдцами глаз припала к нему, как курица к насесту. Старуха была вся сплошь в черном, за исключением газового платка с серебряной нитью, покрывавшего голову. Несмотря на очевидную разницу темпераментов этих мужчин с Кавказа (разницу, которая иногда затуманивает фенотипическое сходство), все трое были очень похожи: невысокие, с крючковатыми носами, черными волнистыми волосами и тираническими бровями. Старик резким голосом что-то говорил своей старухе на языке, похожем на таджикский. Отец, чувствуя мое любопытство, объяснил:

— Это таты. Горские евреи. Они говорят на татском языке, смеси иврита и фарси.

— Откуда ты знаешь, пап? — удивился я.

— Довелось встречать татов, когда служил в армии, и потом в Азербайджане, в 60-е годы. А однажды даже переводил стихи татского поэта Кукуллу на русский язык.

Неожиданно юноша с узким черным футляром подошел ко мне. Нежно приложив тонкую ладонь к моему локтю, он сказал:

— Здравствуй, друг, меня зовут Александр. Я из Баку, из солнечного Азербайджана.

Я смотрел на этого юного музыканта, не говоря ни слова.

— Друг, куда они везут нас? Ты знаешь?

— В какой-нибудь отель, гостиницу или общежитие для беженцев, — проговорил я без всякой интонации.

— А я никогда не жил в общежитии, — возбужденно произнес юноша. — Дома, в Баку, у нас была великолепная квартира. Четыре комнаты. Знаешь, друг, — он посмотрел мне в глаза, — я так и не понял, зачем мы уехали. Никто против нас ничего не имел в Баку. Ни против нас, ни против друг друга. Мы все жили как братья — азербайджанцы, евреи, армяне, русские…

С некоторым усилием я вспомнил, что читал в старших классах о массовой армянской резне в Баку где-то в начале двадцатого столетия, но мне совершенно не хотелось спорить с этим уже успевшим соскучиться по дому флейтистом. Я лишь легонько похлопал его по спине… А вскоре назвали и нашу фамилию.

Из аэропорта мы ехали в длинном серебристого-лубом вэне. Попеску опустил стекло и выбросил окурок на гладкую поверхность шоссе. С нами в машине ехали мои бабушка, тетя и двоюродная сестра, а также пара незнакомцев. Пожилая полная дама по фамилии Перельман держала путь в Калгари, чтобы воссоединиться с сыном и его семьей после восьми лет разлуки. Она рассказала, что ее муж, авиаконструктор, умер в России, так и не увидав своих «канадских» внуков. Другой наш попутчик, мужчина лет тридцати, дантист с густыми казацкими усами, тут же рассказал, что едет к своей невесте, живущей уже два года в Америке. Что она прилетит из Сент-Луиса, чтобы побыть с ним в Италии. Всю дорогу из аэропорта, пока мы мчались сквозь лиловые сумерки, растушеванные неоновыми огнями, дантист-ветрогон восторженно комментировал все, что попадалось по пути. Выражался он в таком духе: «Вот это я понимаю — хайвей!» или «Посмотрите — какое тут все новое и чистое!»

Примерно через полчаса мы подъехали к пансиону для беженцев в городке Габлиц, всего в пяти милях от Вены. Это был трехэтажный дом с лепниной на фасадах, балконами и красной черепичной крышей. Владелица пансиона, болезненного вида дамочка лет сорока шести-сорока восьми, поздоровалась с нашим водителем-румыном по-немецки и принялась подписывать бумаги, которые он выложил на стойку приема посетителей.

— Эта женщина зовет Шарлотта, — проговорил румын на ужасающем русском. — Она здесь хозяйка. Очень жесткая. Нет улыбки, есть железная дисциплина. Как и все тут их, знаешь.

— Как нам связаться с вами в экстренном случае? — спросил дантист.

— В какой экстренной случае? — насмешливо спросил Попеску. — Расслабься, товарищ, ты в свободная страна.

Уже стоя в дверях, он повернулся и добавил:

— Не забывайте, завтра утром Сланский придет взять вас в Вену. Остальная семья из вашей группы живет в центре Вены, их везти не надо, а вас поставили в природе, и будет вас везти — очень неплохо.

Шарлотта, хозяйка пансиона, была одета в розовые джинсы и белую кружевную блузку. У нее было вытянутое землистое лицо; из-под неубранных волос торчал длинный восковой нос.

— Длинный Нос, — шепнул я по-русски маме.

Едва обращая на нас внимание, Шарлотта несколько минут изучала журнал регистрации гостей.

— Вы и вы, — наконец заговорила она, указывая пальцем на моих родителей. — Номер пять, — и она протянула отцу ключ.

— Вы, вы и вы, — указала она на бабушку, тетю и двоюродную сестру. — Все вместе. Номер двенадцать.

— А мне куда? — спросил я.

— Вы, — Длинный Нос протянула свой желтый палец к моему подбородку, — номер семнадцать. Мансарда.

Мы перенесли наш багаж наверх, затем потащили баулы и чемоданы наших родственников. Вот только тяжеленный кофр моей тети остался ночевать внизу, в каморке. После ужина в столовой на нижнем этаже все уже падали с ног от усталости, и ни о какой прогулке по окрестностям не могло быть и речи. Я совсем не помню, как забрался в мансарду и упал как подрубленный на кровать.

Наутро после прилета в Вену я подошел к узкому окошку. Везде вокруг были пышные кроны Венского леса. В младших классах школы я солировал в хоре, и припев всплыл у меня в голове: «Венский лес (тра-ля-ля), мир чудес (тра-ля-ля)». Я принял душ в общей ванной на этаже, оделся и пошел прогуляться. Миновал виноградник, потом крошечную почтовую станцию. Я шел извилинами узкого шоссе, потом инстинктивно повернул налево и оказался на асфальтированной проселочной дороге, испещренной трещинами. Дорога поднималась в гору мимо заброшенного дома с высокой заостренной крышей и большим фруктовым садом, заросшим и одичавшим. Серая башенка замка, видневшегося вдали, проглядывала сквозь свежую зелень буков, дубов и вязов. Пожилой господин в черном костюме-тройке, белой рубашке с кроваво-красным галстуком и тирольской шляпе скрипуче поприветствовал меня словами «Грюсс Готт!» и отступил куда-то в глубины прошлого столетия. Иволга высвистывала флейтовый напев. Рыжая косуля перебежала дорогу и скрылась в тенистых зарослях. Три облачка застыли у меня над головой. Только что вырвавшись из страны, где уединение было почти невозможным, я испытывал волшебное ощущение: я был совсем один. Человек без подданства и отечества, усталый странник, бредущий по Венском лесу.

После континентального завтрака Сланский, представитель ХИАСа, повез нас на своем красном сверкающем «опеле» в Вену.

— Сперва, — обратился он к моему отцу, — вы как глава семьи пройдете интервью у израильтян. Есть такая договоренность между ХИАСом и израильтянами — они получают еще один шанс.

— Руки будут выкручивать? — спросила мама.

— Это вы сказали, дорогая мадам, а не я.

Сланский хихикнул, как сатир.

— Вы себе просто послушайте, что вам скажут, и вежливо им отвечайте: «Нет, благодарю». Они ничего с вами сделать не могут.

— Мы не собираемся в Израиль, — сказала мама. — А потом, когда интервью закончится, что будет?

— Потом суп с котом, — отрезал Сланский, гордый своим знанием русских пословиц и поговорок. — Терпение, мадамочка, вы больше не в Советском Союзе.

Мама мертвенно побледнела, но ничего не ответила.

Сланский высадил нас в центре Вены, напротив здания, где усталые кариатиды поддерживали окна верхних этажей.

— Как только закончите здесь, идите по этому адресу в офис ХИАСа. Второй этаж, вам там покажут, — и он вручил нам бледную фотокопию плана центрального района Вены с двумя пунктами, обведенными черными чернилами.

Мы с мамой прождали почти полтора часа за дверьми офиса, куда удалился отец в компании человека с огненно-рыжими волосами и толстым шрамом поперек лба. Когда отец, наконец, вышел, на нем не было пиджака; узел полосатого серо-голубого галстука был распущен. Он выглядел бледным и изможденным, лоб и залысины блестели капельками дневной росы. Видно было, что его основательно по-мурыжили.

— Все, пошли, — процедил он сквозь зубы.

Мы вышли на улицу, загроможденную утренним движением, и отец пересказал нам содержание своего мучительного разговора с представителями израильского Министерства абсорбции. Они пытались убедить его сделать *алию*  в Израиль вместо того, чтобы ехать в Америку.

— Давили на меня, стыдили. Место еврея-писателя, да еще пострадавшего от режима, в Израиле. Самое ужасное, что я отчасти согласен с тем, что они говорили. Оба парня в юности уехали из России — в начале 1970-х; они боготворят Израиль. Служили в армии. Один из них, со шрамом, был ранен в 1973-м. Он прочитал мой роман сразу после публикации в Израиле. Я не мог смотреть им в глаза.

— Теперь уже все позади, — сказала мама.

Отец молча кивнул.

— Кстати, они что-нибудь говорили о наших родственниках? — спросила мама.

— Да, они слышали о моем двоюродном брате, сыне дяди Пини. Оба сказали, что он знаменитый в Израиле скульптор и поэт.

— А о родных моего папы? — нетерпеливо спросила мама. — О моей тете они наверняка слышали — она много лет была директором курсов медсестер в госпитале Хадасса в Иерусалиме. А мой дядя Хаим…

— Я дико хочу есть и пить, — сказал папа, меняя тему разговора.

Еще в аэропорту Сланский выдал каждой семье немного денег на всякий случай, на несколько первых дней. Направляясь в офис ХИАСа, где нас ждало еще одно интервью, мы остановились у палатки с бутербродами и истратили почти все наши шиллинги на два бутерброда и пару бутылок апельсинового сока, разделив купленное на троих.

Штаб-квартира Общества помощи еврейским иммигрантам была в Нью-Йорке. ХИАС брал на себя заботу о еврейских беженцах с момента их прибытия в Вену и до высадки из самолета в Америке. В Вене каждый из нас должен был начать оформлять бумаги, необходимые для получения статуса беженца.

После томительного ожидания в громадном шумном помещении, напоминающем конференц-зал, мы были приглашены в кабинет, освещаемый старинным торшером с ярко-желтым абажуром.

Погруженный в себя сотрудник ХИАСа говорил оперным фальцетом, обращаясь не к нам, а к пекинесу, которого держал на коленях и поглаживал:

— А, москвичи. Элита.

— Так я понимаю, вы хорошо говорите по-английски? — спросил он маму, не отрывая своих близоруких глаз от бумаг, лежавших перед ним на столе.

— Я преподавала английский в вузе. Меня уволили, как только мы подали документы на выезд, — ответила мама.

— А вы что хотели, чтобы вам после этого зарплату повысили? — заметил чиновник, выделяя токсичные пары восторга.

— Вы большой философ, — взвился мой отец, вечный диссидент, готовый всегда бороться за справедливость.

— Еще одно слово, — завизжал на отца сотрудник ХИАСа, и в глазах его сверкнул смертоносный зеленый луч, — и вы отсюда вылетите!

Помню, я сидел в тот момент и думал: ну что за глупый человечишка! Мы только прилетели, мы не провели на Западе еще и двух дней, а какой-то мелкий тиран с собачкой уже издевается над нами. Даже прожив столько лет в свободной стране, этот карикатурный субчик не утратил мелкотравчатой злости того советского чиновника, которым бы, по-видимому, стал, живи он и по сей день в Советском Союзе.

Отец попробовал было встать на дыбы, словно конь, который тщится сбросить зарвавшегося всадника, и только рука мамы помогла ему удержать гнев в узде. На несколько минут отец застыл на самом краю стула, в раздражении разглядывая потертый рисунок ковра.

Тем временем чиновник почувствовал, что зашел слишком далеко, и обратился к отцу в примирительном тоне:

— Мне кажется, я читал что-то ваше. Рассказ или, может быть, поэму? Что-то в этом роде… Кажется, про жену Лота? Скажу вам, хорошо, что у вас есть профессия врача. В Америке писателей больше, чем уборщиц.

Он несколько минут изучал нас, а мы молча поглядывали на него со своих неудобных мест. Потом сказал, обращаясь одновременно ко всем троим:

— Старые отказники, да? Давно не встречал таких, как вы. Когда впервые подали на выезд? В 1978-м? 1979-м? Понятно, застряли из-за Афганистана. Много таких, как вы, остепененных, застряло. И что вы себе думали?

На пару минут он углубился в свои бумаги, затем поднял на нас масляные глаза.

— Так-с, посмотрим… Куда направляемся?

— В Вашингтон Ди Си, а может, в Филадельфию. Мы еще не решили, — ответила мама.

— Не решили? Почему нет? Лучше бы решить до того, как окажетесь в Италии.

Затем он рассказал, что ребенком вместе с родителями был в концлагере. Они выжили и в 1950-м уехали в Израиль.

— Я здесь, в Вене, уже много лет, — продолжал чиновник. — Моя жена из венгерских евреев. Тоже выжила. Она не знает русского языка, дома мы говорим на идиш или венгерском. Иногда на немецком.

Он повернул к нам фотографию в рамке, стоящую на его столе.

— Вы говорите, что в Москве изучали естественные науки. Что хотите изучать в Америке? — спросил он меня под конец интервью.

— Литературу, — ответил я.

— Литературу? А почему не медицину, не бизнес, не юриспруденцию? — Настольный вентилятор отражался в его золотых зубах.

— А знаете, что означает ваша фамилия? — спросил он меня. — Крикун, крикун!

Русский язык чиновника окислился и позеленел за эти долгие годы.

— Не делайте глупостей. Не катайтесь на метро без билета или что-то вроде этого, — предупредил он нас, выдавая денежное пособие на неделю. — Примерно через неделю-полторы, — сказал он заговорщическим тоном, — вы уедете ночным поездом в Италию. Будьте готовы.

Выданные деньги позволили нам не чувствовать себя в Вене безнадежными нищими. Мы осмотрели дворец Габсбургов и постояли у витрины, разглядывая ту самую корону, которая когда-то объединяла Австрию и Испанию. Любитель верховой езды, я уговорил родителей посмотреть выездку жеребцов в Испанской школе верховой езды. После позднего обеда в кафе под открытым небом мы бродили по Юден-плацу, бывшему центру старого еврейского гетто, где синагога была разрушена разбушевавшейся толпой во время погрома в середине XV века. Это был настоящий погром, но как странно, по-варварски, звучало это русское слово в Вене, на площади, где когда-то жил Моцарт. Погром в Вене? Этот смысловой диссонанс вызвал разброд и шатание в мыслях, но вокруг была такая красота и благость — все прочило счастье и покой нашей семье еврейских беженцев из СССР.

В Габлиц мы вернулись на автобусе точно к ужину. На следующий день не поехали в Вену, решили отдохнуть и погулять по центру Габлица. Это был безобидный городок с ресторанами и магазинчиками, совершенно недоступными для нас в то время. Основными достопримечательностями были римская гробница и музей местной истории и искусств. Музей располагался в здании начальной школы и являл собой вереницу уходящих вглубь комнат и комнаток, заполненных до краев фарфоровыми безделушками, портретами местных аристократов и их гончих, олеографиями, гобеленами и акварелями с изображениями Венского леса в разное время дня и года, рукописями австрийских писателей, гостивших в Габлице, и, что неизбежно для таких музеев, целым арсеналом мечей, шпаг и сабель, шлемов, кольчуг и лат — арсеналом столь богатым, что можно было бы вооружить все население городка. В музее не было ничего, что бы свидетельствовало о годах нацизма в Австрии[1].

Мы с родителями бесцельно слонялись по открыточному австрийскому городку, разглядывая витрины, наслаждаясь спокойствием, стараясь освободиться от бремени последних двух месяцев, предварявших отъезд из России. И все еще находились в состоянии какого-то дикого изумления.

В пансион мы возвращались другой дорогой и по пути набрели на небольшой продуктовый магазин. Изобилие еды, громоздящейся на полках и за стеклянными дверьми холодильников, поражало, и этот магазин означал для нас нечто большее, чем музейчик в центре Габлица, в котором мы только что побывали. Улыбающийся хозяин с полным румяным лицом и мясистыми руками, в голубом переднике, подвязанном на животе, не сводил с нас глаз, пока мы брали и взвешивали в руках различные пакеты и жестянки, пытаясь навскидку понять, сколько же это может стоить.

В конце концов мы купили буханку вкуснейшего ароматного ржаного хлеба, копченую грудку индейки, помидоры, бананы и пять-шесть разных йогуртов и кремов в пластмассовых стаканчиках. Рядом с магазином на улице стоял столик для пикника, где мы и уселись пировать под кроной старого вяза.

В двух шагах от магазина был бассейн, окруженный проволочной изгородью и прямоугольником высокого кустарника. Мы подошли к входу и заглянули в полуоткрытые ворота. Какой-то старик спал в кресле, уронив газету на землю. Дети прыгали в воду и визжали от восторга. Женщины в купальных трусиках — неужели матери этих детей? — сидели в шезлонгах у бассейна, потягивая напитки из высоких узких бутылочек.

— Думаю, это частная собственность. Пошли отсюда, — сказал отец.

— Ну почему не спросить? — предложила мама и вошла в ворота.

Вскоре она вернулась, улыбаясь.

— Я разговаривала со служителем. Он был очень любезен. На самом деле это городской бассейн. Плата за весь день — всего три шиллинга.

Вернувшись в отель, мы быстро переоделись и двинулись обратно к бассейну. Пока шли, солнце скрылось за тяжкими облаками и пошел дождь. Нам ничего не оставалось, как провести остаток дня в пансионе. В какой-то момент длинноносая Шарлотта, стоя за конторкой, мерзким голосом выкрикнула нашу фамилию: это друзья позвонили нам из Род-Айленда.

ХИАС организовал для беженцев бесплатные завтраки и ужины в пансионе. Ужин накрывали в семь. С первого вечера мы оказались за одним столиком с мадам Перельман, полной пожилой дамой из Москвы, с которой до этого ехали из венского аэропорта.

— Вы ведь уже познакомились с Шарлоттой, хозяйкой пансиона? — громко зашептала она, как только мы сели за стол.

— С Шарлоттой Длинный Нос? — переспросил я.

— Как вам не совестно, молодой человек, — осадила меня старушка.

— Но это же чистая правда!

— Вы даже не представляете себе, что я сегодня узнала! — сообщила нам мадам Перельман.

— Друг мой, позвольте предположить… — игриво начал мой отец. — Вы узнали, что наша Шарлотта — переодетый мужчина?

— Как вы можете такое говорить? Вы же доктор, образованный человек! Не то, что весь этот чернозем! — мадам Перельман презирала большую часть окружавших нас беженцев, выходцев из городов и местечек, входивших раньше в черту оседлости. Это и на самом деле были люди иной культуры.

Мадам Перельман достала кружевной платочек из ридикюля и продолжила:

— Шарлотта — такая милая, приятная хозяйка. Она, бедняжка, так сильно страдает. У нее тут была… ну, знаете… связь с одним мужчиной.

— У нее был роман? Да она страшнее смертного греха! — воскликнула мама.

— Тсс… умоляю вас. Да, она не красавица, — прошептала наша соседка по столу. — Но, как говорят, счастье не в красоте. Я познакомилась здесь с одной приятной женщиной из Киева. Она тут уже три недели. У нее больное сердце, и она едет не в Италию, как мы все, а прямо в Бруклин, к дочери. Так вот, она мне рассказала, что Шарлотта связалась с одним типом с Западной Украины.

Мадам Перельман темпераментно продула нос и отпила глоточек какао.

— И кто он, этот человек? — полюбопытствовала мама.

— Да никто. Провинциал. Настоящий аферист, как мне говорили. Он обвел бедную Шарлотту вокруг пальца. К концу недели, говорят, она приносила ему завтрак в постель. Подумать только!

— И где сейчас этот закарпатский жиголо? — спросил отец.

— А он уехал пару дней назад, прямо перед нашим приездом. И поговаривают, что он имел одновременно… связь с ней и еще с одной женщиной, из наших. Бедная Шарлотта! Что она теперь думает обо всех нас, после того как была так подло обманута этим подонком! Ах, мне уже пора. Доброй ночи вам всем!

Мадам Перельман поднялась и вперевалочку направилась к двери, оставляя нас со смутным ощущением тревоги — почему тревоги, мы и сами пока не понимали.

На следующее утро мы собирались быстро позавтракать и отправиться в Вену. Мы надеялись добраться автостопом: у нас не было денег на автобус. Мы привезли с собой несколько банок черной икры; в Москве говорили, что здесь можно продать икру в магазин деликатесов или в ресторан.

Столовая нашего пансиона была отделана темными деревянными панелями, на окнах висели цветастые шторы. За конторкой в углу стояла Шарлотта Длинный Нос и наблюдала за вверенными ей беженцами. В то утро, спустившись к завтраку, я сразу уловил по замороженным лицам сидящих за столами, что что-то не так. Длинный Нос скользнула по нам глазами и обратилась к двум женщинам-близнецам, которые помогали ей сервировать завтрак. Им было за шестьдесят, они прибыли из Черновцов, что в северной Буковине, бывшей ранее частью Австро-Венгерской империи, затем Румынии, а потом присоединенной к Украине. Сестры-близнецы прожили в пансионе уже неделю. Они говорили по-немецки и за гроши помогали Шарлотте накрывать, подавать и убирать.

— С добрым утром, мадам Перельман, — воскликнули мы с показным задором, но она лишь кивнула головой, не подняв черепашьей головы от тарелки. Сестры принесли каждому из нас по чашке кофе, по булочке и яйцу всмятку в фарфоровой подставке.

— Что-то случилось? Вы нездоровы, мадам Перельман? — спросил отец, игнорируя тягостное молчание, висевшее над соседними столами.

— Лучше ничего не говорите, — прошептала наша соседка. — Она сегодня очень не в духе.

— Она — это кто? — спросила мама.

— Хозяйка, — прошептала мадам Перельман, намеренно не называя имени Шарлотты. — Пожалуйста, не оборачивайтесь на нее!

В этот момент я повернулся на стуле, чтобы взглянуть на Шарлотту Длинный Нос, которая стояла за конторкой, как восковая фигура. Повернувшись, я нечаянно задел локтем фарфоровую подставку, в которой стояло яйцо, и сбил ее со стола. Громко звякнув, подставка с яйцом упала на пол и разбилась на мелкие кусочки. Скорлупа треснула, и желток, ярко-желтый и блестящий, тонкой струйкой потек по бежевой плитке.

Представьте себе эту сцену. Я еще не успел подняться, чтобы убрать это яичное месиво, как Длинный Нос заорала что-то на немецком и устремилась к нашему столику. Она остановилась перед нами, властно расставив свои спичечные ноги. Мне показалось, что кончик ее омерзительного носа касается ободка моей чашки. Тощий палец указывал на пол, где остатки яйца перемешались с осколками фарфоровой подставки. Она выдержала долгую паузу, глядя в упор на меня, в то время как палец с потрескавшимся маникюром цвета бычьей крови продолжал указывать на пол. Сойдя наконец с места, она стала мерить шагами узкую длинную столовую, совершая волнообразные движения тощими бледными руками. Орала сначала по-немецки, затем перешла на английский. Она вопила мерзким звонким голосом прямо в лицо перепуганным беженцам, торопливо глотавшим кофе и наскоро жевавшим булочки.

Трудно было представить, что столь омерзительная сцена возможна здесь, на Западе, в свободном мире, а не в Советском Союзе, из которого мы только что вырвались. Почему она вопила? Зачем устроила эту отвратительную сцену? Может, это было что-то остаточное, что-то связанное с ее отцом, тогда еще молодым эсэсовцем, который принимал участие в депортации венских евреев в Терезин? Скорее всего, это плод фантазии впечатлительного двадцатилетнего юноши, но именно такой сценарий мгновенно пришел мне в голову. Не слово ли Juden, бросающее в дрожь, пробирающее до костей, пульсировало в голове Шарлотты, когда она кричала о дороговизне горячей воды, о расходе электричества в комнатах, о беспрерывных звонках из Америки и Канады и о «бездельниках-беженцах», вечно «торчащих» в общей гостиной и «пялящихся» в телевизор?

Мы с родителями встали и вышли из столовой. Нам хотелось поскорее исчезнуть из этого Габлица, из этого пансиона с унизительной необходимостью терпеть милость вопящей хозяйки. Еще какое-то время, пока мы стояли на обочине шоссе, тщетно пытаясь поймать попутку, мерзкие вопли Шарлотты звенели у нас в ушах, пока не растворились в придорожном гуле. Нас долго никто не хотел подвозить; пришлось ждать полчаса, пока, наконец, не остановилась какая-то машина.

Это был серебристый «ягуар». Казались ли мы жалкими в своих лучших «заграничных» вещах? Как это человек, сидевший за рулем «ягуара», разглядел сквозь наши натянутые улыбки, что мы унижены, оскорблены, выбиты из седла? Владелец машины спросил сначала на немецком, а затем на английском, куда нам ехать? (Куда? Да хоть куда, лишь бы подальше от этого позора!) Он улыбнулся сочувственно, переложил свои вещи с заднего сидения в багажник. И до самой Вены не приставал к нам с вопросами.

Спустя еще полчаса мы с родителями сидели в мягких велюровых креслах в кафе на Картнер-ринг. Или это была Картнер-штрассе? Мы не были ни в чем уверены, мы ничего не понимали; побег из Габлица был сам по себе маленьким чудом. Водителя «ягуара» звали Гюнтер В., и он не только привез нас в центр Вены, но и настоял, чтобы мы составили ему компанию, выпив с ним по чашечке кофе. Так мы оказались в роскошном *кофехаузе*  с золочеными зеркалами и галантными официантами. Гюнтер заказал нам Capuziner, яблочный штрудель и по порции торта «Саше».

— Вы просто обязаны это попробовать, — настаивал Гюнтер. — Это классические венские десерты.

Самым удивительным было то, что Гюнтер, австриец, радовался кофе со сладостями не меньше нашего. Никогда раньше не приходилось нам пробовать такого волшебного кофе. Ка-пу-ци-нер! Он был невесомым и таял во рту, будто его сварили из перистого летнего облачка.

— Здесь, в Вене, в самых непритязательных местах подают множество разных кофейных напитков, — напел Гюнтер, кокетливо присвистывая и отпивая глоточек.

Вот портрет Гюнтера: среднего роста, около пятидесяти. Живчик. Голова и шейные складки все время двигаются. Смеясь, он трясется, и его румяные щеки приобретают малиновый оттенок. Говорит ласковым, урчащим, землистым голосом. На нем летний пиджачок шахматной желто-голубой расцветки и темно-синие брюки.

Тогда, в венском кафе, мне неудержимо хотелось назвать его дядя Гюнтер. Дорогой дядя Гюнтер. Милый, дорогой гном Гюнтер. И даже хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Всего час назад Длинный Нос била посуду и орала на нас, а вот теперь Гюнтер угощает нас великолепным кофе и неземными сладостями в шикарном венском кафе.

Заказав кофе и десерты, Гюнтер накрыл правой рукой руку моего отца.

— Мой дорогой друг, — сказал он. — Я понимаю, что значит стать беженцем.

Он рассказал, что весной 1945 года семья его жены бежала из Богемии, где они жили со времен Австро-Венгерской империи. Они все погрузились в «мерседес» — родители, бабушки с дедушками, будущая жена Гюнтера и ее сестра — и, бросив все, отправились в сторону австрийской границы. Гюнтер сказал, что они боялись «красного змея». Когда он произнес эти слова, мы с родителями торжественно покачали головами, будто признавая за этим добряком-австрийцем право на кровавый образ Советской России.

Уже когда мы все доели и допили, Гюнтер справился о наших конечных планах.

— Америка? — Гюнтер свернул губы в трубочку. — Зачем вы едете туда? Там нет древности, мало культуры. Сколько лет этой церкви? Она ведет свой счет от времен Микки Мауса? О-хо-хо! — Гюнтер прыснул от своей собственной шутки.

Что мы могли сказать? И почему бы нам не посмеяться над тем, как Гюнтер изображает американцев? Дядюшка Гюнтер со своим потрясающим кофе, мягкой манерой говорить и заразительным смехом был лучшим лекарством от наших советских ран.

— «Боюсь, мне пора идти», — сказал Гюнтер с извиняющимися нотками в голосе. — Иначе я опоздаю на встречу с клиентами.

— Если позволите, — решилась спросить моя мама на своем превосходно-книжном английском, — мне любопытно было бы узнать, чем вы занимаетесь?

— О, я давно должен был сказать. У меня кожевенная фабрика. Ремни, бумажники, папки, женские сумочки…

Мы обменялись адресами, вернее, обменяли наше обещание написать ему из Нового Света на визитку Гюнтера с богатой готической вязью. Гюнтер первый поднялся из кресла, склонился в талии, чтобы поцеловать мамину руку, которую бережно взял за кисть. Затем долго жал руку отца. Меня похлопал по плечу:

— Успехов тебе в учебе, дружок! И не огорчай родителей! Они у тебя славные.

Говоря это, Гюнтер улыбался смущенно и даже виновато. Вчетвером мы вышли из кафе. Спустя несколько минут, уже без Гюнтера, мы шли по Картнер-штрассе. В поисках носового платка отец полез в боковой карман куртки и обнаружил оранжевый конверт с надписью «Bon voyage». Милый добрый гном Гюнтер! Настоящий австрийский романтик, в натуре которого смешалась немецкая ячменная сентиментальность с итальянским умением прислушаться к спонтанному движению души. Дрожащими пальцами отец вытащил из оранжевого конверта розовую банкноту. Тысяча шиллингов!

Вскоре после того как мы коллективно подсчитали, сколько же это будет, если перевести в американские доллары, я расстался с родителями до вечера. На мне были потертые голубые джинсы, коричневые замшевые кроссовки и хлопчатобумажная футболка с зелеными, бледно-голубыми и белыми квадратами. Денег в кармане хватало лишь на обратную дорогу в Габлиц. За плечами плясал нейлоновый ярко-синий рюкзачок, в котором лежали джемпер и три банки икры. Я направился в сторону длинноногого чахоточного шпиля собора Св. Стефана, манившего издалека. И вскоре оказался в Грабене, в пешеходной части города; здесь в каждом здании был модный магазин или ресторан. Я зашел подряд в три ресторана, но постеснялся предлагать свой товар. Элегантные дамы средних лет и солидные лысеющие джентльмены обедали, сидя в плюшевых креслах с мягкими подлокотниками. Заводные официанты сновали между столиками. В конце концов я зашел в ресторан, который показался мне не таким шикарным, а посетители которого были помоложе. Я решился и пересек зал по ковру, подойдя к высокому мужчине с лощеными седыми усами — старшему кельнеру.

— Сколько вы хотите за икру? — спросил он.

— Сто шиллингов за баночку.

В те времена американский доллар стоил около десяти шиллингов, а такую баночку белужьей икры в магазине можно было купить в четыре или пять раз дороже того, что я просил.

Официант посмотрел на меня с некоторым состраданием и тряхнул головой.

— Увы, — вздохнул он, — не подходит. Да и в меню у нас нет икры.

— Но… мы можем договориться, — я буквально умолял его купить у меня икру.

— Ну что ж, может, купить для жены? Она любит икру на завтрак. Вот тебе сто пятьдесят шиллингов за все три банки.

Он отсчитал три хрустящие бумажки, вручил мне деньги и всем корпусом легонько подтолкнул меня к выходу.

Вскоре на улице я обнаружил музыкальный магазин. С постеров в витрине смотрела Уитни Хьюстон. На ней был белоснежный топ, на лице застыла широкая безжизненная улыбка. В течение получаса я любовно снимал с полок и ставил обратно пластинки и кассеты The Beatles, культовой группы моих московских друзей. И в конце концов остановился на кассете Abbey Road.

Продавщица за прилавком была на две головы выше меня, с мощной грудью и прямыми пшеничного цвета волосами, прихваченными с обеих сторон заколками в виде ромашек. «Гаргамелла», — подумал я про себя. На самом деле ее звали Штеффи. Гигантесса Штеффи вежливо слушала мой рассказ о событиях, повлекших за собой эмиграцию всей нашей семьи. Она была первой моей несоветской ровесницей, с которой я заговорил на Западе. От возбуждения я никак не мог остановиться. Двое покупателей, стоявших за спиной, терпеливо дожидались своей очереди.

— Штеффи, — произнес я по-английски, к тому времени уже перетащив ее через паспортный контроль в Шереметьево-2. — Что ты делаешь завтра? Может, встретимся?

— Спасибо, но я не смогу. Мы с моим парнем собираемся завтра на пляж.

«Какой еще пляж в Вене?» — подумал я.

— Хорошо, как-нибудь в другой раз, — я помахал Штеффи рукой на прощание.

Устав от магазинов, где все равно не мог ничего купить, я свернул в проулок. Красные неоновые огни играли на фасадах зданий. *Sex Shop. Girls-Girls-Girls. X-rated.*  Порнокинотеатры. Сколько раз мы с друзьями воображали, как они выглядят в реальности! Я купил билет и спустился вниз по грязноватой лестнице. Вместо обычных в кино кресел здесь стояли столики со стульями, как в кафе или кабаре. Полдюжины мужчин сидели и смотрели кино; некоторые потягивали коктейли. Шла примерно середина фильма. К моменту, когда я присоединился к зрителям, стайка девиц на экране развлекала какого-то коротышку в номере отеля. Фильм шел по-немецки, я лишь понял, что девицы называли коротышку Kleine. Они привязали его к кровати, скинули одежду и стали его дразнить. Дело кончилось тем, что, оставив коротышку на самом краю блаженства, девицы бросили его и поехали в какой-то дворец, где мраморный Антей, ненадолго покинув свой пост во фронтоне здания, сошел к девицам, чтобы заняться любовью с каждой из них поочередно. Загорелся свет, кто-то вышел из зала, кто-то зашел. Несколько человек так и остались сидеть в своих креслах — будто бы в ступоре. Вскоре фильм опять начался, и я увидел его первую половину. В тот момент, когда бедный коротышка и мамзели снова появились на экране, я встал и пошел в туалет, где в кабинке с расписанными граффити стенами торопливо справился с собой.

День уже склонялся к вечеру, когда я выбрался из этого подземелья. Я пошел по направлению к Штефансплац, главной площади Вены. На пути к собору остановился, чтобы дотронуться до последнего сохранившегося в черте города дерева Венского леса — на удачу (на самом деле это было не дерево, а обезображенный старостью ствол). Напротив входа в собор Св. Стефана сидели, стояли, лежали, опираясь на костыли, нищие всех возрастов и мастей. Некоторые наигрывали что-то на музыкальных инструментах: астматическом аккордеоне, шарманке, скрипочке. Неподалеку мужчины в перуанских костюмах скакали под музыку. Я заметил десяток панков, чьи причудливые красные, зеленые и пурпурные гребни перекликались с островерхими готическими башенками собора. Панки стояли, мирно переговариваясь и покуривая. Кажется, никто не обращал на них внимания. В Москве их давно бы уже затолкали в милицейский воронок и повезли в ближайшее отделение.

Я ходил, рассматривая собор Св. Стефана изнутри, а потом присоединился к экскурсионной группе, направлявшейся в катакомбы. По словам экскурсовода, там, в особых медных урнах, хранились останки габсбургских императоров. Я было задумался, что за тайная связь существует между пищеварением, верой и династической мощью, но побоялся спросить об этом экскурсовода, суровую даму с лицом пересоленной селедки.

А потом почувствовал, что здорово проголодался, и вышел из собора. Я стоял посреди Штефансплац, окруженный туристами из Азии, хиппи в радужных футболках, панками и обычными венскими обывателями, как вдруг…

Грета, Грета Шмидт, Грета из Ч. Она стояла в двух шагах от меня, изучая фасад Штефансдома. Неужели действительно она?

— Грета, ты!? — воскликнул я.

— О, боже! Как ты здесь оказался?

— Мы уехали из Союза, наконец-то, мы эмигрировали. Я здесь всего второй день!

— Вот видишь, я всегда чувствовала, что ты что-то скрываешь.

— Ну не мог же я тебе рассказать: мы сидели «в отказе», это было опасно. Знали только ближайшие друзья.

— Мы с тобой были довольно близки…

— Да, конечно. Прости. Но подожди, а что *ты* делаешь в Вене?

— Приехала на выходные.

— На выходные? С каких это пор девчонки из советской глубинки мотаются в Вену на выходные?

— «Слушай, вот ты не хотел рассказывать, что твои родители собираются эмигрировать», — сказала Грета. — Я тоже не хотела ничего говорить. Спустя два месяца после того, как мы расстались, нам пришло разрешение на выезд в Германию. Мы с родителями собрались за несколько недель и быстро уехали.

— Невероятно! Я меньше всего мог представить, что встречу тебя здесь, в Вене.

— Что же тут удивительного? Ведь евреи уезжают в Израиль.

Я призадумался над словами Греты.

— Или не в Израиль. «Ты, пожалуй, права», — сказал я. И спросил: — Ну, и как все это было?

— Потрясающе! Я только окончила десять классов в России, когда мы уехали. Потом еще год училась в Германии в гимназии. Было довольно трудно, я плохо писала по-немецки. Пришлось поднапрячься. Русский мне зачли как иностранный, и это помогло получить аттестат. В прошлом году я поступила в университет в Гейдельберге. Хочу стать искусствоведом. На самом деле я приехала в Вену, чтобы посмотреть кое-какую живопись для курсовой работы.

— По России скучаешь? — спросил я.

— Ни капли. Как будто я вдруг проснулась в новом доме и чувствую себя так, словно жила здесь всю жизнь. Для моих родителей все иначе. Но для меня Германия — уже дом родной.

— Ты не чувствуешь, что забываешь русский язык? — снова спросил я; мы с Гретой, конечно же, говорили по-русски.

— Не знаю. Я редко говорю по-русски, только дома. Иногда пишу в Россию школьным подругам. Правда, становится все труднее писать по-русски. Сейчас у меня совсем другая жизнь. Есть вещи, которые мне уже не объяснить по-русски. Да, наверное, я понемногу теряю русский язык, но какая разница? Я об этом не думаю.

— Грета, так здорово, что мы встретились, — сказал я, глядя на ее желтые теннисные туфли. — Я все еще не могу поверить, что мы вот так, случайно, столкнулись. И где! Посередине Штефансплаца! Никто не поверит!

— Не говори!

— Слушай, я страшно проголодался. Здесь есть где-нибудь студенческая забегаловка или что-нибудь в этом роде? Хочешь, перекусим вместе?

— Я бы с удовольствием. Но должна встретиться с друзьями из университета — я уже опаздываю.

— Давай тогда послезавтра, ты еще будешь здесь? Я снова приеду в Вену.

— Отлично.

— Встретимся прямо здесь, в одиннадцать?

— Да, давай в одиннадцать. До скорого.

Она чмокнула меня в щеку и скрылась в бурлящей толпе. Я медленно пересек площадь и двинулся в сторону Грабена, пока не набрел на тихое кафе. Быстро сложив цены, заказал пивка и бутерброд с сыром. И сел в прохладном полумраке, слушая звуки пения и трубы Чета Бейкера. «Your looks are laughable, unphotographable…» Дымные воспоминания ритмично наплывали подобно тому, как утренний туман застилает ясную поверхность озера.

Я встретил Грету Шмидт в июне 1985 года. После первого курса университета я провел июнь и июль в селе Ч., километрах в пятидесяти от Москвы по Ленинградскому шоссе. Ч. считалось селом, поскольку там была школа, а когда-то была и церковь. По сути, это была деревня, где гуси вышагивали по немощеным улицам. В Ч. располагалась университетская лаборатория, и студенты, изучавшие ботанику и геологию, проходили здесь летнюю практику.

Я познакомился с Гретой спустя пару дней после начала практики. Я искал почтовое отделение, чтобы отправить письмо родителям, и спросил у нее, как пройти. Мне только что исполнилось восемнадцать; ей было семнадцать, и она в то лето окончила школу. У Греты были голубые глаза с поволокой тумана и влекущая улыбка. Ее пепельно-светлые волосы были заплетены в две тугие косы. В тот день на ней был выцветший оранжевый сарафан и высокие черные резиновые сапоги. Грязь на улицах Ч. в некоторых местах еще стояла по голень.

Грета происходила из семьи поволжских немцев. Их предки тысячами двинулись в Россию во времена Екатерины И, основав процветающие сельскохозяйственные колонии по берегам Волги. Они прижились в России и считали ее родным домом, придерживаясь, впрочем, своего языка и своих традиций, примерно как амманиты (амиши) в США. Когда гитлеровцы напали на Советский Союз, около полумиллиона поволжских немцев было депортировано в Казахстан и Сибирь. Многие умерли в дороге. В советских учебниках нет ни слова о массовом выселении немцев, которое, кстати, во многом напоминает интернирование американцев японского происхождения во время Второй мировой войны. В 1970-е годы поволжские немцы начали подавать заявления на выезд в ФРГ. Меня поражало, что, прожив в России почти два века, они готовы были сняться с насиженного места и уехать в страну, связь с которой была чуть ли не символической. Не то ли испытывали евреи, боровшиеся за выезд из России, — родной страны, где они так никогда и не почувствовали себя дома? Еврей-отказник и внутренний эмигрант, я отождествлял себя с поволжскими немцами; возможно, именно поэтому меня тогда заинтересовали Грета и история ее семьи.

Родители Греты, детство которых совпало с началом Второй мировой войны, были депортированы со всей родней в Западную Сибирь, в Кулундинскую степь — отдаленную местность к востоку от казахской границы и к северо-западу от Алтайских гор. До переселения они жили в городе Энгельсе, на Волге. Дед Греты по отцовской линии работал агрономом. Одна из ее бабушек была учительницей истории в немецкой школе. В Западной Сибири бабки и деды Греты стали колхозниками. Мать Греты к концу войны осиротела, и ее взяли к себе в семью родственники. В конце 1950-х, отслужив в армии, отец Греты сумел поступить в институт в Москве, где, как и его отец когда-то, изучал агрономию. Ему повезло: после окончания института удалось устроиться в университетскую лабораторию в Ч. Он написал своей невесте в Кулунду, она приехала из Западной Сибири, и вскоре они поженились. У родителей Греты было двое детей. Дома они говорили по-немецки, вне дома — только по-русски. Мать Греты готовила немецкую еду и хранила потрепанный томик Библии в потайном ящике. Представления Греты о Германии — и о потерянном мире поволжских немцев — сложились из тех книг, что ей удалось прочитать в скудной сельской библиотеке Ч., а также в районной библиотеке, но более всего — из родительских рассказов о жизни в Поволжье до депортации.

В то лето мы с Гретой встречались каждый вечер, когда я освобождался от работы по сбору образцов почв, камней и растений и наклеивания на них соответствующих этикеток и ярлыков. Мы занимались любовью под ночным небом, в стоге сена, прислушиваясь к кобыльему боязливому ржанию, доносившемуся неподалеку, и гудкам паровоза, тормозившего на подъезде к дальней станции. Я рассказывал Грете о своих любимых картинах в Пушкинском музее. Она не понимала, что означает слово «импрессионизм», а мне тогда казалось, что я знал и понимал. Грета за всю жизнь лишь трижды была в Москве, хотя жила в полутора часах езды от столицы. Будучи немкой по происхождению, в остальном она ничем не отличалась от русских деревенских девчонок.

Эта внезапная ностальгическая случайная встреча на Штефансплаце сбила меня с толку. Тогда, в Ч., наш летний роман казался мне таким очаровательным именно из-за того, что происходил на фоне русской деревенской жизни. Если бы я встретил Грету в Москве, средь тогдашней городской тусовки, она показалась бы мне безнадежной провинциалкой, несмотря на врожденную пытливость ума и боттичеллиевский лик. Здесь же, в Вене, она была совсем другой: одевалась как заправская западная студентка, свободно говорила по-немецки, да и чувствовала себя как рыба в воде. Я же, напротив, ощущал себя инородным телом посреди пестрой толпы на Штефансплаце — это я был советским провинциалом на улицах и площадях имперской Вены. Я сидел в кафе, тянул светлое пиво, закусывая бедняцким бутербродиком, и пытался понять, что таится за этой неожиданной переменой фортуны. Группа цыганок с детьми прошествовала за окнами в направлении Св. Стефана. Девочка-подросток стрельнула в меня глазами, словно напоминая, что пора возвращаться в Габлиц.

Я появился в пансионе перед ужином, почти совершенно позабыв об утреннем скандале в столовой. Но на следующий день, лишь переступив порог столовой и увидев Шарлотту Длинный Нос за конторкой, надзирающую за тем, как сервируют завтрак, мы с родителями развернулись и вышли. В знакомом продуктовом магазинчике мы купили банку растворимого кофе. До самого отъезда из Габлица мы кипятили воду кипятильником, прихваченным из Москвы. У нас установился собственный распорядок дня. Мы совершали длинные прогулки по Венскому лесу. Устраивали пикники, ели хлеб, сыр, копченое мясо, купленные у румяного улыбающегося продавца. Отдыхали у общественного бассейна в компании детей и их полуголых мамочек. Весь стресс последних предотъездных недель, помноженный на шок прибытия на Запад, наконец дал о себе знать. Мы чувствовали себя бесконечно уставшими и расслаблялись — бесцельно, сладко, беззаботно.

Спустя два дня после того, как я столкнулся с Гретой на Штефансплаце, мы увиделись снова. В то утро я приехал — снова на попутке — в Вену, и теперь стоял, дожидаясь ее, напротив собора Св. Стефана.

На Грете было кобальтовое платье без рукавов, гармонирующее с цветом глаз.

— Что будем делать? — спросила она.

— Может, сходим в музей?

— В какой?

— Вообще-то я дико люблю Босха. Знаешь его «Страшный Суд», триптих с разными прекрасными чудовищами? Кажется, он где-то в Вене.

— Да, точно, — подтвердила Грета. — Это в Академии изящных искусств.

— Пошли туда?

— Можно, конечно, сходить. А ты не хочешь что-нибудь посовременнее?

— Например?

— Например, Сецессион.

— А по-русски?

— Объединение художников. Ты разве не слыхал о югендстиле? — Грета смотрела на меня с удивлением, и я вспомнил себя, шепчущего ей в стогу сена: «Грета, ты разве не знаешь, кто такой Эдгар Дега?»

— Вообще-то нет, — признался я.

— Климт? Шиле? — Грета была явно озадачена.

— Да, я слышал о них. Но давай все-таки сначала посмотрим Босха?

— Можем и туда, и туда. Это рядом.

Мы шли по широкой Картнер-штрассе мимо здания Венской оперы. Я припомнил горчайший анекдот о старой ленинградской еврейке, наконец-то получившей разрешение на выезд после изматывающего десятилетия постоянных отказов и переподач документов. Ее муж умер «в отказе», не дожив до отъезда. В свой первый же вечер в Вене она пошла в оперу, где и свалилась замертво от разрыва сердца во время финала «Аиды».

— Не люблю я Босха, — сказала Грета, когда мы выходили из Академии. — Слишком депрессивно. Что это за Страшный Суд, если никто не спасется? Не могут же они все быть грешниками. Хоть кто-нибудь достоин спасения.

— А мне как раз нравится, — откликнулся я. — Никто не спасется. Вот это да! Тотальное наказание для человечества.

Мы молча прошли пару кварталов. То, что Грета называла Сецессионом, оказалось зданием из белого камня, которое я мог бы принять за синагогу или, возможно, за мечеть, если бы не отсутствие минарета. Крышу здания венчал купол, покрытый золотым листом. Лики трех муз украшали фасад. Две строчки золоченого германского письма блестели на фризе. Я узнал слово «Kunst».

«Времени — свое искусство, искусству — свободу», — перевела мне Грета. Ее глаза блестели.

Осмотрев коллекцию Сецессиона, мы отправились искать место, где можно пообедать.

— Я угощаю, — сказала Грета. — Ты пригласишь меня в следующий раз.

«Когда только это произойдет?» — мелькнуло у меня в голове.

Она предложила зайти в фастфуд, откуда доносился резкий запах жареного масла. Меню было напечатано по-немецки. Оно мне ничего не говорило.

— Возьми мне то же, что и себе, хорошо? — попросил я.

Усевшись за пластмассовый столик, я наблюдал, как Грета с улыбкой делает заказ мужчине, стоявшему за стойкой, затем берет поднос с двумя порциями рыбы, жаренной в светло-коричневом кляре и обсыпанной картофелем фри, и двумя продолговатыми бутылками оранжада.

— По-английски это называется «fish and chips».

— Когда ты выучила английский?

— Сначала в гимназии — уже здесь, потом в университете.

— Мне нравится это название, «fish and chips». Спасибо, Греточка.

— Хотела тебя спросить… — Грета отпила оранжада. — Как получилось, что вы с родителями решили не ехать в Израиль? Разве не там ваши корни?

«О, нет, Грета, только не это, прошу тебя. Ну зачем тебе?» — подумал я, прежде чем ответить.

— Что тебе сказать, это сложный вопрос. Возможно, мы туда не едем потому, что не уверены, что Израиль для нас лучшее место. К тому же нам не хочется полумер. Отправиться в Израиль после Советского Союза — может, это полумера? Мы хотим жить в большой стране, где можно раствориться, чувствовать себя свободными от всего. Ни в чем не участвовать.

— Интересно. Я не думаю, что могла бы жить в Америке или где-нибудь еще, кроме Германии. Даже в Австрии. Германия приняла нас, как своих блудных детей.

Невольный свидетель, я почувствовал неловкость. Грета смахнула слезы, оставив черные отпечатки туши на носовом платке.

— Думаю, нам пора, — добавила она, складывая платок и пряча его обратно в сумочку.

Мы не сказали друг другу ни слова по пути к Штефансплац. В центре площади мы застали уличное представление. Плотное кольцо зевак окружило фокусника. Старая обезьянка в красной рубашке шастала по кругу с шапкой в руке. Каждому, кто бросал туда деньги, она отвешивала поклон.

— Посмотри, это Йоханн, — потянула меня за рукав Грета. Она сияла.

Высокий, плечистый парень в бумазейном жилете, надетом поверх темно-синей рубашки, подошел к нам. Все в нем, включая маленькие круглые очки, выглядело солидным и благонравным.

— Это Йоханн, мой жених. Он все про тебя знает.

Йоханн энергично пожал мою руку, говоря при этом по-английски:

— Поздравляю! Грета рассказывала, что вашей семье пришлось нелегко.

— Да. Спасибо. Теперь все в порядке, — я старался скрыть свое замешательство, глядя на жениха Греты. Она не проронила о нем ни слова!

— Да, кстати, — Йоханн обнял Грету за плечи. — Я уверен, Грета говорила вам, что, если вы будете в Германии, наш дом всегда для вас открыт.

Он снова пожал мою помертвевшую руку. Грета прикоснулась щекой к моей щеке, и они с Йоханном умчались.

Не могу утверждать, что все произошло точно так, как я описал. Густой молочно-голубой туман застилает мои воспоминания об Австрии, о первых днях, проведенных на Западе. Мне приходится вспоминать, воспроизводить, да и, что говорить, оживлять эти воспоминания, записывая их по-английски (и переживать их заново при обратном переводе на русский). Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я покинул Москву и приземлился в Вене.

Представьте, как чувствовал я себя тогда — я словно вновь родился. Помню себя медленно пересекающим Штефансплац. Я оставил позади дымящихся монстров с зелеными рогами и смеющихся коротышек с синими бородами. Очкастый василиск со шмелевидным галстуком-бабочкой махал мне рукой на прощание. Хор Грабенских нимф исполнял «Венский лес» перед толпой ликующих змеев. Дикий черный хряк в вязаном жилете расхваливал товары, лежавшие на деревянном подносе: желуди, лесные орехи, оранжевые лисички. Два серебряных дракона патрулировали улицы. Семейство желтых улиток, каждая размером с кота, взбиралось по мшистой водосточной трубе. Парочка жаб с колокольчиками на шеях прошмыгнули мимо, хихикая и держась за руки. Слепой сфинкс крутил богато разукрашенную шарманку. Шел 1987 год. Берлинская стена еще стояла на месте. В кармане у меня было несколько шиллингов, а в старом фотоаппарате оставалось еще несколько нерастраченных кадров.

**2**

**Маньчжурский кофр**

Середина июня, 1987 года. Ночным экспрессом мы уезжаем из Вены. Мы держим путь в Рим — это вторая остановка на нашем пути в Новый Свет. Весь поезд отдан в чартер ХИАСу для перевозки примерно ста пятидесяти советских беженцев. Вена была нашим пропускным пунктом на Запад, идеальным местом для того, чтобы получить культурный шок. Особенно если вам двадцать и всю свою предыдущую жизнь вы провели за «железным занавесом». (Я пишу это не без некоторого смущения, но пусть жирные овцы риторики пасутся на альпийских склонах, которые мне предстоит пересечь по дороге в Италию.) Хотя мы пробыли в Вене всего неделю, это время сильно растянулось и удлинилось в моей памяти; конечное количество часов каждого дня умножалось на бесчисленные «первые»: первый капучино, первый порнофильм, первый привкус живого нацизма, первая поездка в «ягуаре», первый…

Платформу Sud-Banhof’a, откуда мы отправлялись в Италию, охраняли белокурые парни моего возраста, державшие автоматы так, будто это были батоны деревенского хлеба. Их оружие казалось невинной игрушкой в сравнении с автоматами АК-47, которые мы учились собирать и разбирать в школе на уроках военного дела за какое-то до нелепости смешное число секунд, не помню уже какое. Нас несколько раз предупредили, что нужно быть бдительными и осторожными. Правда, чиновники ХИАСа так и не сказали, чего именно следует опасаться.

Беженцы стояли на платформе, полные смутной тревоги. Слово «терроризм» то и дело всплывало в наших разговорах. Кто-то завел речь о том, возможен ли теракт прямо здесь, на венском вокзале. Помню, отец обсуждал с бородатым математиком из Новосибирска подробности убийства одиннадцати израильтян палестинскими террористами на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Говорили и о взрыве бомбы в 1981-м на площади в Остии под Римом, где в те времена по вечерам собирались большие группы советских евреев-беженцев. Палестинские террористы, красные бригады, баски-сепаратисты — там, на перроне, мы припомнили всех. На каком-то перверсном эмоциональном уровне слово «террорист» в моем тогдашнем воображении было окутано романтической аурой. Сейчас, когда пишу эти строки, пурпурные сумерки зимнего Бостона висят за окном, а я вспоминаю с тем жаром в крови, какой нередко сопровождает встречу с прошлым, как в школе читал о народовольцах, метавших бомбы в царскую карету.

Билетов на поезд Вена — Рим ни у кого из нас не было. Сотрудник ХИАСа стоял на платформе, в руках его была папка с зажимом и список. Переворачивая страницы, он зачитывал наши имена. Это был тот самый чиновник, выходец из Бессарабии, переживший Шоа (Холокост), который проводил собеседование с нашей семьей в венском офисе ХИАСа, поглаживая сидевшего на коленях пекинеса. Одетый в цветастый пиджак и брусничную сорочку с желтым галстуком, этот чиновник звучно выкрикивал имена, одновременно вычеркивая их из списка. Золотые коронки зубов сверкали в мягких лучах заходящего центрально-европейского солнца. Все сияло: крыши венских домов, шпиль собора Св. Стефана, серебряные вывески кондитерских. Нимфы Грабена, эти ночные венские феи, расчесывали свои золотистые волосы. Я думал: «Увижу ли я это все когда-нибудь еще?»

Пока мы стояли и ждали на платформе, Анатолий Штейнфельд, бывший профессор-античник, подошел к нам, чтобы поздороваться. Последний раз мы видели его в тот день, когда прилетели в Австрию.

— Have you enjoyed your visit to Vienna? — произнес он фразу из учебника английского языка.

— Thank you, — по-английски же ответил отец, не вполне уверенный, что он понял вопрос.

— Я слышал, они поместили вас в какое-то ужасающее общежитие под Веной, — продолжал по-английски Штейнфельд, обращаясь уже к моей маме. — В Венском лесу, не так ли?

— Да, мы жили за городом, — отвечала мама. Ее голос взмыл над толпой. — Вам так повезло. Я бы предпочла остановиться в Вене.

Мама обожала английский и не упускала возможности попрактиковаться в языке.

— Да я просто-напросто полюбил этот город, — сказал Штейнфельд, разглаживая шейный платок с огурцами, явно приобретенный в Вене.

— Вам еще и удалось походить по магазинам, не так ли? — мама говорила с нарочитой грамматической игривостью, что насторожило меня. Стоявший рядом отец, судя по выражению лица, не очень одобрял весь этот диалог. Он не был силен в английском, в то же время не хотел выглядеть недееспособным. И решил воздержаться от реплик как по-английски, так и по-русски.

Штейнфельд, как только прозвучало его имя, быстро застегнул на молнию свою бежевую курточку и взял в руки два совершенно одинаковых клетчатых чемодана.

— Arrivederci, signora, — бросил он маме. — До встречи в Риме. Ciao, — и заскользил по направлению к вагону.

— Позер, — пробурчал папа.

— Не злись, — парировала мама. — Он очень образованный человек. Настоящий европеец, в отличие от этой провинциальной публики, — добавила она на выдохе и показала глазами на поезд.

Список беженцев из нашей группы был составлен не по алфавиту — еще одна деталь, казалось бы, лишенная смысла. Но вся сцена прекрасно вписывалась в рамки сентиментальной комедии, вот только тогда это вовсе не казалось нам смешным.

— А что если места кончатся? — волновалась моя бабушка. Мы намеренно игнорировали ее вопрос, хотя подобные мысли приходили и нам в голову. Те счастливые избранники, которых вызвали в первую очередь, выходили из толпы и направлялись к назначенным вагонам. Куда нас везут? Ни билетов, ни мест. Из Вены в Рим — вот все, что мы знали. А дальше? Что ждет нас впереди? Совершенно точно — лето в Италии, а может, и дольше. Это будет зависеть от скорости, с которой наши беженские документы пройдут все инстанции на пути к американской визе.

Здоровый детина с торчащими рыжими бакенбардами и усами, пятнами румянца на щеках и круглым пивным животом стоял на платформе ровно под часами. Он курил толстую сигару и то и дело гавкал что-то по-немецки в трубку рации.

— Сам полицейский комиссар здесь, — кто-то прошептал, и тут же вся толпа беженцев на перроне повторила: «Полицейский комиссар, полицейский комиссар».

— Наконец-то, — вздохнула с облегчением бабушка, когда чиновник с золотыми зубами назвал наши три фамилии — мою с родителями, фамилию тети и кузины и бабушкину.

Подхватив вещи, мы подошли к середине поезда. Здесь память пытается выкинуть фокус и стереть последние десять минут сцены посадки на поезд — картину посадки моих родственников, которые в замедленном темпе волокут багаж по перрону и грузят его в вагон. Их было несметное количество, этих тяжеленных сумок и чемоданов. И я не хочу, чтобы эти десять минут таскания и погрузки багажа наших родственников испортили воспоминания о прощании с Веной. Я еще расскажу об этих кастрюлях и ватных одеялах, которые везла с собой моя тетя, вот только доедем до Рима, — если только мы до него доедем. Уже в Риме я вернусь к тому старому темно-оранжевому кофру моей тети, который мы вдвоем с отцом с трудом оторвали от земли. А сейчас, прошу вас, следуйте за мной в вагон, где мы с родителями делили одно купе во время ночного переезда через Альпы. Для пущей безопасности, как нам тогда объяснили, беженцев расположили не в каждом купе, а через одно. Для моей тетки, спешу добавить, последнее послужило основанием занять не одно, а целых два купе и разместить в них предметы своей обширной коллекции багажа. Должно быть, я был так потрясен отъездом из Вены, где для меня началась новая, западная жизнь, и так был поглощен предвкушением предстоящего путешествия в Италию, в Рим, что почти не помню ни лиц, ни разговоров, только потусторонние образы в сепиевых тонах и каскады детских голосов. Прощай, Вена! Auf Wiedersehen! Adieu!

Платформа опустела, остались только оловянные австрийские солдатики, поставленные у головы и хвоста каждого вагона. Человек, которого мы приняли за полицейского комиссара, докурил гаванскую сигару и метко пульнул ее в мусорный бачок. После чего сделал жест рукой, и мы тут же услыхали свисток, отозвавшийся пронзительным эхом других таких же свистков. Поезд дернулся и медленно двинулся вперед.

— В Италию, — сказал папа и поцеловал сначала маму, затем меня. — В добрый час.

Мама слабо улыбнулась и принялась разворачивать пакет с нашим ужином — круглый ржаной хлеб с тмином, сыр, крутые яйца, помидоры, огурцы и набор венских пирожных и булочек.

Почему же я не помню, что читал тогда — сначала в поезде, затем в Риме? Мы не везли с собой книг из Москвы в чемоданах; книги, которые нам разрешили к вывозу, уже плыли в контейнере по океану к нашим друзьям в Новую Англию. Конечно, у нас на руках должно было быть хоть несколько книг, как же иначе; просто не могу припомнить ни их названий, ни самого ощущения чтения. Потом уже, в Италии, в прибрежном городке Ладисполи на Тирренском море, где мы провели остаток лета, мы брали русские книги в местном центре для беженцев. Но в полупустом поезде, мчавшем нас к подножию Альп, я не могу припомнить ни книг, ни журналов. Только пристальное вглядывание в окно. Чтение пейзажа. Попытка угадать будущее…

Чудесным образом я проспал всю ночь, пропустив альпийские туннели. Утром, когда я открыл глаза, мы уже подъезжали к Риму. Как выяснилось, наш поезд прибывал не в Термини, главный железнодорожный вокзал Рима, а остановился на маленьком полустанке, где-то на задворках города. Это было тем более странно потому, что мы знали, что нас поселят в центре Рима, неподалеку от Термини, не в самом безопасном районе, как сообщило беженское сарафанное радио. Оказывается, высадка на маленькой станции была еще одной мерой предосторожности, предпринятой в последний момент, чтобы не привлекать внимания к такой большой группе странствующих евреев. За железнодорожной станцией стояли в ожидании нашего прибытия автобусы. Нас просили поторопиться: дескать, к полудню в Риме на дорогах адские пробки. Сквозь пыльные окна старого туристического автобуса я впервые увидал Вечный город.

Теперь неизбежное отступление о моей тете и ее багаже. В те дни, когда мы попали беженцами в Рим, моей тете было сорок. Брюнетка, причем натуральная: в России ее назвали бы жгучей брюнеткой. В отличие от мамы, зачатой после подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году, во время короткой мирной передышки перед немецким вторжением, моя тетя обязана своим зачатием триумфальному лету 1945-го. Детские годы моей мамы частично прошли в эвакуации, в Ташкенте, тогда как ее младшая сестра росла в послевоенной Москве, не зная горького вкуса чужбины и обездоленности. На самом деле тетя всю московскую жизнь прожила вместе со своей мамой, моей бабушкой, которая умерла в Америке осенью 2009 года, прожив девяносто пять лет. Когда мои бабка и дед развелись, тетя была ребенком, и все в семье, включая мою маму, жалели ее и баловали. Одним из тетиных излюбленных развлечений, когда она была подростком, было пойти на Центральный колхозный рынок, купить на сэкономленные карманные деньги грамм двести того райского творога, который можно найти лишь на рынках в России, и съесть его разом. Когда моя тетя училась в консерватории, ей разбил сердце популярный актер Театра на Таганке, человек с хрипотцой в голосе и сомнительным актерским даром. В конце концов она вышла замуж за молодого человека из хорошей семьи, худощавого инженера в круглых очках в золотой оправе. Его отец, высокий еврей-аристократ, был изобретателем — конструктором; мать, грудастая женщина с татарскими скулами и характерным разрезом глаз, преподавала в ПТУ. Бывший муж моей тети коллекционировал иконы и страдал хроническим гайморитом. Их дочь, моя двоюродная сестренка, была младше меня на девять лет. Ее родители развелись, после того как тетя объявила мужу, что собирается последовать за сестрой «в изгнание». Тогда, в Вене и в Риме, тетя носила облегающие платья ярких цветов, стягивала волосы в хвост, жирно красила ресницы и всем своим видом излучала волны изнуряющей витальности.

Есть вещи, которые я, наверное, никогда не смогу понять. Тетя подарила мне много любви и тепла, когда я был ребенком. Первый надрыв в наших отношениях произошел именно в то позднее утро, когда тошнильный итальянский автобус нарезал круги по площади Республики, прежде чем свернуть на улицу к востоку от Термини. Район, прилегавший к центральному железнодорожному вокзалу Рима, служил прибежищем всякому сорному люду вроде воров-карманников и сутенеров. Автобус затормозил на углу узкой улицы, и водитель дал знак, что мы приехали. С нами ехала сотрудница римского ХИАСа. Это была сильно накрашенная вампирша, бегло говорившая по-русски с каким-то странным присвистом. Как выяснилось, она попала в Италию вместе с родителями после Второй мировой войны, а до этого они всю войну прятались где-то в трансильванских селах. Она объявила, что нас поселят в отельчик, «в двух шагах отсюда», на шестом этаже доходного дома.

— Дом по левой стороне, с широкими мраморными ступенями, — сказала она, пройдя от начала до конца список со всеми именами. — Берите вещи и следуйте за мной.

Весь наш багаж умещался в четырех тяжелых чемоданах, которые мы с отцом брали на себя, и одного саквояжа полегче, который несла мама. Таким образом, мы могли сразу унести все вещи. Представьте себе всю нашу жизнь, мои двадцать лет плюс почти сто лет, если сложить возраст моих родителей, и все это упаковано в пять мест багажа! Да, была еще мамина сумочка, портфель отца и пишущая машинка «Олимпия», которую привязывали ремнем к чемодану. Что же касается бабушки, тети и кузиночки, то у них было около пятнадцати чемоданов, а, кроме того, множество небольших сумок, мешков и узлов. До сих пор остается загадкой, что же было в этих сумках. Ноты? Метрономы? Обрамленные в рамки портреты любимых композиторов моей тети? В течение трех месяцев, пока мы были в Австрии и Италии, я близко познакомился с багажом моих родственников — правда, лишь с его внешними характеристиками: формой, размером и весом. То, что скрывалось внутри, оставалось тайной, но был один предмет, который явился нам еще в то первое, роковое утро в Риме.

Мой покойный дед, тогда майор-связист, привез этот кофр из Маньчжурии в 1946 году. Возможно, когда-то кофр принадлежал жене шотландского миссионера. К моменту нашего отъезда из СССР кофр был стар, как сам двадцатый век. Его ярко-оранжевая кожа потускнела, со всех сторон он был покрыт царапинами, хотя оставался еще вполне пригодным к употреблению. Что же там было внутри? Тетя с бабушкой собирались в дорогу так, словно едут не в Америку, страну изобилия, а на полудикий островок в Индийском океане. Они тащили с собой всякую кухонную утварь, подушки и одеяла, гвозди и инструменты, даже чугунную мясорубку. И тетя мастерски ускользала от моего вопроса о содержимом маньчжурского кофра. Сначала я пошучивал; потом спрашивал уже в лоб. Она отвечала с ноткой мечтательности в голосе: «Кое-что из моих личных вещей».

После того как мы занесли вещи в наш номер — тусклое прибежище с потрескавшимися потолками, паутиной в углах и тахтой-раскладушкой, на которой мне пришлось спать в ближайшую неделю, мы с отцом спустились вниз, чтобы заняться тетиным багажом. Мама, измученная бессонной ночью в поезде, осталась в комнате. Что говорить, ей было стыдно за сестру и мать, вернее, за невероятное количество их багажа, ставшее предметом живого обсуждения нашего беженского сообщества.

Вернувшись к автобусу, мы с отцом увидели, как тетя давала указания трем мужчинам, нашим попутчикам. Ее глаза горели революционным огнем. Водитель автобуса, итальянец, выглядевший, как анархист начала XX века, стоял в тени платана, курил и наблюдал за происходящим с ленивым любопытством. Возможно, по образованию он был антропологом-культурологом? Кто знает? Тем летом в Италии я повстречал множество образованных итальянцев, служивших ночными портье в жалких отелях, парковщиками машин, смотрителями в музеях. Кстати, портье того непрезентабельного отеля, где мы остановились в Риме, оказался одним из таких безработных интеллектуалов.

Мужчин, которых моя тетка завербовала для перетаскивания чемоданов, в отельчике ждали их собственные семьи. Один их них, мастер спорта по шахматам, харьковчанин, тихий худосочный язвенник, с трудом передвигал собственные вещи. Других двух помощников, двоюродных братьев из Одессы, звали Миша и Гриша. Оба небритые, со сверкающими каплями пота. Видимо, советский коллективизм еще не выветрился из их сознания; они стояли перед моей тетей чуть ли не навытяжку, внимая ее указаниям.

— Поосторожнее с этими двумя чемоданами, — говорила тетя чуждым иронии тоном советской пионерки-артековки. — Внутри очень хрупкие вещи.

К тому моменту, как мы впятером — я с отцом и три помощника — подошли к дверям отельчика, Миша и Гриша ругались, как истинные одесские биндюжники (см. рассказы Бабеля).

— Повезло тебе, парень, — сказал один из них отцу. — Удачно женился.

— Я же не на свояченице женат, — ответил отец.

— Да уж, конечно, — добавил другой брат, сплюнув на землю.

Что оставалось отцу: стоять на углу с двумя чемоданами в руках и защищать честь моей тети, а также собственную честь?

Я подошел к тому месту, где вся эта история окончательно перестает повиноваться рассказчику. Подтащив чемоданы к входу в здание необарочного стиля, где на шестом этаже располагался наш отельчик, одесситы вспомнили в конце концов, что находятся в свободном мире, где каждый за себя.

— Так, мы ушли. Дальше сами, — сказали они нам с отцом, а потом еще добавили: — Это ваши семейные проблемы.

Шахматист медленно оседал на своих куличьих ногах. Я видел: еще чуть-чуть, и он рухнет, погребенный под тяжестью фибрового чемодана, который тащил из последних сил.

— Я сейчас, папа, — подхватив два чемодана, я взбежал по высоким мраморным ступенькам, чтоб поскорее вызвать лифт.

Безуспешно нажав несколько раз на кнопку и побарабанив по двери лифта, я сдался и начал медленно взбираться по лестнице на шестой этаж. Каждый лестничный пролет казался длиннее предыдущего, опровергая все каноны классической архитектуры. Когда я наконец добрался до дверей нашего отельчика, мои ноги, казалось, превратились в мешки, набитые свинцовыми пульками.

— В чем дело? — обратился я к портье по-английски. — Почему не работает лифт?

— Он не работает, потому что я его отключил, — ответил портье тоже по-английски. Это был низкорослый человек, лет под сорок, одетый в черные брюки и серую рубашку. Несмотря на лето, у него на шее был повязан тонкий черный шарф. В руках, затянутых в черные беспалые перчатки, он держал томик карманного формата. Кинув взгляд на страницу, я увидел тройчатки стихотворных строк.

— У нас еще масса вещей внизу. Пожалуйста, включите лифт, — я почти умолял, пытаясь совладать с дыханием.

— Включите, выключите, — пробурчал портье. — Выключите, включите.

— Что? — мне показалось, он смеется надо мной.

— Ничего. Вы еще молоды и многого не понимаете. А я вот не пойму одного — почему вы, советские люди, бежите из своей страны. Думаете, на Западе лучше? Посмотри на меня. Я врач, я окончил Болонский университет и не могу найти работу по специальности. Ты этого хочешь?

— Вы что, коммунист? — спросил я портье.

— Да, коммунист. Настоящий, не такой, как некоторые из вас. Поэтому я скажу тебе прямо: здесь жизнь ничем не лучше, чем в СССР. И забудь про Америку, это вообще страшное место. Я-то знаю, у меня там двоюродные братья и сестры живут. А я вот патриот и живу в Италии. А ты должен был жить в Советском Союзе. Там у каждого есть работа, там прекрасные университеты. Конечно, есть и недостатки, я понимаю, но где их нет?

В других обстоятельствах я бы, наверное, вступил в спор с этим человеком. Рассказал бы, каково это — расти евреем в России. Рассказал бы о девяти годах жизни, украденных советскими властями у моих родителей, обо всем гневе и горечи, которые я до сих пор, после стольких лет жизни на Западе, все еще ношу в сердце. Но внизу меня ждал отец, а в автобусе — тетя, и взамен политической дискуссии я снова попросил портье с высшим медицинским образованием включить лифт. Он поднялся из-за стойки, медленно подошел к лифту, вставил ключ и повернул его. Лифт ожил с грохотом и скрипом.

Еще битый час мы с отцом таскали теткин скарб вверх по мраморным ступеням, запихивали в лифт и затем транспортировали в комнату, где бабушка торжественно ходила из угла в угол, как Наполеон при Ватерлоо, а кузина мирно спала посреди хаоса, учиненного ее матерью в соавторстве с бабушкой. К тому времени, когда мы с отцом закончили складывать чемоданы по углам и вернулись в автобус, где нас ждала тетя с последним и самым тяжелым местом багажа, солнце уже исчезло и небо из ясно-голубого превратилось в кроваво-пурпурное.

— Мальчики, — сказала нам тетя. — Мне кажется, сейчас пойдет дождь.

— Отлично! Дождь, град и снег. А может, и молния ударит в этот кофр, — ответил я. У меня пересохло во рту; голос трескался.

— Анджело предложил помочь с чемоданчиком, — продолжала тетя бодрым голосом. — Он чудесный мальчик. Из Вероны. Его отец играет на тубе в оркестре.

Моя тетя называла «мальчиками» всех особ мужского пола в возрасте между пятью и сорока пятью годами. Этот нюанс, естественно, был упущен водителем автобуса, который не понимал по-русски вообще, а по-английски знал «о’кей» и «Чикаго».

Отчего я ни слова не пишу о Риме? О стремительно меняющихся цветах неба, о раскатах грома, раздающихся все ближе и ближе? О невероятно красивых людях, целующихся и обнимающихся на улицах? О мозаичных фруктах и цветочных рядах? О фонтанах? Во-первых, район нашего отельчика, к востоку от Термини, был не из лучших: дома здесь стояли запущенные, разукрашенные граффити, вывески на них выцвели и были едва различимы. И только на следующий день, когда я совершил первую прогулку по Риму, глаза начали уставать от ярких красок, особой живости и великолепия римских улиц. Но я ясно помню — нет, постойте, как я могу что-то ясно помнить, когда все впечатления были притуплены эпическим шествием тетиного багажа из автобуса в отельчик? Вычеркните это я ясно — я притупленно помню, как мы втроем — отец, водитель автобуса и я — волокли маньчжурский кофр по направлению к неизбежной развязке этой истории.

— Что у тебя там? — спросил отец сквозь зубы. — Что там у тебя такое неподъемное?

— Просто кое-какие вещи, — пролепетала тетя. — Ноты. Семейные альбомы. Несколько любимых детских книг.

— Я больше не трону этот гроб с музыкой, — бросил отец.

— Вот именно, гроб, — подхватил я.

Чтобы попасть в вестибюль здания, надо было преодолеть четыре мраморные ступеньки. И потом, уже внутри, еще три ступеньки до лифта. На входе мы дружно опустили кофр на землю, чтобы чуть передохнуть перед последним броском. Анджело достал пачку сигарет «Кэмел» и предложил закурить мне и отцу, демонстративно обойдя тетю. Анджело прикурил и глубоко затянулся, уставившись на ее ноги и зад. Я тем временем успел сбегать к лифту, чтобы удостовериться, что доктор-портье, итальянский правоверный коммунист, не выключил его снова.

— Все в порядке, — сказал я отцу. Большим пальцем я дал знак Анджело, что мы готовы продолжать. — Держи дверь, — велел я тете.

— Вы, должно быть, устали, мальчики, — произнесла она не знающим усталости голосом и одобрительно потрепала Анджело по правому плечу.

Мы подняли кофр, который теперь казался нам контейнером вольфрамовой руды. Анджело обхватил узкую сторону кофра спереди, а мы с отцом — я слева, отец справа — держали его с широких сторон. Очень медленно мы потащили его вверх по мраморным ступеням. В тот момент, когда подошва моей правой сандалии ступила на ноздреватый серый мрамор последней ступеньки, под ногой что-то заскользило. Потеряв равновесие, балансируя и стараясь изо всех сил не упасть, я оторвал руки от кофра. Глядя под ноги, я увидел сливовую косточку с остатками зелено-багровой мякоти. Я поскользнулся на сливовой косточке!

Маньчжурский кофр, причина моих навек надорванных отношений с теткой, вырвался из сердитой хватки моего отца и бычьих объятий Анджело и с грохотом повалился на грязные мраморные ступени. Приземлившись на дымящемся от жары асфальте римского летнего полудня, кофр распахнулся с такой силой, будто он не желал дольше терпеть тетиных фокусов. Но это еще не все.

Присев на ступеньки, я принялся разглядывать улицу, потирая правое, ушибленное колено, где уже расплывался синяк. К нам со всех сторон устремились зеваки — в основном уличные мальчишки и мужчины средних лет. То, что я увидел, было полнейшей фантасмагорией. Клетчатый плед, который раньше лежал на диване в московской квартире бабушки и тети, дрогнул и зашевелился; из угла кофра показалась человеческая рука. За ней последовала вторая рука, с перстнем на пальце и часами на золотом браслете, и вместе обе руки потянули плед. Мы увидели маленького человечка с чеховской козлиной бородкой, сидящего в кофре, щурящегося и пытающегося привыкнуть к лучам солнца.

Небольшая толпа римских зевак издала мощный вздох. Анджело застыл как вкопанный, его руки были простерты к небесам. Гоголевская тишина (см. финал «Ревизора») длилась минуту или две.

— Кто этот человек? — в конце концов нарушил молчание мой отец, обращаясь к тете. Голос у него был ломкий, как пожелтевшие страницы старых газет. Это как-никак была младшая сестра моей мамы. Отец имел право на свою долю братско-отеческого осуждения.

— Меня зовут Евгений, — ответил человек из кофра.

— А меня — Татьяна, — парировал отец, поведя подбородком в сторону тети. (Он имел в виду любовный треугольник в «Евгении Онегине».) Эта шутка не прошла мимо ушей итальянцев, которые наблюдали всю сцену, несмотря на то что мы говорили по-русски.

— Та-а-тья-а-на, — нараспев произнес итальянец в белой полотняной кепке, улыбаясь и выразительно жестикулируя сложенной газетой. Он был, наверное, любителем русской оперы.

Пока моя тетя, округлив газа, пыталась подыскать подходящее объяснение, невысокий мужчина вышел из кофра и сделал шаг в сторону отца, протягивая ему руку.

— Евгений Кац, — представился он. — Первая скрипка. Читал кое-что из ваших рассказов и стихов.

Он был бледный, с широкими взъерошенными бровями, в мятых черных брюках и белой рубашке.

— Что вы делаете в чемодане моей свояченицы? — спросил отец.

— Ничего, путешествую, — отозвался скрипач с самым невозмутимым видом.

— И как давно?

— Со вчерашнего дня, с Вены, то есть… еще с Москвы.

— Вы знакомы друг с другом? — продолжал допрос мой отец.

— Еще бы, мы вместе в консерве учились, — ответил человек, назвавшийся Евгением Кацем.

— Но почему вы попали в ее чемодан? Вы мне так и не ответили, — продолжал напирать отец.

— А вы не спросили, — заявил скрипач, явно довольный своим остроумным ответом.

— Слушайте, не умничайте, пожалуйста…

— Я сидел в чемодане, потому что…

— Евгений, — прервала тетя, заклиная скрипача остановиться.

— Да что там, все уже позади, — ответил он тете. — Мы уже Риме. Не нужно больше скрывать и прятаться.

Он снова повернулся к папе.

— Вы же видите, ваша свояченица вывезла меня в своем чемодане. В нем я выехал из Союза. Она меня вывезла из страны. В Вену. Теперь я здесь и собираюсь в Риме попросить политического убежища.

— Убежища… — потрясенно проговорил отец.

— Убежище, русский диссидент, сбежал, — кто-то из итальянцев, очевидно, понимал по-русски и перевел для всех собравшихся.

— Я больше не могу, — произнес отец с драматической дрожью, словно актер, обращающийся к зрителям со сцены. — Девять лет мы бились насмерть. Нас преследовали. Верстки трех моих книг были рассыпаны. Я стал запрещенным. А этот… этот пиликало просто залез себе в маньчжурский кофрик и в нем прикатил в Вену… и никто ничего не заметил!

Отец поднялся по ступенькам в здание отельчика. Я остался на улице в надежде когда-нибудь досказать эту историю до конца.

Гроза прошла стороной. Солнце вышло из-за пушистых облаков, осветив внутренности маньчжурского кофра. Я увидел розовый шерстяной сверток, перевязанный бечевкой, и, конечно же, семейные альбомы и детские книжки из серии «Библиотека приключений». Как я в детстве любил их читать, когда приезжал в гости к деду и бабке, в ту квартиру, где жила и моя тетя. «Путешествия Гулливера», «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ»…

Евгений Кац достал сверток, развязал и размотал бечевку. Из теплых недр детского розового одеяльца показался черный футляр скрипки.

История человека из маньчжурского кофра завершилась самым счастливым образом. До сих пор, правда, я так и не докопался до истинных причин этой аферы. Между нею и Евгением, утверждает моя тетя, ровным счетом ничего не было, и я склонен ей верить. Хотя какая разница, были они любовниками или нет? Несколько раз на семейных обедах по случаю Дня Благодарения или еврейской Пасхи я спрашивал тетю, зачем она пошла на то, чтобы везти с собой в чемодане человека (оставившего, кстати, в России жену и двоих детей). Понимала ли она, чем рисковала и как ей повезло сначала на советской таможне, потом на советской границе и при въезде в Австрию? Почему она ничего не сказала даже своим родным?! В ответ тетя пожимала плечами с видом оскорбленной невинности.

А что мне известно о дальнейшей судьбе скрипача? Он получил статус политического беженца и остался в Италии. Начал концертировать. Сменил свою кошачью еврейскую фамилию на какую-то лошадиную русскую — оканчивающуюся на «off» и намекающую на дворянское происхождение. Евгений живет в Риме со своим бойфрендом, бывшим тенором из «Ла Скала». Он открыл собственную музыкальную школу недалеко от Пьяцца Навона. Недавно записал диск со скрипичными сонатами Брамса.

Прошлой зимой я слушал Евгения в Бостоне, где живу уже семнадцать лет. Он играл блестяще, безукоризненно, но не так страстно, как тогда, когда я слушал его впервые.

Представьте себе ступеньки нашего отельчика в одном из самых запущенных районов Рима, лестницу, окруженную полуденной толпой римских зевак. Представьте, если сможете, замусоренную улицу, заставленную обветшалыми отелями, где проститутки за доступную плату ублажают клиентов привкусом иных миров и где мы, советские беженцы, утолили тоску по Риму и миру. Скрипач из кофра настроил свой инструмент, вытер клетчатым платком грязь и пот со лба и висков и, подложив платок под подбородок, заиграл. Должно быть, он играл пьесу собственного сочинения или просто импровизировал. Я, во всяком случае, не знаю, что это была за музыка. Мне его скрипка пела о полупустом экспрессе, мчащем беженцев по альпийскому ночному тоннелю, о том, как, наконец, попадаешь в Рим и Италию после долгой советской жизни. О мечте увидеть весь мир, о громе, прокатившемся над головой к западу, в сторону площади Испании, Трастевере и Ватикана. Я узнавал в его мелодиях фамильный багаж, всю неизбежность семейных связей и капканов родства. Скрипка пела об отце моей матери и ее сестры, о моем ушедшем в небытие деде, который вернулся к бабушке после десяти лет развода — десятилетия, когда он был свободен от нее, но не был счастлив. Как же этот скрипач мог узнать о нашем семейном прошлом? Он играл о моем деде, который вернулся к жене, чтобы жить и умереть, об усталом шестидесятилетием мужчине, стоящем во дворе московского дома недалеко от стадиона «Динамо» и скармливающем халу голубям. Высоком и по-прежнему неотразимо элегантном в длинном сером габардиновом пальто и мягкой фетровой шляпе, несмотря на почти полную слепоту от тяжелейшего диабета и нежелания отказываться от земных удовольствий. Я знаю, все это живет и во мне — в моей походке, темпераменте, стремлении воспринимать людей в их собственной системе координат. И все это я унаследовал от маминого отца. Это он, мой дед по линии матери, годами давил на своих дочерей, на моего отца, убеждая их эмигрировать. Он ненавидел советскую систему изо всех сил, прекрасно зная, как выживать в этой извращенной игре взаимного обмана. Моя тетя отчасти унаследовала от покойного деда эту оборотистость, но так и не сумела виртуозно овладеть его мастерством. Скрипка пела о маньчжурских кофрах, которые падают на ступени римских отелей и выпускают на свет беглых скрипачей, играющих о страстности и жестокости жизни, о причудах судьбы, о моем слепом дедушке, умирающем в агонии, привязанном ремнями к больничной койке, умирающем и кричащем: «Доченьки мои, помогите, эти врачи хотят меня убить». Он умер, так и не увидев, как его дети и внуки шагают по улицам Рима.

Пока скрипач из кофра играл, на улице появились двое карабинеров. Они стояли и слушали, а когда он закончил, вежливо зааплодировали вместе с остальными слушателями и предложили ему проехаться до ближайшего полицейского участка. Карабинеров вызвал водитель автобуса Анджело, успевший позвонить и рассказать о советском скрипаче, прибывшем в Рим в видавшем виды оранжевом кофре, чтобы просить политического убежища.

Когда полицейская машина отъехала и звук ее сирены растаял в общем гуле, я порылся в карманном русско-итальянском словарике, по экземпляру которого мы все получили по приезде в Рим.

— Dove… si vendo vino? — наконец проговорил я, обращаясь к стоявшим вокруг итальянским зевакам. — Где тут можно купить вина?

— Si vendo vino?

Несколько человек радостно засмеялись. Полдюжины рук протянулись в разных направлениях, и разные голоса наперебой стали объяснять: здесь, там, тут…

Я оглянулся вокруг.

Я был в Риме.

Я наконец почувствовал себя свободным.

**3**

**Рим, открытый город**

Я до сих пор до конца не понимаю, почему мои родители ссорились в Риме. С тех пор прошло больше двадцати лет, а я все еще боюсь спросить их об этом. Вместо этого я встаю из-за письменного стола, иду по полосатым коврам к шкафу с русскими книгами и достаю Бабеля. Я купил этот двухтомник в Москве летом 1993 года, когда был там впервые после эмиграции. Он издан под редакцией *московской*  жены Бабеля — Антонины Пирожковой — в 1992-м, первом постсоветском году. Монументальное оформление обложки и копеечный переплет были типичны для дешевых, напечатанных на газетной бумаге изданий моего детства и юности. Двухтомник был выпущен тиражом сто тысяч экземпляров. Такова несложная ирония судьбы: избранные произведения Бабеля (все еще не полное собрание сочинений) вышли в после-советское время по образу и подобию советских массовых изданий!

Я открываю раздел «Рассказы 1925–1938 годов», вошедший в первый том. Здесь мой самый заветный Бабель. Его рассказы о детстве. На третьей странице в «Истории моей голубятни» я читаю: «В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья». Я читаю этот отрывок у нас дома в Честнат Хилле, беззвучно рыдая, словно сам сделан из сухого льда. На дворе весна, и рабочие, роющие котлован в соседнем дворе, наблюдают за мной поверх забора, пока отдыхают во время утреннего перекура. Мой стол в кабинете упирается в окно, и землекопам нравится наблюдать за мной во время работы. Наверняка им кажется, что я смеюсь над чем-нибудь во время чтения. Но я не смеюсь.

Если бы Исаак Эммануилович Бабель был жив, я сказал бы ему, что часто думаю о нем, когда пишу о том, как эмигрировал и оказался на Западе. Собственно говоря, я бы ему все рассказал…

Шел наш четвертый день в Риме, двенадцатый день на Западе. Он начался с жалкого завтрака, который получали беженцы из Советского Союза в столовой, принадлежавшей самодовольному типу в темных очках, который выглядел, как пародия на мафиози. Переполненная столовая занимала этаж здания, примыкавшего к нашей гостинице. К столовой от лестничного проема и вверх по ступеням до тяжелой двойной двери тянулась очередь беженцев. Стоя в очереди, мы делились политическими новостями или обменивались информацией о сдававшихся внаем квартирах в прибрежном городке Ладисполи, куда ХИАС предполагал перевезти нас через неделю пребывания в Риме. Люди толковали о получении работы и поступлении в университеты в Америке или Канаде, приводили совершенно неоспоримые доводы в пользу жизни в Бостоне по сравнению с Филадельфией или в Сан-Диего по сравнению с Сан-Хосе.

Желание распирало мое тело. Я пожирал глазами молоденьких официанток, пока они лавировали с подносами по узким проливам между островами и архипелагами беженцев, торопливо поглощавших свой завтрак. Официантки, как я узнал под конец наших «римских каникул», были студентками из Кракова, которые приехали в Италию по туристическим визам и работали нелегально. Они кое-как изъяснялись по-русски — на языке, который их заставляли изучать дома. Выжига-итальянец, владелец столовой, недоплачивал полькам и заставлял их работать семь дней в неделю, даже по утрам в воскресенье. У польских официанток были красивые длинные ноги, большие крестьянские руки и терпеливые серые глаза.

Когда подошла наша очередь войти в столовую, мы отдали купоны на завтрак медведю-охраннику с жирной щетинистой физиономией.

— Jeszcze Polska nie zgina! — мой отец поздоровался с одной из официанток словами из польского гимна, после того как мы уселись за пластиковым столом с расшатанными ножками.

— Пока не погибла, жива еще! — ответила официантка по-польски, удрученно улыбнувшись.

Мы, еврейские беженцы из Союза, вызывали у этих молодых полек смешанные чувства презрения и восхищения. У нас не было ни гражданства, ни денег, мы жили на пособие еврейских филантропических организаций — это так! И все же мы собирались стать настоящими американцами. Мы ехали в Америку!

В то запомнившееся утро наш завтрак состоял из больших кусков пористого белого хлеба, персиков и кусков швейцарского сыра, которые лежали перед каждым из нас на тонкой бумажной тарелке. Ни масла, ни молока не было.

— Вот уж, мои дорогие, я никогда… — заметил мой отец, — никогда не предполагал, что увижу, как мое семейство ест неспелые персики на завтрак. Черствы на чужбине персики, как заметил поэт.

Мама сказала, что не голодна, и начала молча глотать черный кофе из пенопластового стаканчика.

— Bistro, bistro, tovarisc! — выкрикивал хозяин столовой, проходя между столами. По преданию, русское слово «быстро» проникло в западноевропейские языки, когда русские солдаты вошли в Париж в 1814 году. Они повторяли «быстро, быстро», когда хотели поторопить официантов в ресторанах. Отсюда и появилось «bistrot» — кафе-ресторан с незатейливой, быстро приготовляемой едой.

После завтрака у нас была назначена встреча со спекулянтом, который покупал товары у беженцев и перепродавал в сувенирные лавки или же торговал ими в собственном павильончике на Круглом рынке — так мы называли огромный римский базар под открытым небом. Человек этот пришел в наш номер часов в десять утра. Был он великаном, почти без шеи, с маленькой головой и ниточкой усов. Его звали Исак. Он был бухарским евреем, уехал еще в начале 1980-х и прижился в Риме. Исак говорил по-русски со среднеазиатским акцентом, будто пытался проглотить кусок пряника.

— Великолепный город Рим! — обратился он к маме, которая рассматривала унылый городской пейзаж за окнами номера: ржавые крыши, за которыми не видно было ни соборов, ни дворцов. — Так вы москвичи? Я приезжал в столицу в 1975-м. Привез оттуда в Самарканд товар. Часы. Радиоприемники. Москва тоже красивый город. Ничего не скажешь!

— Уважаемый Исак, — сказал мой отец, подражая обычаям Средней Азии. — Уважаемый Исак, с вашего разрешения мой наследник покажет товары, которые мы хотим вам предложить.

Я вытащил чемодан из-под койки-раскладушки и вывалил из него товары на постель родителей. Мама стояла у окна и курила. Уголком глаза я видел, как она была несчастна, как дрожали ее губы. В Москве она была тигрицей, бросала вызов ублюдкам из служб безопасности во время демонстраций и акций протеста. Она устраивала голодовки отказниц и бесстрашно давала интервью иностранным журналистам. Теперь, в Риме, мама была беспомощна, у нее не было сил противиться своей беженской участи.

— Понятно, — сказал Исак, озирая наши товары пряными светло-коричневыми глазами. — Три янтарные брошки, четыре палехские шкатулки, пять банок чатки, три цветастые шали, четыре пары театральных биноклей, фотоаппарат, набор объективов. Есть еще чего?

— Русская водка, — сказал мой отец.

— Оставьте себе, — ответил Исак великодушно. — Хороший подарок. Американцы ваши обожают русскую водку.

Из кармана брюк спекулянт достал бумажник. Он отсчитал и положил на родительскую кровать двести тысяч лир, что равнялось примерно двумстам американским долларам в то время. Исак и мой отец обменялись рукопожатиями, и скороспешная сделка была совершена.

— Можно одолжить ваш чемодан? — спросил Исак. — Я занесу через пару дней.

— Оставьте себе. Меньше тащить, — ответил мой отец, грустно усмехнувшись.

Исак положил товары в чемодан и защелкнул замки.

— Загляните в соседний номер к моей свояченице и теще, — добавил мой отец, когда Исак взялся за дверную ручку. — У них там полная баржа…

— Ну зачем ты? — перебила его мама. Она прекрасно знала, что нас с отцом тошнило от их бесчисленного багажа, но на публике продолжала поддерживать семейную солидарность.

— Как-нибудь в другой раз, кхе-кхе-кхе-кхе, — захохотал Исак, как ватерклозет. — Удачи вам в Штатах! — И бодро хлопнул дверью.

В полдень нам предстояло пойти на осмотр в клинику где-то рядом с площадью Эсквилино, неподалеку от нашей гостиницы. Должны были сделать общий осмотр, рентген грудной клетки и взять анализ крови. Это требовалось от каждого беженца, подававшего на въездную визу в США. Пока мы ждали в холодном и скупо освещаемом коридоре, у мамы начался приступ нервного кашля. Чем больше она старалась пересилить себя, тем мучительнее становился кашель. Усталая и строгая на вид медсестра-итальянка вышла из кабинета и вызвала мою маму. Отец (у которого тема кандидатской была связана с туберкулезом легких) помахал рукой, словно на ходу протирал лобовое стекло. «Нет-нет-нет! У нее все в порядке. О’кэй! Нет туберкулеза!» — говорил мой отец по-русски медсестре и все жестикулировал, пока она уводила маму. Ему представлялся кошмарный сценарий: по результатам медосмотра маме не выдадут визу и не пустят в Америку. Но все обошлось, и несколько недель спустя каждый из нас получил медицинское свидетельство, где указывалось, что результаты рентгена нормальные, что осмотр и анализы не выявили «опасных заразных состояний» (шанкроид, гонорея, паховая гранулема, инфекционная проказа, венерический лимфогранулематоз, заразный сифилис, активный туберкулез) и «психических состояний» (умственная отсталость, сумасшествие, история припадков безумия, психопатическая личность, сексуальные девиации, психические дефекты, наркотическая аддикция, хронический алкоголизм). Свидетельства были подписаны итальянским врачом из клиники — Prof. Dott. V.P.C.

Внутри клиники мы нашли телефон-автомат. В нашем убогом номере телефона не было. Еще в Москве, как раз перед отъездом, в апреле или мае 1987-го, мы познакомились с молодой итальянской журналисткой по имени Клаудия С. Из Москвы Клаудия посылала репортажи для одной из левых итальянских газет. Она хорошо говорила по-русски — язык она изучала в Неаполитанском университете, а до этого брала частные уроки у вдовы белогвардейского офицера. Клаудия была стройная, длинноволосая, наэлектризованная. Узнав, что мы будем в Риме и проведем по крайней мере два месяца в Италии по пути в Америку, Клаудия предложила, чтобы мой отец обратился к редактору ее газеты. И объяснила, что этого человека зовут Алессандро Т., что он поэт и ее «близкий друг». «Когда позвоните ему, — сказала Клаудия, написав имя редактора на обороте своей визитной карточки, — скажите, что вы от Кармен. Он зовет меня Кармен. Только он, никто другой. Он поможет вам с публикациями в Италии».

И вот теперь мы стояли в вестибюле итальянской клиники и звонили по телефону поэту-редактору, «близкому другу» Клаудии. Отец набрал номер, мы с мамой ждали рядом с телефонной будкой. Кто-то подошел к телефону. Отец начал объяснять на его тогдашнем весьма идиосинкратическом английском, что он «русский еврейский писатель» и «медицинский открыватель», а сейчас «бегун из Советского Союза», который остановился в Риме «на недельку-вторую». Что имя и телефон поэта-редактора он получил от «вашего журналиста» Клаудии. Затем отец замолк, и мы с мамой увидели, как волна полнейшего непонимания пробежала по его лицу. Отец закатил глаза и нарисовал ноль указательным пальцем левой руки: это означало, что он понятия не имеет, что делать.

— Кармен, — сказал отец в телефонную трубку, припомнив интимное имя журналистки. — Кармен, да-да, Кармен, ваш друг Кармен, — повторил отец. Он прислушался, а потом улыбнулся. — Не понимает ни слова по-английски, — прошептал он нам по-русски. — Трещит по-итальянски, и Кармен — единственное слово, которое я в состоянии уловить. Попробуй ты! — отец передал мне трубку.

— Buon giorno, signore Alessandro, — сказал я и сделал попытку рассказать на более правильном английском о том, как мы познакомились в Москве с Кармен и как она дала нам телефон поэта-редактора.

— Carmen, si, Carmen, — заговорил влажный, раскатистый голос. — Si-si, Carmen. Non parlo inglese. Francese? — спросил поэт-редактор.

— Нет, не знаю, — ответил я по-английски. В то время я не владел французским и знал всего несколько слов по-итальянски, достаточных только для того, чтобы спросить дорогу или узнать, где продают еду и вино. — Grazie. Arrivederci, — я поблагодарил поэта-редактора и тихо повесил трубку.

— Что он сказал? — спросил отец. Лицо мамы приобрело выражение жар-птицы, попавшейся в сети. Было ясно, что вся эта сцена казалась ей абсолютно абсурдной и угнетающей.

— Он твердил только «Кармен» и «Я не говорю по-английски», — рассказал я. — Он еще говорит по-французски. Больше я ничего не понял. Он повторил слово «Кармен» много раз. Мне кажется, ему просто приятно произносить ее имя.

Мы вышли из клиники на площадь.

— Я очень устала, — вдруг сказала мама. — Я хочу вернуться в гостиницу.

— Ты не больна? — спросил отец. — Ты ведь кашляла.

— Я не больна. Я смертельно устала.

— Я пойду прогуляюсь, — заявил я. Мне страшно захотелось побыть одному, отделиться, убежать подальше от всего этого.

После того как я бросил родителей у обелиска на площади Эсквилино, я предпринял довольно амбициозную попытку совершить пешеходный тур по Риму — один из четырех однодневных маршрутов, проделанных мною во время пребывания в Вечном Городе. У меня не было ни путеводителя Бедекера, ни денег на его приобретение; я руководствовался только памятью и примитивным планом Рима, который выдавали каждому советскому беженцу чиновники ХИАСа. Странно, хотя я запомнил все уголки Рима, где побывал в тот день, я не могу вспомнить и воссоздать мое тогдашнее эмоциональное состояние. Зато отлично помню, как заблудился среди стен Римского Форума, а потом почувствовал полное одиночество, очутившись на площади Испании с ее знаменитой лестницей.

Стоя перед Ляпис Нигер, огромным куском черного мрамора, под которым покоились останки Ромула, я испытал такой же трепет, как в те годы, когда школьником слушал легенду об основании Рима. Сколь же причудлива память: я помню, как бродил вокруг Темпио ди Веста, храма Девственных Весталок, думая не только о шести жрицах-патрицианках, которые в античные времена должны были в течение тридцати лет служить в храме, но и о другой жрице — моей старой учительнице истории Галине Сергеевне Т. Я до сих пор ясно помню ее, а в 1987 году память могла быть только острее. Она никогда не меняла стиля одежды: серая или черная шерстяная юбка, белая блузка с кружевами, вязаный джемпер или шерстяной жакет под стать юбке. Она никогда не пользовалась косметикой и не носила никаких украшений, кроме круглого значка с Лениным на левой стороне плоской груди. У нее были очки в золотой оправе; тонкие, как бечевка, губы и короткие пепельные волосы. Сколько ей было лет — сорок, пятьдесят? Она никогда не была замужем и никогда не рассказывала о своей личной жизни. Да и какая личная жизнь могла быть у нее — девственной весталки советской истории! Это она, Галина Сергеевна, Мадам История, учила меня в течение семи лет: с 1978-го по 1984-й, от Египта, Греции и Рима до Конституции СССР. От нее я узнал многое из того, что мне известно об античном мире, о Ромуле и Колизее, о памятниках, которые я увидел тогда в Риме. Она потрясающе ткала исторические сюжеты. Если бы она родилась в США, уверен, она стала бы знаменитым лектором или вела бы исторические программы по PBS (по общественному телерадиовещанию). Она передала нам чуть ли не виртуальное восприятие казни Жанны д'Арк на костре, а ветки за окнами классной комнаты дрожали в кандалах февральского инея. Я до сих пор зрительно представляю себе пересказанные ею сцены Французской революции: засаленные камзолы тучного Дантона, изможденный Марат, заколотый в ванне, театральная казнь Марии-Антуанетты. Но с такой же страстью Галина Сергеевна рассказывала нам о «братской солидарности народов Восточной Европы» (когда я в начале 1990-х собирал в Праге материалы для первой книги, то не решался говорить по-русски) или о «замечательных воспоминаниях Леонида Ильича Брежнева» (бред маразматика, даже не им сочиненный), или, что было еще хуже, она преданно скрывала всякий намек как на бесчестье и несправедливость, так и на протест против них в советском прошлом и настоящем: ГУЛАГ, сталинизм, Солженицына, правозащитное движение, антисемитизм, преследование отказников, войну в Афганистане. Беглец из советской империи, которая трещала по швам, но все еще бряцала оружием в 1987-м, я отчетливо понимал, что, несмотря на все свои таланты, Мадам История была идеологической шестеренкой в подтасовочной машине советской школы. Я это понимал и понимаю, но — облокотившись на поручень спасительного оборота речи — вспоминаю себя тогдашнего, стоящего перед храмом Девственных Весталок в июньский полдень 1987 года и задающего себе тот же самый вопрос, который я задаю и сегодня, столько лет спустя: как могла эта женщина оставаться в здравом уме? Как она не рехнулась после десятилетий изречения правды и лжи на едином дыхании? Разумеется, этот вопрос касается не только моей советской учительницы истории, но меня самого и моего советского детства и юности. Как я мог быть одновременно благодарен Мадам Истории за блестящие уроки прошлого — античного Рима — и презирать ее за бесстыдную ложь о настоящем? На протяжении нескольких лет после эмиграции и приезда в Америку, пожалуй, до тех пор пока я не получил американское гражданство и, наконец, не съездил в 1993 году в Россию, мне было легче презирать и не испытывать благодарности. Потребовалось много лет эмигрантской жизни в Америке, чтобы образовалась дистанция, достаточная для справедливой оценки хотя бы части моего советского образования. Или хотя бы для того, чтобы признаться себе (что я и делаю сейчас), что я не без благодарности вспоминал о своей старой учительнице истории, бродя по развалинам Древнего Рима.

Но довольно идеологических сентиментов! Продолжим рассказ о том, как я терял и вновь находил себя в Риме. Солнце заходило, когда я оказался на знаменитой лестнице — Испанских ступенях — поблизости от Тринита дей Монти, французской церкви с двумя симметричными колокольнями, которые восстановил Наполеон во время оккупации Рима. Площадь Испании, находившаяся как раз у подножия церкви, была полна народа. Туристы и молодые римляне стекались со всех сторон. Я почти ничего не ел с утра, когда нам дали на завтрак неспелые персики, хлеб и сыр. Внизу, по другую сторону фонтана, располагались лотки с открытками и сувенирами и тележки со снедью. Стараясь ни в кого не врезаться, я бросился вниз по ступеням, с удивлением заметив, что многие из них были надтреснуты и полуразрушены. После изучения ассортимента и цен, довольно высоких, как бывает всегда в местах, где много туристов, я купил пакетик крупных бледно-зеленых оливок — их было всего шесть или семь. Никогда до этого я не ел таких божественно вкусных оливок. Они благоухали жизнью и были переполнены живительными соками — той жизненной энергией и чувственностью, которую я всегда связывал с Италией и ее народом. Я ел оливки медленно, смакуя, перекатывая во рту, высасывая каждую капельку божественного сока. Мне хотелось пить, но вместо газировки я взял еще один пакетик этих оливок.

Что-то играли уличные музыканты. В такт покачивая головой, я сидел на ступенях рядом с группой молоденьких американок. Многие из них были в футболках и свитерах с названиями колледжей или университетов. Но такие названия, как «Индиана», «Вашингтон и Ли», «Бостон Колледж», в то время почти ничего не значили для меня — случайный перечень координат моей будущей страны. Сидя на Испанских ступенях в центре Рима, я думал о том, как же мало я знаю об Америке и американках. Я общался с американками моего возраста всего лишь несколько раз. За девять лет, пока мы сидели «в отказе», нас посещали гости из Америки, главным образом евреи, которые хотя и приезжали в Советский Союз под официальной опекой «Интуриста», на деле оказывали моральную поддержку и привозили подарки своим братьям и сестрам — отказникам, которым годами не давали разрешения на выезд. Чаще всего это были супружеские пары среднего возраста или пенсионеры, но иногда нас посещали и семьи с детьми. Однажды, кажется ранней весной 1985 года, в пятницу вечером в нашу дверь позвонила семья из Аризоны: зубной врач, его жена и их дети — дочь и сын, оба студенты престижных колледжей на Восточном побережье. Все четверо были высокими, крепкими, загорелыми. Все четверо — в очках. Мы вместе отпраздновали *шабес:*  зажгли свечи, выпили водки и закусили оладьями, приготовленными из смолотой мацы, — трудно было придумать что-нибудь еще для наших гостей, которые соблюдали кашрут. Затем я увел молодежь в свою комнату, и мы проговорили допоздна, сначала о том, каково быть евреем в России, а потом, когда они утратили тон официальных посланников и превратились в обыкновенных студентов, моих сверстников, я узнал, как живется в Америке молодым. Впервые я услышал о студенческих братствах и сестринских общинах, и это показалось мне чем-то очень советским и коллективистским. «Зачем нужно в них вступать?» — помню, спрашивал я у них.

С 1982 по 1987 год, когда я учился в старших классах и в университете, было еще несколько случайных встреч с молодыми американцами — встреч, которых невозможно ни запланировать, ни предугадать. Я познакомился с двумя или тремя студентками из Америки и Канады. Очень серьезные и идеалистически настроенные особы, они видели во мне нечто вроде юного мученика за дело еврейства, и я хорошо помню наши ненасытные разговоры, во время которых я так и не успевал ощутить вкус пирога студенческой жизни.

Потом была Эрика, студентка Бостонского университета, которую я узнал немного лучше, чем наших мимолетных вечерних посетителей. Эрика изучала русский язык и целый год провела в Москве, в Пушкинском институте. Я познакомился с ней через друзей моих родителей — американских дипломатов. Она была родом с Лонг-Айленда, где ее семье принадлежала компания по перевозкам домашнего скарба. У Эрики были темно-рыжие непослушные волосы, которые она небрежно закалывала на затылке. На длинных эскалаторах старых станций московского метро люди невольно засматривались на нее. Она выглядела типичной иностранкой, и даже не столько ярко выраженной еврейкой, сколько именно иностранкой. Жесты и мимика, оправа очков, желтое кашемировое пальто — все было из другого мира! В течение двух или трех месяцев — почему-то я запомнил Эрику в зимнем пальто — я водил ее по Москве, показывал музеи и мои любимые уголки города. Но что-то препятствовало нашей близости, нечто неопределенное — некая чужеродность, которую мы ощущали друг в друге и которая одновременно и притягивала, и держала на расстоянии. Именно от Эрики я узнал о жизни в американских университетах и об американках-студентках. Это напоминало серию случайных заметок, записанных второпях и не понятых до конца при перечитывании…

Почему я думаю об этом? Почему пишу? Скорее всего, это помогает мне вспоминать и, вспоминая, освобождаться от памяти о шоке, полученном в первые недели на Западе. Именно тогда, в новых условиях, я впервые столкнулся с осознанием собственной романтической неадекватности. Это новое для меня чувство стало особенно острым после приезда в Америку и погружения в американскую студенческую жизнь. Мое привычное российское поведение в романтических ситуациях дорого обошлось мне в кампусе Брауновского университета, куда я поступил по приезде в Америку. Это было в самый разгар «политической корректности», когда пылкость принималась за агрессивность и неуклюжесть. Оглядываясь назад с позиции моей нынешней американизированности (или американонизованности?) и вспоминая себя, в то время еще почти совсем русского юношу, сидевшего на Испанских ступенях после целого дня блужданий по Риму, — одинокого, нищего, страстного, — я оказываюсь в тупике. Мне трудно объяснить самого себя. Как ни странно, несмотря на недавнее, мучительное отказническое прошлое моей семьи, несмотря на путаницу в голове и полнейшую ошеломленность Римом, который лежал у моих ног, я шарил глазами в праздничной толпе и жаждал любовных приключений. Да, конечно, я был евреем, беженцем из Советского Союза. Но я был еще и молодым московским поэтом, а это нечто среднее между рыцарем, посвятившим себя служению Прекрасной Даме, и ночным котярой, который юрким взглядом раздевает женщин.

Рядом со мной на ступенях сидела зеленоглазая блондинка нордического типа и обсуждала события дня с двумя подружками, одетыми в одинаковые футболки, если не ошибаюсь, Университета Джорджа Вашингтона. Слушая ее наивные впечатления от посещения «потрясающего» Колизея или «захватывающего дыхание» собора Св. Петра, я следил глазами за порхающими девичьими ногами, зияющим краем ее короткой юбки, шелковыми бретельками розового лифчика, скользившими по плечам, когда она поводила руками. Я чувствовал, как перехватывает горло, — мое адамово яблоко готово было выскочить наружу. Мне страшно хотелось пить, и не только от того, что я объелся оливками, но и потому, что я так откровенно пялился на соседку.

Внизу, на площади, между фонтаном и лестницей, словно на небольшой арене, выступали уличные музыканты. Один из них, худощавый юноша с иссиня-бледным лицом и баскским платком на голове, был весь в черном. Другой, с длинными волосами, был одет, как типичный рокер. Они взяли гитары, и я узнал «Sunday, Bloody Sunday» группы U-2 — пленка с этой записью мне досталась от Эрики еще в Москве. Я увлеченно раскачивался и отбивал ритм, и вдруг девица, сидевшая справа, та самая зеленоглазая блондинка с бродячими бретельками, повернулась ко мне и спросила:

— А ты откуда?

Должно быть, она приняла меня за американца, подумал я, репетируя в голове ответ. Мой английский в то время уже был грамматически правильным, но мне недоставало оснащенности идиомами, какая бывает у живой природной речи. К тому же был заметен и русский акцент, отголоски которого и по сей день порой выдают во мне иностранца. Да и только ли акцент!

— Я из России, — ответил я. — Из Москвы.

— Господи, вот это да! Колоссально! — воскликнула она. — Девчонки, — повернулась она к подружкам, — он из России! — а потом сказала: — Ты мой первый русский знакомый.

Естественно, мне захотелось объяснить, что на самом-то деле я не русский, что этнически я не славянин, а еврей. В Советском Союзе это было важно, и там я бы не назвался «русским». Но, увидев изумление в ее глазах, я поколебался и не сказал ничего. Вот так я стал «русским» на площади Испании в Риме.

— А ты откуда? — спросил я американку.

— Я из Орегона, из городка рядом с Портлендом. Но мы все учимся в Вашингтоне. Нас тут целая группа — мы купили европассы и вот катаемся. Три дня в Риме. Завтра утром отправляемся во Флоренцию.

— Во Флоренцию! — повторил я за ней. — Ничего себе!

— А ты один путешествуешь?

— Да нет, я в Америку еду.

— Ты что, по обмену едешь или что-то в этом роде? — спросила одна из подруг блондинки, коренастая девица в джинсах и голубой рубашке с красной эмблемой игрока в поло на левой стороне.

— Нет, мы тут с родителями ждем въездные визы в США.

— Значит, вы что-то вроде… невозвращенцев? — спросила вторая подружка, у которой на коленях лежал малиновый рюкзачок.

— Да нет, мы… — и тут я начал запинаться, как потом запинался бесчисленное множество раз, затрудняясь объяснить наш статус незнакомым американцам, которые понятия не имели ни о жизни в Советском Союзе, ни о еврейской эмиграции, ни о том, как мои родители вырвались оттуда, — мы, по правде говоря, уехали навсегда, — закончил я, испытывая смущение и глядя себе под ноги. — Мы эмигрировали!

— А, понятно, — сказала блондинка, потеряв интерес. — Классно!

Беседа оборвалась. Через несколько минут блондинка и ее подружки поднялись со ступеней.

— Приятно было познакомиться, — сказала одна из них. И все трое повторили: — Приятно было познакомиться. Удачи тебе!

— Спасибо! Увидимся в Америке, — сказал я и засмеялся от стеснения. — Счастливого путешествия!

Через девять месяцев, уже после переезда в Америку, я вспомнил встречу с американскими студентками на Испанских ступенях, читая роман Генри Джеймса «Дэйзи Миллер». В то время я слушал курс по американской литературе у Джорджа Монтейро в Брауновском университете. Как точно Джеймс описал САДЗ — синдром американской девушки за границей! Я вспоминаю раннюю весну 1988 года: я сидел в кресле-качалке в Рокфеллеровской библиотеке с томиком «Дэйзи Миллер» на коленях и размышлял о провинциальной наивности этих молодых американок, их экзальтированном восприятии Европы (и европейских мужчин, добавлю теперь). Русский юноша на пути в Америку, я казался им «невозвращенцем» не только из Советского Союза, но и из Европы. Так ли уж они ошибались?

Генри Джеймс написал «Дэйзи Миллер» в 1878 году, после переезда из Парижа в Лондон. В Париже он встретил Золя и других французских писателей, а кроме того, познакомился с Тургеневым. «Дэйзи Миллер» начинается с тональности характерно неамериканской, почти что русской, как будто не Джеймс, а Тургенев или даже Бунин, который шел по его стопам, сочинил вот такое: «В маленьком городке Веве, в Швейцарии, есть необыкновенно комфортабельный отель». В городке Веве в 1977-м умер Владимир Набоков. Это рядом с Монтрё, где Набоков жил с 1961 года до самой смерти. Эмигрант Набоков покинул Россию в 1919 году, когда ему было почти двадцать лет, и больше не увидел ее никогда. Он приехал в Америку в 1940 году, чтобы писать на английском романы о русских иммигрантах и других выходцах из Европы, попавших в Америку, и об американцах в Европе. Среди них «Лолита», «Пнин» и «Прозрачные предметы». В «Лолите» Набоков обессмертил порочную невинность американской девочки-подростка, сделав ее неотвратимо роковой — одновременно ангельской и демонической — для европейца среднего возраста с тенекрылым именем Гумберт Гумберт. «Лолита» была в числе первых книг, которые я прочитал после приезда в Америку. Но в тот теплый июньский вечер 1987 года «Лолита» была всего лишь далеким и манящим именем, вибрирующим среди множества других звуков и слов, прежде запретных или пока не открытых.

Когда я возвращался с площади Испании в нашу гостиничку в районе Термини, я думал еще об одном знаменитом русском писателе двадцатого века — еврее по рождению Осипе Мандельштаме, который учился в Санкт-Петербурге в том же самом Тенишевском училище, которое позднее посещал Набоков. В стихотворении 1913 года Мандельштам описал *американку*  — для него она была безымянной *девушкой из Америки,*  — которая в двадцать лет переплыла на пароходе Атлантический океан и повидала Лувр и Акрополь. «Не понимая ничего», американская девушка за границей «читает „Фауста“», пересекая Европу «в вагоне», разочарованная тем, что «Людовик больше не на троне».

Я возвратился в гостиницу около одиннадцати вечера. Родители ссорились. Еще в коридоре я услышал саркастическую мелодию маминого голоса, который, не падая, взлетал все выше и выше. Отцовские реплики звучали, как выстрелы из духового ружья. Голос мамы: «Тарарара-трарара-рарара». Голос отца: «Бум. Бум. Бум». Я несколько минут слушал за дверью, прежде чем повернуть тяжелую витую ручку.

Когда я вошел в номер, то увидел, что отец сидит за письменным столом у окна. Окно выходило в узкий двор-колодец, отделявший наше здание от соседнего. Часть окон напротив была освещена, и через светло-коричневые шторы виднелись потусторонние силуэты, которые шагали по комнатам, поднимали руки, расчесывали волосы, раздевались. В номере этажом ниже, слева от нас, на противоположной стороне двора, мужчина и женщина без устали что-то орали, дико и громко, как животные.

— Где ты был весь день? — спросил отец, не поворачивая головы. — Мы волновались.

— В разных местах. Все в порядке, — ответил я, припоминая конец рассказа Бабеля «Пробуждение», где отец еврейского мальчика узнает, что сын прогуливает уроки игры на скрипке: «Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни. — Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне…»

— Что у вас тут происходит? — спросил я, силясь говорить безразличным голосом.

— Ты же знаешь отца, — сказала мама из угла комнаты, где стояла, скрестив руки. У меня сердце сжалось, когда я увидел ее красные, опухшие глаза. — В этом весь твой отец. Это же классика!

— Что происходит, папа? — спросил я, привыкший с детства играть роль миротворца, когда мои родители вздорили.

— Просто пишу письмо, — ответил отец, и быстрая усмешка скользнула по его лицу, как хвост ящерицы по камню, горячему от солнца.

— Хорошо, папа, я вижу, что ты пишешь. А теперь, серьезно, что у вас тут случилось?

— Мы даже не знаем, где окажемся в Америке, — сказала мама громко. — Да, боже мой, мы еще не нашли жилья в Ладисполи. Нам переезжать через несколько дней, а твой отец сидит здесь, как херувим, и сочиняет письмо какому-то неизвестному итальянцу на языке, которого он вообще не знает. Вот что у нас происходит.

Мама закурила и отвернулась к окну, откуда доносились все более громкие вопли и крики.

— Мамуля… — начал я, но замолчал, потому что голос дрожал. — Мамуля, мамочка моя, ты ведь знаешь, как папа тебя любит. И я тоже… очень… — я поцеловал ее, а затем повернулся и пошел к отцу.

— Пап, кому ты пишешь? — спросил я очень мягко, пробуя подыскать подходящий регистр.

— Я пишу поэту-редактору, которому мы звонили сегодня утром. Любовнику-покровителю Кармен.

— Как ты узнал адрес?

— Я купил номер его газеты. Я пошлю письмо прямо в редакцию. Хотя, пожалуй, лучше было бы пойти и представиться самому.

— Но ведь он не говорит по-английски… — возразил я, чувствуя прилив раздражения. — К тому же как бы ты проник в редакцию?

— Поэтому я и пишу по-итальянски, — объяснил отец. — Со словарем.

Он взял со стола и показал мне небольшой карманный итальянско-русский и русско-итальянский словарик в синей обложке, выпущенный Antonio Vallardi Editore. Такие словарики раздали всем беженцам по приезде в Рим.

— Вот видишь, — отозвалась мама, — письмо какому-то незнакомому поэту-редактору, который, скорее всего, и читать его не станет. Письмо, состоящее из вводных слов, приветствий и инфинитивов. «О, наконец, благодарю, печатать». Записки сумасшедшего, вот это что такое.

— Мама, ты же знаешь, как отец был занят, — сказал я, быстро входя в привычную роль посредника в ссорах моих родителей. — У него не было времени учить английский, с его-то двойной карьерой ученого и писателя.

— Он мог бы найти время, — ответила мама с горечью. — Мы были «в отказе» почти девять лет. Неужели у него не было времени хотя бы освоить азы? Он же знал, что мы едем в Америку!

— Это не было решено, — сказал отец, отрываясь от письма и карманного словарика. — Ты же знаешь.

— Я в Израиль не собиралась ехать, — закричала мама. — И, кроме того, каждый образованный человек говорит по-английски. Посмотри на некоторых из нашего окружения. На Штейнфельда, к примеру. У него не будет трудностей при вхождении в новую среду.

— Я уже тебе говорил, — сказал отец хрупким голосом. — Ты можешь ходить на свидания с этим помпезным Марком Аврелием и упражняться в английском сколько угодно. Я не встану у тебя на пути. Но я только хочу, чтобы все было по-честному. Меня с самого начала мучило, что мы не поедем в Израиль. И теперь, кстати, тоже.

Отец хлопнул словарем по исцарапанному столу.

— Ах, у меня нет сил даже говорить, — сказала мне мама, будто отца не было в комнате. — Тут дело не только в Израиле. Дело в том, что твой отец всю жизнь отказывается заниматься вещами, которые ему не нравятся — то английский учить, то в доме что-то починить…

— … то извозом заниматься ночами с моей близорукостью, когда нас с тобой уволили с работы и не на что было жить, — прервал отец. — Или ты уже все позабыла, моя дорогая? Или господин Штейнфельд совсем тебе голову задурил? Боже мой, ну почему еврейские женщины всегда берут на себя роль общественного адвоката всего мира — кроме своих мужей?

— А почему еврейские мужья вдруг становятся антисемитами, когда речь заходит об их женах? — ответила мама.

В номере по ту сторону двора к воплям и крикам добавился звон разбитых тарелок.

— Проститутка! — взревел взбешенный мужской бас из-за светло-коричневой шторы.

— Негодяй! — ответило женское сопрано.

— Браво! — с нижнего этажа сначала отозвался другой мужской голос, а потом хрипло захохотал: — Брависсимо!

Не обращая внимания, отец медленно выписал из словаря еще несколько строк, сложил лист втрое, сунул его в белый конверт с красными и зелеными пограничными столбиками вдоль краев и заклеил.

— Запомните вы оба, — сказал он, посмотрев на меня, а потом на маму, — я не могу и не буду жить в изоляции. Я писатель. Мне нужно общаться с коллегами. И я буду продолжать. По-итальянски или нет, по-русски или нет. Неважно как.

Еще одна серия оперных воплей и проклятий донеслась из здания напротив, после чего раздались аплодисменты местного любителя семейных скандалов, жившего этажом ниже.

— Я сойду с ума в этой крысиной норе, — сказала мама обреченно и опустилась на кровать. — Эта крысиная нора! Этот сортир! Этот бордель! Этот… — и она разрыдалась.

— Ну что ты, родная… — отец метнулся к маме и уселся на кровать рядом, утешая ее. — Это ужасная гостиница, золотая моя. А засунули нас сюда, потому что она очень дешевая, а мы беженцы. Потерпи еще несколько дней, и мы переедем в Ладисполи. Будем жить у моря, ходить на пляж. Будем есть сладкие персики, твои любимые. Помнишь, я приносил тебе необыкновенно вкусные персики в Крыму? Пожалуйста, не плачь, моя единственная…

Мама едва улыбнулась.

— Разве вы оба не видите, что дело вовсе не в комфорте, которого мне здесь не хватает… — ответила она с нежностью и прижалась к груди отца. — С тех пор, как мы приехали в Рим, я чувствую себя так… так одиноко.

— Все наладится, вот увидишь, любимая моя. Потерпи еще несколько дней…

В середине ночи я проснулся, потому что услышал шорохи и шарканье. И сначала подумал, что к нам залезли воры. Я приподнялся на койке и в чернильной синеве комнаты увидел отца, согнувшегося над одним из чемоданов.

— Папа, что случилось? — спросил я шепотом.

— Не могу заснуть, — ответил отец.

— Тише! — сказал я. — Не разбуди маму.

С тех пор как себя помню, мой отец никогда не умел говорить шепотом. Он не был рожден для осторожных звуков.

— Мне надо выпить, — сказал отец. Он открыл чемодан и пошарил внутри обеими руками. — Вот она, драгоценная!

Он вытащил бутылку водки, которую бухарский спекулянт Исак посоветовал отвезти в Америку в качестве русского сувенира. Это была особая водка — «Посольская». Отец отвинтил пробку и сделал долгий глоток, а затем еще один. Потом закрутил пробку и поставил бутылку на стол. Он натянул брюки, рубашку и сандалии.

— Куда ты собрался? — спросил я шепотом.

— Пройдусь до Виллы Боргезе, — ответил отец.

Он взял водку, прошаркал мимо меня и вышел из номера. Я подумал, что все это мне снится и я вижу сон во сне.

Когда мама разбудила меня, было десять утра.

— Мы опоздали на завтрак, — сказала она. — Но, похоже, я выспалась.

Она выглядела отдохнувшей и умиротворенной впервые за всю неделю.

— Где папа? — спросила мама, раздвигая штору и впуская оранжевый солнечный свет в комнату.

— Не знаю.

Вдруг меня осенило.

— Мама, кажется, он ушел глубокой ночью, — ответил я. — И кажется, он захватил с собой бутылку водки.

— И ты отпустил его?!

— Мам… я… он…

Десять минут спустя я уже пересекал площадь Республики, минуя правительственные здания и спеша в сторону Виллы Боргезе. Я знал дорогу, потому что был там два или три дня назад. Я бежал по виа Витторио, спотыкался о коварные выбоины в асфальте; голова кружилась из-за позднего пробуждения и оттого, что я не позавтракал. Вот, наконец, через Пинцийские ворота я вбежал на Виллу Боргезе. Ипподром Галоппатоио был по левую руку от меня; обморочные запахи сена и навоза щекотали ноздри, я решил повернуть вправо и побежал в сторону памятника Гёте. Пробиваясь сквозь плотные группы азиатских туристов, мимо молодых римских мамаш с колясками, я мчался по длинной аллее парка — той, что вела к галерее Боргезе. На полпути к галерее взял влево, по направлению к площади Сиены. Миновал компанию молодых людей, которые играли в футбол на траве. Сверхъестественная сила родства, некий генетический компас, вел меня и направлял к памятнику Байрону. В нескольких шагах от памятника хромому лорду (которого многие русские любят гораздо больше, чем других английских поэтов-романтиков), под цветущей липой, источавшей сладостный запах забвения, я увидел отца. Он лежал на изумрудной траве Виллы Боргезе, подпирая твердь своей распахнутой левой рукой — каждым пальцем упираясь в землю, продолжающую свое круглосуточное вращение. Голова с седеющими волнистыми волосами, трепетавшими вокруг лысеющего черепа, как маленькие стрекозки, покоилась на ладони правой руки. Старомодные очки в черепаховой оправе сползли с переносицы на левую щеку; их дужки торчали вверх, как два бобовых стебелька. Пустая бутылка «Посольской» валялась у его ног, и горлышко ее пронзало густую июньскую траву, как чудесный кабачок или огурец. Клетчатая рубашка, называемая в России «ковбойкой», была расстегнута и открывала серебряные завитки волос на груди.

— Папа, папа! — закричал я, становясь на колени около него и тщетно стараясь удержать слезы. — Папа, это я!

Отец приоткрыл свои эллипсоидные халдейские глаза и повернулся на спину. Блаженная улыбка промелькнула на губах, словно залетела из других миров.

— Папа, ну что ты? — бормотал я, сжимая его теплую руку. — Папа, — спазм вины перехватил мое горло.

— Я видел совершенно невероятные, фантастические цветные сны! — сказал отец, садясь и протирая глаза. Затем он оглянулся и застегнул ковбойку. Стебельки травы, как лезвия, впечатались в его правую щеку.

— Посмотри, сынок, — сказал отец, показывая вправо. Там, не более чем в двадцати шагах от нас, высокая длинноногая молодая дама плыла по аллее парка. На ней были короткая красная юбка, туфли на высоких каблуках и блузка с глубоким вырезом. В правой руке она держала сумочку из черной кожи, а в левой — книжку в мягкой матовой обложке. Ей было лет тридцать или чуть больше, у нее были длинные волнистые черные волосы. Она напоминала итальянскую актрису Софи Лорен, которую так почитали в Советском Союзе. Ее и Марчелло Мастрояни.

Итальянская красавица уселась на скамейку прямо напротив нас и скрестила ноги, так что юбка поползла вверх, открыв ее смуглые бедра. Она вытащила блестящую металлическую закладку из середины книжки и принялась читать.

— Потрясающая! — сказал я отцу. — Как твои сны.

— Да, хороша! Так иди и поговори с ней. Не теряй время! — отец осторожно подтолкнул меня, чтобы я поскорее поднялся с травы, на которой мы сидели.

Я направился к скамейке, готовясь завести непринужденную беседу.

— Извините, — обратился я к ней по-английски.

Она подняла голову и глянула на меня. Ее губная помада была ярко-красной и гармонировала с пылающей юбкой.

— Извините меня. Позвольте представиться?

Красавица улыбнулась очень естественно и располагающе, не выражая никакого удивления или раздражения.

— Non parlo inglese, — сказала она, слегка покачав головой и в то же время продолжая улыбаться.

Пытаясь использовать весь запас итальянского, который мне удалось усвоить за несколько дней, я смог слепить неуклюжее выражение: «Iо sono russo-ebreo emigrante» («Я есть русско-еврейский эмигрант»).

— Ciao, — ответила красавица. Она перестала улыбаться, но продолжала смотреть мне прямо в глаза. Еще секунд тридцать я барахтался в ее глазах, молчаливо и безнадежно. Потом пошел ко дну, а она повела плечами и перевела взгляд на страницу книги в мягкой обложке.

Я вернулся на лужайку, где меня ждал отец.

— Пойдем, папа, — сказал я, тормоша его. — Мама, наверняка, волнуется.

— Пойдем, сынуля, — ответил отец и поднялся с земли.

Я помог ему отряхнуть травинки с брюк и рубашки. Мы обнялись и побрели под голубым куполом римского полдня в сторону нашей гостиницы.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

**Ладисполи**

**4**

**Записки из транзитной жизни**

**РУССКИЕ ЭТРУСКИ**

В книге «По следам этрусков», впервые опубликованной в 1932 году, Д. Г. Лоуренс в главе «Черветери» кратко упоминает о городке Ладисполи: «Мы прибываем в Пало, неизвестно где расположенную станцию, и спрашиваем, ходит ли автобус в Черветери. Нет! Там стоит лишь древний шарабан, да такая же старая белая кобыла томится неподалеку. Куда они направляются? В Ладисполи. Мы знаем, что нам не надо в Ладисполи и только вглядываемся в ландшафт. Сможем ли мы найти какой-то транспорт? „Это трудновато“, — отвечают нам. Это то, что они твердят всю дорогу: трудновато! Что означает „совершенно невозможно“. Никто даже пальцем пошевелить не желает! Есть ли гостиница в Черветери? Они не знают. Похоже, они никогда там не бывали, хоть это всего в пяти милях отсюда и там находятся гробницы».

Лоуренс прибыл из Рима на железнодорожную станцию Ладисполи-Черветери, а оттуда ехал в каком-то допотопном омнибусе в Черветери — место, известное своими tumoli, этрусскими гробницами, датирующимися VIII веком до нашей эры. Насколько мне известно, Лоуренс так и не побывал в городке Ладисполи, который делил вокзал со своим материковым соседом, древним этрусским поселением Черветери. В отличие от Лоуренса, вольно путешествовавшего по итальянскому региону Лацио в поисках следов этрусского прошлого, погребенных под руинами менее отдаленного римского прошлого, мы, беженцы из СССР, не выбирали места транзитной жизни и не могли обойти Ладисполи стороной. Когда мы с отцом впервые вышли из поезда на перрон Ладисполи-Черветери, единственным, что роднило нас с Лоуренсом, было самое смутное представление о том, где найти жилье…

Еще в 1970-е годы несколько прибрежных городков в окрестностях Рима стали пристанищем еврейских беженцев, отказавшимся внимать призывам праотцов вернуться в Землю Обетованную и отдавшим предпочтение интеллектуальным и торгово-промышленным перспективам Нового Света. На пике эмиграции в середине и в конце 1970-х, когда десятки тысяч покидали СССР и многие из них направлялись в Америку и Канаду, Остия и Ладисполи наполнялись «русскими» до краев. Я до сих пор удивляюсь тому, что именно Остию, морской порт Древнего Рима, и Ладисполи, бесхребетный прибрежный курорт, сочли подходящими перевалочными пунктами для беженцев, теснящихся у ворот Нового Света. Подобно скучающим легионам, расквартированным под Римом и готовым в любой момент поднять паруса и плыть навстречу завоеваниям или же войти строевым шагом в Вечный город, мы томились от бездействия и неопределенности будущего. Жаждущие перемен, мы с родителями были обречены на два месяца принудительного, беспокойного и бесцельного существования в русской колонии на Тирренском море.

Летом 1987 года, когда Советский Союз все еще ехал, развалясь на заднем сиденье половинчатых реформ, которые впоследствии привели к полному краху государства, количество эмигрантов постепенно начинало увеличиваться. Мы были слабеньким ручейком по сравнению с бурлящими потоками 1970-х или же с мощным течением конца 1980-х и начала 1990-х. Летом 1987-го, большую часть которого мы с родителями провели в Италии в ожидании американских виз, чиновники ХИАСа поселили нас в Ладисполи после полутора недель в чреве Рима. Расположенный на побережье Тирренского моря, километрах в пятидесяти к северу от Рима, Ладисполи был сонным городишком, где полузажиточные римляне владели небольшими летними домиками или квартирами в кооперативах. Именно здесь еврейским беженцам предстояло ждать визы. Иногда ожидание занимало три-четыре месяца, иногда больше.

Мы не могли позволить себе купить путеводитель; доступа к местным библиотекам у нас тоже не было. В добавление к тому немногому, что мне было уже известно из древней истории этого региона, некоторые сведения об этрусках я почерпнул от Анатолия Штейнфельда. Он избегал солнца, и здесь, в Италии, его цветовой доминантой был цвет пыльной мостовой. Склонный по натуре к депрессии, Штейнфельд в то лето был удручен перспективами американского академического рынка. С первых дней в Риме, где мы с ним оказались в одном отельчике, Штейнфельд выбрал меня в студенты своей академии на открытом воздухе. В течение первых трех недель он читал мне лекции — сначала в Риме, потом в Ладисполи, урывками и кусками, то под портиками зданий, то в тенистых углах улиц, то под пляжными зонтиками.

Должен признаться, в отношении Штейнфельда меня раздирали противоречия. Я восхищался его знаниями, риторическим даром, лингвистическим чутьем. И в то же время не мог не испытывать солидарности с отцом, который на дух не выносил Штейнфельда. Кроме того, я ощущал то, что чувствует юноша, когда чужой мужчина проявляет интерес к его матери, а мать как-то исподволь подыгрывает чужаку. Добавьте к этой путанице некоторую беспринципную жадность, с которой я поглощал тогда всякое новое знание, не в силах отказаться от захватывающих рассказов Штейнфельда, которые получал в избытке и совершенно бесплатно. Возможно, поначалу Штейнфельд предполагал втереться в доверие, чтобы расположить к себе мою маму. Он обожал этрусков. И на ходу читал мне лекции об этрусских поселениях, всегда по памяти и без подготовки — словно импровизируя. От Штейнфельда я узнал, что во времена этрусков недалеко от Ладисполи был порт, служивший населению города Цере, предшественнику сегодняшнего Черветери. Римляне называли этот порт Альциум, и во времена Римской республики это был известный курорт. Цицерон упоминает, что Юлий Цезарь подумывал, не высадиться ли ему в Альциуме по возвращении из Африки. Впрочем, Штейнфельд не особенно церемонился с остальной историей. Поэтому-то я узнал не от Штейнфельда, а из мемориальной доски и плана, что Ладисполи официально стал отдельным городом лишь в 80-е годы XIX века, а название свое получил от отца-основателя принца Ладислао из рода Одескальки, который происходит с севера Италии.

Русский Ладисполи не выходил за пределы центрального квартала города. Его границами служили: с юга — Тирренское море, а с севера — железнодорожные пути (за которыми пролегала древняя Аврелиева дорога). С востока и запада естественной границей русского района служили каналы, несущие воды в Тирренское море. Нашей вотчиной был кусок прибрежного Ладисполи — полоска черного песчаного пляжа да сетка бульваров, бегущих вдоль моря и пересекающихся с улицами, которые спускались к морю, — всего каких-то шесть квадратных километров, не больше. Существовало негласное соглашение между нами, беженцами, и местными итальянскими властями. Они зорко следили за нами, и мы редко выбирались в другие кварталы. Невидимая демаркационная линия пролегла между русским Ладисполи и остальной частью города. Несмотря на то что можно было перейти по мостам через каналы, да и над железнодорожными путями висели мосты, большинство из нас не ступало за пределы русского становища.

В Ладисполи селились евреи-беженцы и из других стран, но русская колония была самой многочисленной. Везде в центральном квартале города слышна была русская речь. Как к нам относились местные жители? Для владельцев магазинов и квартир мы были источником легкой наживы. Для нарядной толпы отдыхающих римлян, которые приезжали сюда на выходные поваляться на пляже да побродить по бульварам в закатный час, мы были коллективной оплеухой их буржуазным ценностям. Интересно, помнят ли до сих пор в Ладисполи русских? Или воспоминания о нас безвозвратно стерлись? Сколько потребовалось времени, чтобы жители Ладисполи забыли о клокочущей речи шумных пришельцев? Не могу выбросить из головы навязчивую рифму: русский-этрусский. Рожденная из звука, эта параллель не несет в себе слишком большого исторического смысла: если итальянцы были здесь всегда, то русские, как говорится, пришли и ушли. Но тем не менее я продолжаю думать о нас, русских беженцах, как об этрусках, чья цивилизация была поглощена римлянами. Невнятица, я первый это признаю, но полная сладостной меланхолии.

Ладисполийский грязноватый пляж с мелким черным песком служил нам, беженцам, гостиной, библиотекой, а также залом новостей. Подобно жизням сотен других семей, зависших здесь на неопределенный срок, наша жизнь строилась вокруг ожидания Америки. Это италийское лето для меня стало, пожалуй, единственным в жизни временем, когда я вынужден был полностью отдаться высшей воле бытия. Не в моих силах было ускорить прохождение документов через запруды американского консульства. У меня было лишь смутное представление о том, где мы окажемся в Америке. Проучившись три курса, я знал, что буду продолжать учебу в Америке, попытаюсь поступить (перевестись?) в какой-нибудь университет. Вот, пожалуй, и все, в чем я был уверен летом 1987-го.

С тех пор я дважды побывал в Италии — в 2002 и 2004 годах. Я гостил там почти по два месяца кряду. Оба раза я был завален работой над новой книгой; сроки поджимали, но я все же умудрялся выкроить день-другой для небольших путешествий. Меня тянуло съездить в Ладисполи (и я даже обсуждал такую поездку с женой и родителями), но что-то удерживало меня от этого шага — некая сила, не допускающая закрытых концовок и не терпящая завершенных жизненных маршрутов. Вспоминая о тех летних месяцах, я всякий раз ловлю себя на том, что мне трудно восстанавливать события в хронологической последовательности. В течение первых недель в Ладисполи в нашем беженском времени начисто отсутствовал градус повествования.

Тем летом мне повстречались презанятные типы, которых многие сочинители с радостью поместили бы в свои рассказы: Умберто Умберто, Соловейчики, коровница Бьянка, Рубени из Эсфахана и многие другие. Но они отказываются подчиниться моему замыслу. Как же мне передать эти воспоминания о Ладисполи, избежав перегибов сюжета? Я вынужден притормозить, замедлить ход и прибегнуть к тому, что делают рассказчики, застряв в каком-то желобе своего повествования: вспомнить анекдот или затейливую историю, сплести виньетку-другую, пока ко мне не вернется рассказ, пружинящий героическими преодолениями препятствий и отчаянными конфликтами… и так вплоть до того момента, когда поток повествования не подхватит меня и не понесет к концу лета, к вратам Америки.

**ВИА ФИУМЕ**

Советский беженец в Италии быстро ускользал из жилистых ручищ календаря, попадая в объятия тягучего, эпического времени. В обычное утро самого заурядного дня где-то в конце июня мы с отцом вышли из пригородного поезда на станции Ладисполи-Черветери и очутились как раз там, где Д. Лоуренс, исследователь «порочных» этрусков, стоял когда-то, всматриваясь в окрестности. Если не ошибаюсь, это происходило в пятницу, а в следовавший за ней понедельник мы должны были переехать из Рима в Ладисполи. Нас — вместе со всеми вещами, включая маньчжурский кофр моей тетки, уже освободившийся от человеческого груза, — должны были привезти сюда на автобусе. В ХИАСе объявили, что отель в Риме оплачен по воскресенье включительно, после чего мы «обязаны» найти себе жилье в Ладисполи. Итак, мы с отцом отправились туда на разведку, а мама осталась в отельчике рядом с Термини, снабдив нас утренним напутствием: «Пожалуйста, найдите что-нибудь приличное». Мама уже не выглядела такой подавленной, однако она ни за что не согласилась бы провести остаток лета в очередном клоповнике. Мы это ясно понимали.

Утром в пригородном поезде пузатый Штейнфельд в полосатой рубашке, напоминающей пижаму, в шортах по колено и бирюзовых эспадрильях прочитал мне очередную сногсшибательную лекцию по истории древнего Пало — местности, где расположен курорт Ладисполи. Отец тем временем углубился в очередной номер парижского эмигрантского журнала, который бесплатно получил в русском экуменическом центре неподалеку от Ватикана.

Когда мы сошли на станции Ладисполи-Черветери в ту июльскую пятницу, солнце приближалось к зениту, словно горячий камень, летящий из пращи Давида прямо в белесый выпученный глаз Голиафа. Напротив газетного киоска, на стенах которого рекламировали новую биографию Ленина на итальянском языке, мы оставили Штейнфельда, вновь углубившегося в раздумья об этрусках. Мы с отцом пересекли вокзальную площадь и взяли курс на юг, в сторону моря. Пройдя пару захудалых кварталов — из тех, что обычно окружают железнодорожные вокзалы в маленьких городках, — мы оказались на широкой улице с множеством магазинчиков, в основном ювелирных, обувных и цветочных. В сравнении с роскошными витринами магазинов в Риме, ладисполийские выглядели так, будто бы сохранились здесь годов с 1950-х, когда этот неприглядный городок был превращен в приморский пригород-курорт.

Томимые неизвестностью, мы с отцом приехали в Ладисполи, чтобы снять квартиру. Как долго мы здесь пробудем? Мы точно не знали, а чиновники ХИАСа не называли сроков. Может, они и сами не знали — во всяком случае, не меньше месяца, а то и два-три.

Темная фотокопия плана центрального квартала Ладисполи подрагивала в моей руке, как диаграмма неопределенности. Уже на подходе к морю мы с отцом еще раз подсчитали наши финансы. Доход от продажи привезенных с собой из Москвы товаров бухарскому еврею Исаку (по бросовым ценам) составил около двухсот долларов. Кроме того, мы везли с собой три или четыре сотни долларов (точно я уже не помню), обменянных по официальному курсу на рубли еще в Москве. И у нас оставалось восемьдесят долларов от тысячи шиллингов, подаренных Гюнтером В. в Вене. Сложив все это, мы получили сумму нашего начального капитала на Западе. Остальная часть собственности состояла из нематериальных активов, таких как рукописи отца, которые вывозились по дипломатическим каналам (и, возможно, уже находились у наших друзей в Америке), а также нашего общего багажа воспоминаний о советской жизни. Подчас казалось, что от этого багажа новая жизнь делалась невесомой, а временами — что воспоминания тяжелы настолько, что прибивают нас к земле.

В Италии нам предстояло жить на пособие, которое ХИАС выплачивал каждому беженцу, плюс то, что прибавляли на отдельную семью. В последние недели перед отъездом и уже потом, в Вене, в пансионе для беженцев, нам постоянно звонили друзья моих родителей, которые уехали еще в 1970-е. Некоторые из них даже писали нам в Италию, и мне запомнилось письмо на бланке компании, полученное от бывшей сослуживицы моей мамы. Эта женщина, талантливый лингвист, сделала карьеру в одной из международных организаций, базирующихся в Нью-Йорке. «Экономьте каждый доллар, каждый цент, — взывала она к нашему благоразумию. — Каждая лишняя порция gelato отдаляет вас от покупки машины, от внесения первого взноса за дом».

Самым простым способом сэкономить в Ладисполи было дешевое жилье. Еще в Риме мы слышали, что за триста тысяч лир (тысяча лир равнялась тогда примерно одному американскому доллару) летом в Ладисполи можно снять комнату, а за шестьсот тысяч — малюсенькую квартирку. Моя предприимчивая тетя, побывавшая в Ладисполи за два дня до нас, умудрилась найти комнатуху в трехкомнатном коттеджике. Бабушка, тетя и моя маленькая кузина так и ютились все лето в этой комнатухе, деля ванную с семейством астронома, чья легендарная скаредность стала предметом разговоров среди беженцев в Ладисполи.

Нет сомнения, что в то лето домовладельцы торжествовали. Спрос на скромное и недорогое жилье в Ладисполи намного превышал предложение. Здесь многое напоминало то, что происходило на крымских курортах, когда целые семьи набивались в одну комнату или занимали переделанный на скорую руку сарай. Мне было три года, когда родители возили меня в Севастополь. Больше мы ни разу туда не ездили, предпочитая эстонское прохладное лето жаре и убожеству советского Крыма. Год за годом мы ездили в наш любимый Пярну, на западный берег Эстонии, где снимали уютную квартирку недалеко от моря и старались делать вид, что живем где-нибудь за границей, в Скандинавии например. И вот теперь, подходя к морю, изумрудная плоть и черные песчаные кудри которого виднелись сквозь пробелы между прибрежными виллами, мы с отцом четко знали, что без комнаты с видом на море нашей усталой семье никак не обойтись.

Широкая улица, которая вела нас от железнодорожной станции до береговой полосы, наконец-то приложила разгоряченные стопы к главной городской площади. Несмотря на приближающийся час сиесты, небольшая группа наших бывших соотечественников толпилась на шахматной доске, где темно-коричневые каменные плиты чередовались с бледно-розовыми. В центре и по флангам сновали сухопарые пешки в белых или серых рубашках апаш; двое рослых офицеров в летних фуражках охраняли диспозицию; бородатые и небритые кони оглашали округу ржанием, в котором слышались русские склонения. Где в этот час скрывались беженские короли и королевы — никому не было известно.

Мы с отцом пересекли пьяццу по тенистому краю и расстались на двадцать минут. За это время мы вытрясли из наших соотечественников (большая часть которых происходила из Украины и Белоруссии) крупицы информации о том, где и что сдается и какие квартиры освобождаются в эти выходные. Сведения были самые неутешительные. Имелась (и то еще под вопросом) квартирка над популярным рестораном, где по вечерам громыхал оркестр. От пожилого господинчика из Витебска (родины Марка Шагала, о чем он нам первым делом сообщил) мы узнали о свободных комнатах в «барских покоях», на поверку оказавшихся обветшалой виллой с потрескавшейся штукатуркой, провалами в красной черепичной крыше, повалившимися краснокирпичными воротами и входной дверью, колышущейся взад-вперед при каждом дуновении ветра. Было еще несколько подобных предложений, в равной степени неудобных и небезопасных.

К трем часам пополудни мы с отцом пересмотрели все варианты. Мы уже проглотили свои яблоки и бананы и не представляли, что еще можно предпринять. Фантомы комнат, которые мы должны были бы делить с фартучными матронами из бывшей черты оседлости (откуда мои деды и бабки бежали еще в юности, чтобы учиться в больших русских городах и больше не возвращаться домой); негативы захламленных двориков, по которым с раннего утра до поздней ночи носятся переперченные одесские шуточки; фантасмагорические сцены конфузов в коммунальной ванной с биде… Все эти сцены вертелись в голове, пока мы с отцом тащились по виа Анкона, одной из главных городских артерий, идущих параллельно морю.

— Блядисполи, — отец выдавил сквозь свои идеально прямые зубы. — Что теперь будем делать? Мы должны что-то найти для мамы.

В этот момент интеллигентный голос вдруг окликнул нас по-русски. Пораженные, мы остановились на пустой послеполуденной улице чужого итальянского городка-курорта. Голос принадлежал красивому мужчине лет тридцати, с нервными пальцами и проницательными живыми глазами. Одет он был с изяществом: белая рубашка-поло с расстегнутыми пуговицами открывала шею, на которой висела цепочка с маленьким серебряным медальоном со звездой Давида; черные отглаженные брюки и элегантные кожаные сандалии завершали его гардероб.

— Bloodispoli-Блядисполи, достойный писателя двуязычный каламбур, — подхватил он. — Позвольте представиться, Даниил Врезинский, — и он церемонно протянул руку отцу, потом мне: — Кажется, вы близки к отчаянию, а я уже здесь живу целый месяц. Если вы не против, я бы хотел вам помочь.

Даниил Врезинский был сыном знаменитого советского драматурга и сам что-то сочинял. Уже потом мы узнали, что он был политическим диссидентом и отсидел срок в Сибири за то, что читал запрещенных авторов своим ученикам в школе, где после университета преподавал словесность. Врезинский подвел нас к современному многоквартирному дому на виа Фиуме. Это было всего в пяти или шести кварталах от моря в направлении канала, служившего западной границей центрального квартала Ладисполи. Врезинский знал, что в этом доме сдавалась квартира.

— Это вам недешево обойдется, предупреждаю сразу, — сказал он и нажал пальцем на кнопочку. Домофон отозвался скрипучим голосом. Врезинский уже успел выучить достаточно итальянских слов, чтобы поддерживать беседу через домофон. Спустя пару минут мы разговаривали с обладательницей надтреснутого голоса, пожилой сгорбленной синьорой с лицом, отштукатуренным косметикой. Пепел с сигареты в мундштуке падал на ее купоросовый пеньюар.

— Строго говоря, она не консьержка, но она здесь живет тыщу лет, знает буквально всех и многим ведает, — пояснил Врезинский. — Собственно, вот и все, мне пора. Я объяснил, что вы ищете квартиру. Она в курсе, как и что с нашим братом.

Врезинский пожал нам руки на прощание, поцеловал руку пожилой синьоре, позабывшей о дымящейся сигарете и чуть было не прожегшей дырку в пеньюаре. В нашем экзальтированном состоянии Врезинский показался нам человеком, который играет со смертью.

Говоря без умолку и прикурив тем временем еще одну длинную коричневую сигарету, синьора увлекла нас за собой в глубь здания, которое по интерьеру показалось нам шикарным отелем. Из речитатива синьоры я с трудом понял, что на восьмом этаже сдается квартира с завтрашнего дня, что принадлежит она родителям одного безработного инженера из Рима и просят за нее миллион лир в месяц (около тысячи долларов). Это составляло больше чем две трети нашего совокупного месячного пособия — огромные для нас деньги. Мысль о том, чтобы потратить их на оплату квартиры казалась кощунственной.

Мы зашли в лифт. Из отвисшего кармана пеньюара синьора извлекла связку, на которой висела дюжина ключей, и стала перебирать их узловатыми подагрическими пальцами, как слепой аккордеонист — клавиши. Она отворила дверь. Первое, что мы увидели из неосвещенной прихожей, было море — лучезарное, великолепное, умиротворяющее. Этот вид словно обещал передышку в наших беженских скитаниях. Мы прошли в глубь со вкусом отделанной двухкомнатной квартиры с балконом вдоль всей передней стены, выходящим на море. В кухне стояла эспрессо-машина, а вдоль стен гостиной протянулись стеллажи, полные книг. Нам сразу все понравилось. Мы вышли на балкон и там стояли, проветриваясь в легком бризе. Тысяча долларов в месяц?! Синьора почувствовала наши сомнения, взяла в руки телефонную трубку и набрала номер хозяев в Риме. После разговора, из которого я понял лишь «russi» и «simpatici», любезная синьора повернулась к нам и сказала, сияя от удовольствия: «Девятьсот тысяч лир». Мы переглянулись с отцом, еще раз взглянули на море за балконом и закивали в знак согласия, повторяя лишь: «Molto grazie, signora».

Формальности были минимальными, хозяева даже не потребовали задаток. С утра в понедельник, в точности как синьора нам объяснила на прощание, безработный инженер ждал нас с отцом в квартире. Мама осталась с вещами на площади, куда нашу группу привезли автобусом из Рима. Во второй половине дня, проведенного в чудесной квартире, после первого купания в Тирренском море и долгой сиесты, мы с мамой сходили в ближайший супермаркет за продуктами. Мама воодушевилась и приготовила тушеную индюшатину с цукини. Мы ужинали на балконе, попивая дешевое кьянти и глядя на спокойное море. В Ладисполи мы обрели точку опоры — место, которое в ближайшие пару месяцев казалось почти домом. Русские беженцы прозвали нашу улицу — виа Фиуме — «Речной улицей». От квартиры на «Речной» веяло воспоминаниями о Речном вокзале на северо-западе Москвы, где прошли первые четыре года моего детства.

**GLI STUDENTI**

После бурных дней, проведенных в Риме, где мои родители ссорились из-за тех атрибутов жизни, которые они явно не могли изменить, — убогий отельчик по соседству с вокзалом Термини, безумный багаж наших родственников, кровящая неопределенность будущего, — первые недели в Ладисполи подарили нам покой. Мы отдыхали, жадно, самозабвенно, радуясь и медленному течению времени, и атмосфере расслабленности, царившей в этих местах. То же самое раньше бывало с нами в Эстонии, куда мы каждое лето убегали от вечной московской суеты.

Беженцы прочно заняли кусок общественного пляжа прямо посередине Лунгомаре Чентро. Здесь было многолюдно и не очень чисто, однако это был пляж с афродитовой пеной и миражом Сардинии за горизонтом. Повсюду лежал изумительный черный песок, поблескивающий, как насыпь угля в бегущем товарняке, скрипящий, как новая велосипедная шина на асфальте, и вздымающийся из-под наших босых ног.

Итальянцы не ходили сюда, предпочитая другие части пляжа — там по утрам зонтики выстраивались в ряд и можно было взять напрокат шезлонг. Они чувствовали себя чужеродными телами среди иностранцев, греющихся на итальянском солнце, спорящих о политике, кормящих своих детей и поглощающих толстенные бутерброды с салями и помидорами, выложенными на подстилке рядом с хрустящей редиской, луком и огурцами. В русской части пляжа почему-то не было кабинок, и все переодевались по-советски, повязав вокруг себя полотенце. Продавцы прохладительных напитков, выходцы из Северной Африки, стремительно пересекали наш пляж, давая голосу отдохнуть от напевного «Mama mia, mama mia, Coca-Cola fantasia» и не надеясь на бойкую торговлю.

Мне дико повезло — уже на третий день я познакомился со студентами из Рима. Выйдя из моря, я увидел, что родители пытаются поддержать случайно завязавшийся разговор с моими ровесниками-итальянцами. Один из них, Леонардо (он добавлял всегда, что рисует, как кот — «come gatto», — что значит, плохо), немного знал английский и понял из наших слов, что мы приехали из Москвы и пробудем здесь как минимум до конца лета. Леонардо и мой отец говорили по-английски примерно на одном уровне, а двое других парней-итальянцев, Томассо и Сильвио, по-английски не говорили вовсе. Все трое учились в университете и дружили с детства. У них только что закончились занятия, и они вернулись в Ладисполи на лето. Любопытство привело их на русскую часть пляжа. Они были еще детьми в конце 1970-х, когда Ладисполи кишел русскими.

На следующий день около пяти часов вечера в нашей квартире задребезжал дверной звонок. Это были Леонардо и его друзья. Я дал им номер нашего дома на виа Фиуме, но совершенно не рассчитывал, что они зайдут. Как выяснилось, старая синьора с сигаретой в мундштуке проводила их в нашу квартиру.

Леонардо — невысокий, энергичный, с черными волнистыми волосами, маленькими карими глазами, бугристым носом и рафинадными зубами — был старше приятелей на два года. Томассо, долговязый, длинноногий зеленоглазый блондин, напоминал скандинава; позже я узнал, что его родители — уроженцы Пьемонта. Сильвио был самым солнечным из приятелей и самым стильным. На нем всегда, в любую погоду, были замшевые туфли, и я ни разу не видел его в сандалиях. («Наш Сильвио помешан на модной обуви», — объяснил мне потом Леонардо.) Полуулыбка никогда не покидала его точеного римского лица, и в тот день, когда итальянцы впервые очутились на пороге нашего дома, Сильвио совершенно очаровал моих родителей, глядя на них и улыбаясь так, будто они знакомы всю жизнь.

Мой отец почему-то страшно обрадовался, когда gli studenti зашли к нам в квартиру; возможно, они напомнили ему собственную юность и чтение рассказов Альберто Моравиа.

— Иди, пошатайся с ними, — громко прошептал он, подталкивая меня к выходу.

— Мы… мы встречаемся с друзьями, — проговорил Леонардо по-английски, споткнувшись на полу-фразе. — В кафе. Мы хотим… хотим, чтобы ты пошел с нами.

Вот так все и началось.

В последующие два месяца я встречался с Леонардо, Томассо и Сильвио по два-три раза в неделю. Они входили в компанию мальчиков и девочек, которые были с детства знакомы. Одни выросли здесь, в Ладисполи, другие приезжали летом или на выходные. Леонардо только что окончил университет, получив степень агронома, но перспективы найти работу по специальности были призрачны.

— Почему именно агроном? — спросил я его вскоре после того, как мы познакомились.

— Очень просто. Я мечтаю жить в Австралии. Для меня это… это лучшая страна. Я хочу с тобой упражняться в английском.

Томассо и Сильвио учились на программистов. Без Леонардо мы пытались, как могли, общаться на итальянском, а также при помощи отнюдь не всегда универсального языка мимики и жестов. В мой первый приезд из Ладисполи в Рим (я стал туда ездить раз в неделю и закупать продукты на Круглом рынке) я приобрел краткую грамматику итальянского языка, составленную Ольгой Рагуза. Книжечка эта и сегодня со мной — один из немногих вещественных сувениров того итальянского лета. Я стал заглядывать в карманный словарик и записывать слова в маленький блокнот, который всегда носил с собой. Отдельные фразы застревали в ушах, но из контекста я не всегда мог понять их значение. К концу нашего лета в Италии я выучил (многое неправильно) достаточно грамматики и нахватался такого количества слов, чтобы изъясняться более или менее законченными предложениями. Приобретенный без особого труда и нередко под раскаты смеха моих уличных учителей, почти весь мой итальянский испарился в течение первого же года в Америке, хотя какие-то слова и фразы до сих пор приходят на память, когда я возвращаюсь в мыслях к Ладисполи.

Вспоминая этих итальянских студентов (я называю их студентами, а не сверстниками, хотя некоторые из этой компании уже окончили университет и искали работу), я понимаю, что в чем-то они были похожи на советских молодых людей, а в чем-то на американских студентов. И мне с ними было проще, чем с американскими сверстниками. Живя в свободной стране, эти итальянцы были, конечно, более раскованными, чем студенты в Советском Союзе, но в то же время в них чувствовались и дух коллективизма, и идеалы товарищества. Несмотря на то что у меня вечно не хватало карманных денег (мой бюджет равнялся доллару в день), я никогда не ощущал себя среди них нищим беженцем. Вспоминая себя тогдашнего — на дискотеках, в пиццериях и кафе или просто болтающегося по улицам в окружении итальянцев, — я понимаю, что, несмотря на языковой барьер, отсутствие денег и неопределенность будущего, мне было легко с моими новыми друзьями. Назовите этот сентимент как угодно — европейский, социалистический. Это не изменит моих воспоминаний. Среди итальянских студентов я чувствовал себя другим, но отнюдь не чужаком. А первые годы в Америке в Брауновском университете я ощущал себя именно чужаком.

Вспоминая лето, проведенное в Ладисполи, я редко вижу себя в окружении беженцев моих лет. Не помню, чтобы решение держаться от них подальше было осознанным. Возможно, таким образом я хотел создать дистанцию между собой и своим саднящим советским прошлым. Я хотел быть человеком без самоидентификации, хотел почувствовать себя человеком вселенной. Смешение с толпой молодых итальянцев создавало иллюзию анонимности (читайте: внешнего отсутствия чужести), помогало замаскировать мою советскость. Возможно, сыграли роль и другие причины. Во-первых, необычайно острое осознание, что совсем недавно я оставил свой мир, что никогда мне не найти таких потрясающих друзей, как в России. Я упрямо хранил верность кругу моих московских друзей, который сам разомкнул своим отъездом. Кроме того, у меня было не так уж много общего (кроме политического статуса) с молодыми людьми из Украины, Белоруссии и Молдовы, выходцами из небольших городов в бывшей черте оседлости, где еврейская жизнь еще теплилась, не была дотла уничтожена Второй мировой войной и Катастрофой. Для внешнего мира, не знающего тонкостей нашего происхождения и воспитания, мы были одинаковыми: советскими, евреями, но чаще всего «русскими». В реальности же русский язык был лишь нашим lingua franca, но далеко не языком общей культуры, языком, на котором я мог бы общаться лишь с очень немногими сверстниками в Ладисполи.

Я уже говорил о том, что мои итальянские приятели Леонардо, Томассо и Сильвио принадлежали к многочисленной группе студентов и недавних выпускников университетов, которые были знакомы и дружны с детства. Они собирались по вечерам на главной площади или в прибрежном кафе с тонкими красными стульями, придуманными, видно, в расчете на очень стройных людей. Несколько девочек из этой компании учились на педагогическом факультете. Одна из них, Бьянка Марини, разъезжала по городу на послевоенном «ситроене-комарике». Ее веснушки сверкали ярче, чем новая луна. Бьянка была невысокая и изящная, с мускулистыми руками, большой для своей фигуры грудью и плоским, мальчишеским задом. В день знакомства мы с ней гуляли допоздна, потом целовались на бульварной скамье, а вокруг усталые официанты собирали столы и стулья и привязывали их на ночь к стойкам. После этого Бьянка не появлялась два дня, а на третий я рискнул все-таки ступить на территорию, лежащую за рубежами нашего русского района, через канал, к западу. Бьянка оставила мне свой адрес и еще что-то сказала… о коровах. Каких еще коровах? Я пересек канал, затем прошагал по дороге примерно два километра. Дома встречались все реже, и пейзаж больше походил не на сонный приморский курорт, а на средиземноморскую сельскую местность.

Оказалось, что Бьянка живет на маленькой молочной ферме. Кроме хозяйского дома там были сараи, конюшни, огороды, фруктовые деревья и даже небольшая оливковая роща у дальнего края. Я толкнул ворота, направился к дому, взошел по ступенькам на крыльцо и простоял там пару минут, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь позвонить.

Дверь открыла толстенная Бьянка — не та Бьянка, а другая, но такая же веснушчатая и тоже с мускулистыми руками.

— Voglio parlare con Bianca, per favore, — произнес я.

— Бьянка, Бьянка, — повторила она эхом, а затем разразилась длинной сентенцией, из которой я уловил только слово gelato. Затем толстуха (как выяснилось, это была старшая сестра Бьянки) слетела со ступенек и метнулась в сторону сараев с криком: «Бьянка! Бьянка!» Через несколько минут я увидел саму Бьянку, спешащую ко мне, в цветастом переднике, повязанном на поясе, в ситцевой косынке, скрывающей ее легкие, темные с рыжиной взбитые кудри. В такой инкарнации она сильно напоминала русскую деревенскую девчонку.

— Вот здесь я живу. Мы делаем свое мороженое, — сбивчиво объясняла Бьянка. — Это наше семейное дело, уже в третьем поколении.

Мычанье коров, запах сена, навоза и удобрений — эти наполненные солнцем звуки и запахи сельского полудня — овевали меня на веранде, куда Бьянка принесла большущую миску свежего ванильного мороженого. Мороженое Бьянки походило не на восхитительное джелато, вкусы и запахи которого столь подлинно выражали всю палитру итальянских ощущений, а скорее, на сливочный московский пломбир. Да и сама Бьянка вдруг как-то утратила свою привлекательность. Я был совершенно не готов крутить роман с итальянской коровницей и вкушать ее сливки и пломбиры.

**УЛЕТАЮЩИЙ ФЛЕЙТИСТ**

В венском аэропорту, сразу после того как мы приземлились, я познакомился с молодым беженцем, музыкантом. Он ехал с родителями, младшей сестрой, бабкой и дедом. Они были горскими евреями из Баку. В Вене мы жили в разных пансионах. Мой отец, правда, столкнулся с отцом этого молодого музыканта на второй день в Вене в офисе ХИАСа. Их фамилия была Абрамовы, и они держали путь во Флориду, где в Майами их ждали родственники.

Спустя две недели, как мы осели в Ладисполи, я захотел постричься и отправился в парикмахерскую на виа Фиуме, в двух кварталах от нашего дома. За цену стрижки, даже без мытья головы, можно было купить четыре маленькие порции джелато, каждое с тремя разными шариками. Мама расспросила пляжных компатриотов и выяснила, что некто по фамилии Абрамов, бакинский цирюльник, стрижет на дому всего за два доллара — столько стоила одна порция джелато. На следующий день после сиесты, к которой мы уже успели привыкнуть, я пошел стричься в домашнюю цирюльню Абрамова.

Они жили в восточной части центрального квартала Ладисполи, на улице, где стояли небольшие виллы с тенистыми внутренними двориками и разросшимися садами за каменными осыпающимися оградами. В таких виллах многие снимали комнаты. Одна створка зеленых ворот была приоткрыта. Я зашел во внутренний дворик обветшалой виллы. Херувимчик припал пепельными губами к жерлу мертвого фонтанчика. За воротами гоняли сдувшийся мяч полуголые дети, вопя что-то по-русски и на каком-то другом, восточном языке. В дальнем углу двора, под сенью старой айвы, я увидал Абрамова, который брил патлатого мужчину, развалившегося на стуле. Вместо кепки-аэродрома, в которой он запомнился мне в венском аэропорту, его голова была увенчана светло-серой льняной кепкой. На трехногой табуретке покоился тазик с водой. Дочка Абрамова, не переставая улыбаться, стояла рядом и держала чашу с пеной и полотенце. В двух шагах, под густым сводом виноградных лоз, в старых креслах восседали допотопные прародители семейства. Они сидели точно так, как и в венском аэропорту, одетые в те же костюмы, включая папаху на голове старца. К поясу черкески был пристегнут кинжал в ножнах. Молча, неподвижно старики взирали на сына, колдующего над настройщиком из Белоруссии, с которым я до этого пересекался в Вене. Подобно лепесткам вишни на землю опадали длинные кудри настройщика. Как лепестки опадающих вишен в русском саду, пронеслось в моей голове. Как лепестки опадающих вишен в Вашингтоне весной, поправил себя я теперешний.

Бакинский цирюльник, как в заправской советской парикмахерской, опрыскал своего клиента чем-то напоминавшим по запаху освежитель воздуха, затем взял деньги и сунул в карман льняных брюк. После чего вставил новую сигарету в угол рта и пригласил меня в кресло. Девочка обернула меня простыней и связала концы где-то на затылке.

— Как будем постригаться? — спросил бакинский цирюльник тихо, словно певец, берегущий свой голос.

— Просто подровнять, — ответил я.

— Я видел твоего отца в Вене, — продолжал цирюльник замогильным голосом. — Приятный человек, образованный.

— Угу.

— А в Америке чем думаешь заниматься? — спросил Абрамов, уже орудуя ножницами.

— Пока еще не знаю.

— Не знаешь? — хмыкнул он.

— Учиться, — отвечал я, раздраженный его навязчивостью. — Пробиваться.

— Я вот что тебе скажу, — Абрамов перестал меня стричь, вытер пот со лба белым носовым платком, по размеру напоминающим флаг парламентера, и изрек: — Кто жил *там*  хорошо, тот и здесь будет жить хорошо.

Что я мог противопоставить этой мудрости? Ровным счетом ничего. Оставшееся время мы с Абрамовым промолчали.

Как только я встал со стула, отказавшись от спрыскивания освежителем воздуха, старик в папахе вдруг вскочил со своего кресла, как ванька-встанька, и устремился ко мне. Он говорил по-русски свирепо, с сильным акцентом; слова стучали по зубам, как камни по дну горной речки.

— Ты когда-нибудь слыхал о джухуро, сынок? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Панатнэ. Что сейчас знают молодые? Джухуро — так мы зовем себя на нашем языке. Мы, горские евреи. Вы иногда называете нас «таты», это неправильно. Но сами мы зовем себя джухуро. Ты это понял?

— Да, я понял. Мне отец рассказывал о горских евреях.

Старик подтянул ремень и издал чмокающий звук.

— Ты хоть знаешь, что такое аул? — презрительно поинтересовался он.

— Конечно. Это все знают. Аул — тюркское слово, означает «горная деревня».

— Ладно, — продолжал старик. — Тогда знай, что мой род жил в своем ауле с пятого века. А до этого… Мы из потерянных колен Израилевых, вот так, и живем на Кавказе очень давно. Еще раньше, чем азербайджанцы и всякие там другие. В нашем роду все были воинами и виноделами, я последний из них.

Старик заглянул мне в глаза, властно тряхнул головой так, что задел меня своей папахой. Она была теплая, эта папаха, словно бы баран ткнул меня в висок.

— Что твои деды делали в войну? — спросил старый воин.

— Один командовал танковым подразделением, а затем отрядом торпедных катеров, дошел до Кёнигсберга. Другой…

— А я, — прервал старик, колотя себя в грудь сжатым кулаком, — я очищал Кавказ от собак-предателей. Не верь ничему, что теперь говорят. Эти собаки встречали немцев, как освободителей. Мы, джухуро, бились против этих псов.

Слюна брызгала изо рта старого воина. Схватив меня за руку, он удерживал ее так, что я не мог пошевелиться, — оттолкнуть этого кавказского патриарха было бы невероятной дерзостью. Видя, что я в его власти, мой горец триумфально перешел от семейной истории к семейным невзгодам. Его сын, бакинский цирюльник, стоящий в тени старой айвы и ожидающий следующего посетителя, курил, не без удовольствия поглядывая на отца. Внучка горца стояла рядом с отцом, держала чашу с пеной и полотенце и улыбалась как деревенская дурочка. Чему и кому она улыбалась?

— Мой сын уехал в город. В Баку, слышал, да? Оттуда возят нефть. Сын открыл цирюльню и жил себе прекрасно, но он захотел еще больше денег и вот потащил нас с собой.

Я уже не искал смысла в его словах и с трудом поддакивал старику.

— Вы, молодые, вы все стадо бездельников. Знаешь моего внука Александра?

— Видел его в аэропорту, мельком. В Вене, когда мы прилетели.

— Александр не мужчина, а тряпка. Вот два других моих внука — они в израильской армии. Это старшего сына, он уехал в Израиль в 70-х. Они воины, защитники, как полагается в нашем роду. А дочь у меня во Флориде со своим мужем и детьми. У них свое дело, и туда-то мы… Вах! Что теперь…

Старик зашелся кашлем, выпустив мою руку и футболку.

Я уже расплатился и двинулся в сторону ворот, как вдруг увидел Александра Абрамова, с которым успел обменяться несколькими фразами в венском аэропорту. Флейтист был в мятой белой футболке и серых в полоску штанах. Он подошел и протянул свою маленькую, будто детскую, руку.

— Давай прогуляемся, — предложил Александр, бережно взяв меня за кисть, и повел через двор на улицу. Дождевые облака цвета морской волны нависли над Ладисполи, когда мы подошли к железнодорожной станции. Мы зашли в тускло освещенное привокзальное заведение. Двое подвыпивших посетителей спорили о политике с длиннорукой неряшливой женщиной с пережженными пергидролем волосами, стоявшей за прилавком. Мы взяли по бутылке кока-колы и просидели там около часа, пока не закончился летний ливень, загнавший нас в этот грязный бар.

— Мне так стыдно за своих родных, — сказал Александр. — Дед как-то умудрился провезти старый кинжал через все границы. Что он себе думал, старый кретин? Носит на поясе своей идиотской черкески. Говорит, кинжал нужен, чтобы защищать семейную честь. Как я ненавижу все это средневековое варварство, эту его жестокость. Ты знаешь, он ведь убивал людей — за что? А грубые парикмахерские шутки моего отца? Я люблю только маму и младшую сестренку… и… — он замолчал, силясь удержать слезы и выуживая из кармана носовой платок. — Как я мечтаю, чтобы все оставили меня в покое! — закончил он и глубоко затянулся сигаретой.

Нам с Александром не суждено было подружиться. Тем летом мы время от времени обменивались парой слов или рукопожатием на бульваре, но не более того. Единственный наш долгий разговор состоялся в тот июльский день, в баре у железнодорожной станции, под проливным дождем, после того как я постригся у его отца и выслушал лекцию его деда о горских евреях. Александру нужно было выговориться, освободиться от бремени, а я просто попался под руку.

Сам Александр у меня ничего не спрашивал, не интересовался ни моими московскими друзьями, ни моим прошлым. Он задал лишь один вопрос:

— Тебе было трудно в Москве из-за того, что ты еврей?

— Да, нелегко, — ответил я, — временами. Особенно в начальных классах.

Мне не хотелось развивать дальше эту тему, особенно здесь, в дымной и грязной итальянской забегаловке.

— Знаешь, я слышал об этом от других ребят здесь, в Ладисполи.

Под «этим» он имел в виду травлю еврейских детей их сверстниками.

— Я слышал об этом, но лично никогда такого не испытывал. В нашем дворе в Баку все дети играли вместе, все дружили.

Он держал бутылку кока-колы за горлышко большим и указательным пальцами, раскачивая ее в ритм словам.

— Мы все жили большой семьей — азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, ашкеназские евреи, горские евреи, да кто угодно. Ты даже не представляешь, какая это была счастливая жизнь. Я не хотел уезжать, я тебе уже говорил. У меня было все, что нужно. Я окончил специальную музыкальную школу для одаренных детей. В Бакинской консерватории занимался у лучших профессоров. Было так хорошо… Когда мы уезжали, весь двор пришел. Мы шли вместе к машинам, обнимались, как братья. Я никогда этого не забуду, слышишь, никогда! И он был там тоже…

— Кто он? — спросил я автоматически, не подумав.

— И зачем нужно было уезжать? — стенал Александр, переводя заторможенный взгляд на одного из бурно жестикулирующих пьяниц, облокотившихся на стойку бара. — Я хочу только играть на флейте и быть с ним.

В те времена позднесоветской куртуазности я был крайне наивен в отношении всего, что лежало вне традиционных отношений полов.

— Ты меня понимаешь, друг? — спросил Александр и положил свою ладонь поверх моей, лежавшей на столе, как мертвое животное.

Не обращая внимания на мое изумление, Александр отпил последний глоток кока-колы и сказал:

— Для моих недалеких родителей он был просто азербайджанцем. Для деда-фанатика — мусульманским псом. Но для меня он был Адонис. Понимаешь, Адонис!

Дождь прошел, и сверкающие ладисполийские жабры быстро поглотили остатки влаги. Мы побрели обратно к морю, не говоря друг другу ни слова.

**КРУГЛЫЙ РЫНОК**

До нашествия русских Ладисполи был одновременно курортным городком, куда римляне приезжали на выходные, и спальным пригородом Рима. Русские беженцы сочли Ладисполи совершенно непригодным для покупки продуктов. Почему-то я не могу припомнить там маленьких продуктовых магазинчиков. Может, их и не было вовсе в том районе, где мы жили, или же мы испытывали неловкость, заходя в угловой магазин и спрашивая там что-то по-английски, пытаясь объясниться жестами, рудиментарными фразами на итальянском — и все это под пристальным взглядом недоверчивого хозяина. В Ладисполи, конечно, были великолепные супермаркеты (во всяком случае, такими они нам казались в то время). Чувство анонимности и свободы охватывало нас в рядах супермаркета между полок с продуктами, когда мы прикасались к разным товарам, разглядывали их, восхищаясь ими как выставочными экспонатами. И при этом нас никто не обязывал что-либо покупать. Мы любили ходить в супермаркеты, даже покупали в них самое необходимое, но в целом цены в них были нам не по зубам. Время от времени фермеры привозили фрукты и овощи в ящиках и продавали их на главном прибрежном бульваре, прямо под нашими окнами, но на это нельзя было рассчитывать.

Вот так в нашей жизни появился знаменитый Круглый рынок — Меркато ди Пьяцца Витторио. На этом рынке, расположенном на Пьяцца Витторио Эммануэле И, еврейские беженцы из СССР закупали провизию. В то лето я, наверное, семь или восемь раз совершил паломничество на этот рынок. С утра, когда я шел пешком на железнодорожную станцию Ладисполи-Черветери, в голове вертелись мысли об этрусках, итальянках и строились какие-то туманные планы относительно Америки. Я садился в пригородный поезд, вдоль и поперек исписанный граффити и уже душный, несмотря на ранний час. До Термини поезд доезжал примерно за сорок пять минут. По пути он делал пару остановок в пригородах, а потом несколько раз останавливался в Риме. Мне запомнились названия трех остановок: Рома Аурелиа (из-за золотого эха, свившего кокон в тоннеле), Рома Сан-Пьетро (из-за Ватикана) и Трастевере, которое сигнализировало путешественнику, что мы уже на другом берегу Тибра (по-итальянски, Тевере).

Рынок начинал жить с раннего утра, торговля шла с понедельника по субботу до часу или двух дня. Но для нас, беженцев, весь смысл поездки состоял в том, чтобы попасть на рынок за час до закрытия, когда начиналась вакханалия торгов, когда срезали цены на нераспроданные за день овощи, фрукты, зелень и свежее мясо. Именно поэтому я выезжал из Ладисполи ранним поездом, затем слонялся полдня по римским улицам, перед тем как превратиться в римскую домохозяйку и поспешить на Пьяцца Витторио. Два или три раза я выходил из поезда, не доехав до Термини. Если не ошибаюсь, бесплатно в музеи Ватикана пускали только в последнее воскресенье месяца, и при всем желании мне никак не удавалось совместить поход на Круглый рынок с посещением Сикстинской капеллы. Но, чтобы попасть на другую сторону Тибра, билет был не нужен, и я вижу себя пересекающим старинный мост над Изола Тибери-ана, а затем еще один мост, ведущий к построенной в XIX веке синагоге в бывшем еврейском гетто, куда средневековый Папа Римский загнал евреев, сделав их заложниками христианской вины. Гуляя тем летом по улицам и площадям Рима, я много думал о еврейском реформаторе по имени Иешуа, о том, как я уехал из России и попал в Рим — вслед за тысячами других еврейских беженцев прошлых веков и тысячелетий.

Я помню, как выходил из бывшего гетто и направлялся на запад, в сторону Кампо Фиори. Я предпочитал большие улицы, которые мог точно найти на моей мелкоформатной, блекло ксерокопированной карте Рима: сначала по Корсе Витторио Эммануэле, потом несколько кварталов вприпрыжку вокруг Римского Форума к виа Национале, где я таращил глаза на магазины готового платья и модно одетых людей. Оттуда мой путь лежал к площади Республики. Я ни разу не спустился в метро, хотя под землей от Термини до Витторио всего лишь одна остановка. Троллейбусы топтались у края шумной и неопрятной Пьяцца Витторио, автобусы поджидали пассажиров у Термини, но я всегда ходил пешком туда и обратно, чтобы сэкономить на проезде. От площади Республики путь до Термини и дальше я уже знал. Рынок под открытым небом на Пьяцца Витторио располагался примерно в двух километрах к югу от центрального вокзала. В первый раз по пути с Термини на Круглый рынок я заплутал и уперся в Эсквилино, один из семи Римских холмов. Мне пришлось спрашивать у прохожих по-итальянски, как пройти к «marchetto tondo» (что означает примерно «круглый мужчина-шлюха»). И на лицах тех, к кому я вежливо и с самым серьезным видом обращался, я находил выражение полнейшего недоумения. Если по-английски слово «рынок» звучало как «market», по-немецки — «Markt», то почему же по-итальянски вдруг рынок — «merchato»? Заблудившись, я оказался в глубине обширного парка, где император Нерон когда-то построил Золотой Дворец, а император Траян — бани, а теперь бездомные плебеи спали на скамьях, и все маковые головки были уже собраны. Оттуда я, в конце концов, вернулся на Пьяцца Эсквилино, где, как выяснилось, мы с родителями уже побывали однажды, когда проходили медицинское освидетельствование, необходимое для получения американской визы. Вспоминая о церкви Санта Мария Маджоре, я вижу перед глазами длинный пестик колокольни и стершуюся стрекозью мозаику. Вход в соборы и церкви был бесплатный, и время от времени, невзирая на еврейскую воинственность, я заходил в них, оправдывая свои походы в церковь высокой целью изучения европейского искусства. В университете я вольнослушателем посещал курс искусства эпохи Возрождения, который читал блестящий лектор, академик Николай Гращенков. Он поначалу даже советовал мне специализироваться по истории искусств, но быстро ретировался, узнав мою фамилию или же услыхав от кого-то, что я был из неподходящей семьи.

Еще в России я с раннего детства обожал рынки. Здесь сказалось влияние отца. Моя элегантная мама — «столичная штучка», как ее называла покойная бабушка моего отца, — не любила ни разговоров с колхозниками в рядах, ни придирчивого осматривания товара. Она не умела и торговаться. Отец же, возможно, из-за трех военных лет, проведенных в эвакуации в далеком уральском селе, чувствовал себя совершенно свободно и естественно среди пирамид яблок и бочонков с квашеной капустой. Он-то и обучил меня лексике и грамматике колхозного рынка, и теперь я с успехом применял эти навыки в Риме. Меркато ди Витторио был лабиринтом кругообразных рядов, усыпанных, как казалось, тысячами палаток и прилавков, среди которых далеко не все были укрыты тенью навесов. Весь огромный рынок-спрут оплетал своими жалящими щупальцами, обвивал тесным кольцом сад этой барочной площади, приглушая листву и высасывая жизненные соки из посетителей. Находясь здесь, я не чувствовал пульсирующей свободы и ликования московских рынков, которых мне до сих пор не хватает. На римском Круглом рынке я ощущал одновременно бурление средиземноморских рыбных базаров, разносол американских блошиных рынков и душное очарование придорожных ларьков в летний полдень.

Недавно я где-то читал, что Круглый рынок в Риме собираются закрыть. Отцы города якобы постановили, что этот рынок — грязное пятно на лице Вечного города и самой Пьяцца Витторио. Я отказываюсь в это поверить. Без рынка площадь выглядела бы голой и стерильной, пустой и холодной. С тех пор я дважды бывал в Италии, но так и не доехал до Рима. Временами я думаю: может, причиной тому горечь, сопровождающая восторженные воспоминания о Риме, — горечь, которую я ощущаю, вспоминая тогдашние несогласия между родителями. Или же я обхожу Рим и Ладисполи стороной из боязни набрести на собственные воспоминания? Ведь тогда придется их выверять. Тем не менее я продолжаю надеяться, что когда-нибудь снова приеду в Рим и непременно совершу паломничество на Пьяцца Витторио, где уж никак не удержусь от покупки провизии на целую неделю ожидания Америки.

На Круглом рынке я закупал индюшатину, овощи и фрукты в больших количествах. Этих припасов нам хватало на неделю. К тому времени, как я заканчивал торговаться с продавцами и набивать сумку провиантом, наступал самый разгар инфернального римского летнего дня (рядом, за южной оконечностью рыночной площади, лежала Пьяцца Данте). Я возил провиант в невероятно вместительной клетчатой сумке, произведенной в ГДР. Такая сумка обязательно значилась в списке вещей, необходимых в транзитной жизни советского эмигранта. У сумки были маленькие колесики, днище с металлической вставкой, но я все равно с трудом волок ее по булыжным мостовым. Провиант в сумку укладывали слоями — по крепости и упругости. Сперва следовало купить и выложить на дно картошку, морковь, яблоки, кабачки, редиску, огурцы, лук и чеснок. Более высокие круги сумочного ада отдавались нежным баклажанам и грушам, а уже на них укладывались индюшатина и сыр. На самом верху лежали сливы, персики, абрикосы, черешня, помидоры, пучки зелени. Грудки индейки стоили дороже, поэтому я обычно покупал ляжки, ножки, а чаще крылышки, которые в нашей беженской колонии называли «Крылья Советов».

Каждую осень День Благодарения напоминает мне об индюшатине, которой мы пресытились за те два месяца в Италии. Это была основа нашего питания. Вначале, в Ладисполи, мы этому радовались, но уже к концу первого месяца не могли смотреть на индюшатину. Радовались вначале потому, что в те времена в России мясо индейки было деликатесом и на рынке стоило гораздо дороже говядины. Индюшатина считалась очень питательной. В первую мою университетскую осень, когда мама несколько недель боролась за жизнь в одной из лучших московских больниц, отец через день ездил на наш любимый Ленинградский рынок и покупал для нее индюшатину. Потом готовил жаркое и возил маме в больницу. Это было осенью 1984-го, а сейчас я отвечал за закупку провизии для семьи. Из своих вылазок в Рим я привозил не только описания мест, которые повидал, но и рассказы о перепалках с рыночными торговцами.

Мне приходилось торговаться по-итальянски, что неизбежно приводило к тому, что половину ответов я не понимал. Я спрашивал: «Fresco?» — указывая на прилавок, где были выложены розовато-лиловые куски индейки. Ответы варьировались от приветливого: «Конечно, свежее, дружище», — к более напряженному: «Ты не видал свежее», — и порой доходили до агрессивного: «Протри глаза!» — но даже это не было выражением истинной злобы. Пару раз, под занавес торговли, усталый, заросший щетиной итальянец за прилавком с овощами отдавал мне битые помидоры и надтреснутые перцы. Меня не сильно смущало тогда, что это было похоже на милостыню. В моей сумке были сочные помидоры, и никому не было дела до того, как я их добыл. Я не рассказывал родителям, что видел на рынке Исака — того самого бухарца, который в убогих гостиничных номерах около Термини скупал у беженцев по ничтожным ценам оперные бинокли, матрешки и прочий товар, а потом перепродавал все это втридорога. Вместо этого я описывал цвета и запахи товаров и колоритные сцены из жизни рынка, где я чувствовал единение с толпой.

**УМБЕРТО УМБЕРТО**

У него было лицо из тех, какие попадаются у мужчин в средиземноморских странах, а также в Южной Калифорнии — не загар, а золотая маска на коже. Лет ему было около шестидесяти пяти; среднего роста, мускулистый. Редеющие, осветленные волосы были зачесаны вперед над блестящим лбом с треугольными залысинами. Зеленые глаза заезженной скаковой лошади смотрели на вас чуть искоса, будто их хозяин активно пользуется периферийным зрением. Властная квадратная нижняя челюсть намекала на силу воли и выдержку. Этот учтивый итальянец прекрасно говорил по-русски, не быстро, но отчетливо выговаривая длинные слова и демонстрируя прекрасное понимание вида глагола. Чего уж больше?

Он выходил из тирренского бриза и располагался среди группы беженцев, наблюдая за ежедневными политическими дебатами о стране, которую все мы недавно покинули, и о тех странах, в которые мы направлялись. Лишь изредка он произносил слово «прекрасно», или какое-нибудь еще русское слово, или выражение, сколь весомое, столь и ничего не выражающее. Когда с ним пытались познакомиться, он представлялся как «Умберто», делая ударение на первый слог, и оскаливался в усмешке, обнажая золотые коронки. Поскольку никто из нас не знал фамилии этого господина, он вошел в анналы беженской жизни как «Умберто Умберто». «Какой Умберто?» — спрашивал вновь прибывший. «Какой еще может быть Умберто?» — отвечали старожилы, как будто у них спросили «Какой Круглый рынок?» или же «Какой Ладисполи?». Умберто Умберто, и все тут. В то время ассоциации с кинематографом эпохи итальянского неореализма или же с персонажем романа знаменитого русского изгнанника не приходили мне в голову; подобно многим другим, я воспринимал Умберто Умберто как неотъемлемую часть окружающего пейзажа — вроде киоска на центральной площади, где продавали джелато, или же местного раввина в черно-белом, гоняющего по Ладисполи на скутере. Беженцы многое не подвергали сомнению на чужбине. Нам не у кого было спросить. Приходилось догадываться. Умберто Умберто был одной из таких загадок.

Только через месяц я узнал о нем чуть больше. Источником информации оказался Леня Соловейчик, бывший отказник из Львова, преданный патерфамилиас. Леня излучал тихость и интеллигентность, и казалось, что, несмотря на тучность, он может ходить по воде. Однажды утром на пляже бесхитростный Соловейчик подошел к Умберто Умберто и полюбопытствовал, где тот так замечательно выучил русский язык. Умберто Умберто, стоявший на каменном парапете и перископом глаз рассекавший наш пляж и его обитателей, пожал Лене руку и предложил ему сигарету из пачки, лежащей в нагрудном кармане накрахмаленной до хруста белой рубашки. Умберто Умберто был готов уйти, но вдруг развернулся, сделал полшага и пригласил Соловейчика прогуляться вдоль моря. Соловейчик уже потом поведал нам, что в тот момент полностью ощутил себя во власти Умберто Умберто и пошел за ним, в чем был: в плавках, с желтым пластмассовым ведерком своего младшего сына в руке. Спустя полчаса, когда Умберто Умберто вернул его ровно на то место у парапета, откуда увел на прогулку, Соловейчик был уже совершенно убежден, что Умберто Умберто — тайный агент. Это обстоятельство стало предметом его мучительных волнений на протяжении тех недель, которые оставалось провести в Ладисполи. И до тех пор пока его с семьей не вызвали на интервью в американское консульство, Соловейчик боялся, что своим получасовым знакомством с Умберто Умберто он разрушил все надежды семьи на будущее в Америке.

— Можете не верить, но он меня загипнотизировал, — рассказывал Соловейчик за чашкой чая у нас на балконе.

— Как так? — спросила мама, не особенно верящая в практическую магию.

— Ну как вам объяснить… Он рассказал мне историю, полностью лишенную логики, о том, как попал в плен к советским войскам. Слушая ее, я поддакивал и, главное, в этот момент был абсолютно убежден, что так все и было. Этот тип, наверное, проходил подготовку в ЦРУ, КГБ или в Моссаде либо где-то еще. Он явно приставлен к нам, чтобы докладывать начальству о том, что здесь происходит.

— Так что именно он вам рассказал? — спросил отец, почуяв аромат сюжета в том, что плел наш приятель.

— Он утверждал, что был взят в плен в «долине смерти» на Дону, после штыковой атаки, в 1943-м. По его словам, его тогда ранили. Вместе с тысячами итальянцев из Восьмой армии он попал в советский лагерь для военнопленных. Там-то и выучил русский.

— И что в этом необычного? — спросил я Соловейчика. — Ведь действительно, на юге России воевали итальянские и румынские войска. Воевали они не прекрасно, но все же…

— Да понятно, что воевали. Знаете, здесь есть один человек. Он едет к своей дочери в Детройт. Я его знаю еще по Львову. Во время войны он был политработником. Так вот он туманно намекнул, что среди итальянских военнопленных велась большая пропагандистская работа. Пытались их склонить на нашу сторону — что-то в этом роде.

— Я не могу представить себе, что этот тип был просто военнопленным и все, — добавил Соловейчик. — В нем есть что-то отталкивающее. Вы знаете, у меня двенадцатилетняя дочь.

Так или иначе, но мы свыклись с Умберто Умберто, с его вращением на орбите нашей жизни в Ладисполи, свыклись так, как свыкаются с черным песком, со знойным ладисполийским полуднем, с воплями марокканских торговцев на пляже. Моя тетя даже пыталась подружиться с Умберто Умберто, правда, безрезультатно. Сорокалетние москвички его явно не интересовали.

Изредка в повторяющихся шпионских снах я вижу Умберто Умберто, говорящего сквозь зубы по рации с кавторангом Макнабом, или полковником Ивановым, или майором Бен Ами о следующей «высадке кроликов». Умберто Умберто стоит себе в самой стремнине ладисполийского променада, словно ананасный божок, курит свою сигарету и улыбается, как истинный Джеймс Бонд.

**ИСЦЕЛЕНИЕ АПТЕКМАНА**

Всякой истории, включая этот мой беженский роман, нужны моменты банальной красоты.

Еще в Габлице, в пансионе для беженцев под Веной, мы познакомились с мадам Перельман, пухленькой пожилой вдовой из Москвы. Она держала путь в Калгари, где ее сын, эмигрировавший еще в 1970-е, жил с канадкой-женой и двумя их канадскими детьми, которых старушка Перельман ни разу еще не видела. Она была заядлой сплетницей, и это от нее мы впервые узнали о выходце из Ужгорода, у которого был роман с Шарлоттой, владелицей пансиона в Габлице, той самой Шарлоттой, которой мы дали прозвище Длинный Нос.

— Его фамилия Аптекман. Такой, знаете, ничтожный провинциал откуда-то из Закарпатья, — негодующе шипела мадам Перельман за столом, который первое время мы делили с ней в столовой пансиона. — Даже по-русски толком говорить не умеет. Типичный гешефтмахер с вульгарными усами.

В Габлице нам не привелось столкнуться с закарпатским жиголо. Он к тому времени уже уехал в Италию. И вот теперь мы наткнулись на мадам Перельман на центральной площади в Ладисполи. Она выглядела отдохнувшей и загоревшей; ее голову украшала соломенная шляпка с розовыми шелковыми цветами. После обмена любезностями и обязательных вопросов о здоровье и о том, кто где поселился, мадам Перельман сообщила нам с мамой сенсационную новость (отец остался дома дописывать рассказ о еврейском мальчике, приехавшем в Рим из Москвы со своей молодой матерью):

— Жиголо снова взялся за свое.

— За что свое? — спросила мама.

— Дорогуша, что еще этот тип умеет делать? — мадам Перельман схватилась за мамино запястье, будто пытаясь впустить соки сплетен в мамины вены. — Он нашел себе очередную жертву. Там была милейшая Шарлотта. А здесь — итальянка из чудной аптеки за фонтаном. Он тут быстро развернулся. И как только он их соблазняет? Не могу понять. О, если бы я знала язык! Клянусь, я бы открыла глаза бедной девочке на афериста, с которым она связалась!

Мадам Перельман произнесла слова «открыла глаза» с большой аффектацией.

Среди многочисленных аптек Ладисполи та farmacia, о которой упомянула мадам Перельман, была действительно самой фешенебельной. Мы все туда заходили, правда, по разным поводам. Отец спросил червей для рыбалки, и ему предложили купить пиявок. Мама приобрела там баснословно дорогой аспирин, а я молча указал на пачку презервативов под стеклом. Продавщица, работавшая в этой аптеке, выглядела, как супермодель на пенсии, и очень подходила этому стареющему курорту и его местным, итальянским обитателям. На работе она убирала свои крашеные золотистые волосы в пучок, а белый форменный халат жил своей бурной жизнью, отдельно от кружев и тела, им скрываемых.

Русскоговорящим очевидно, что фамилия Аптекман образована от слова «аптека». Далекий предок Аптекмана, видно, был фармацевтом или держал аптеку, в честь чего и получил такую фамилию. Имя диктует судьбу, и нашему Аптекману, видимо, на роду было написано крутить роман с итальянкой из аптеки.

Опираясь на словесный портрет, созданный мадам Перельман (черносливины глаз, крадущаяся поступь гангстера, наглая нижняя челюсть, непристойный рот), я воображал Аптекмана неким брутальным красавцем. Представьте мое удивление, когда впервые увидал его вблизи на пляже. Поясняю: сначала я узнал итальянку из аптеки, а потом сообразил, что мужчина в ее объятиях — не кто иной, как Аптекман. Только вот настоящий Аптекман, а не тот, воображаемый со слов мадам Перельман, оказался типичным еврейским интеллигентом советской провинциальной закваски. Простой русский работяга назвал бы его очкариком и был бы прав. Аптекман и был тем самым очкариком-неженкой, избегающим физической работы и пополняющим штрафные батальоны шахматистов на бульваре. Он был длинный и тощий; его неспортивное костлявое тело, казалось, отталкивало солнечные лучи. У него были редкие волнистые волосы. Круглые печальные глаза плавали за оградой очков в черной пластмассовой оправе. Издали он казался значительно старше своих лет, а было ему не больше тридцати.

Они лежали в обнимку на песке, на широком полотенце бирюзового цвета, в самой гуще тех мест, где собирались русские. На ней был черный купальник-бикини с блестками. Ее живот был плоским, как черный тирренский пляж, на котором сотни эмигрантов каждый день оставляли свои отпечатки. Талия — тонкой, как конус стаканчика с порцией джелато. Загорелое тело итальянки преподавало уроки геометрии желания. Они были самой неподходящей парой, этот робкий близорукий еврей из Западной Украины и его итальянская любовница, воплощавшая чувственную уверенность в самой себе.

Возвращаясь к тем дням, я понимаю, отчего и мадам Перельман, и вся беженская братия питали такой интерес к роману Аптекмана и секс-бомбы из роскошной аптеки. Не только потому, что жизнь в Ладисполи была довольно однообразной, небогатой на происшествия. Подглядывая за их объятиями, втихомолку или же бесстыдно наблюдая за тем, как наш Аптекман перевоплощается в объятиях итальянки, многие советские беженцы представляли себя на его месте. Они были готовы отдаться пленительной Италии, покуда ждали своей судьбы на ее изобильных берегах.

**5**

**Ржавый «Мустанг» Рафаэллы**

Ветры повествования собираются у берегов Ладисполи, и я чувствую, как они наполняют паруса моего рассказа. Пришло время поведать о моем летнем приключении по имени Рафаэлла. Она входила в компанию, с которой я познакомился в то лето, помните — Леонардо, Сильвио, Томассо, Бьянка Марини и другие. За глаза итальянцы звали Рафаэллу «Сарда», и в их отношении я чувствовал восхищение ее поразительной красотой — восхищение, насквозь пронизанное предрассудками. Родители Рафаэллы приехали с Сардинии, когда ей было восемь, и она выросла в Ладисполи. Даже мне, советскому беженцу, едва знакомому с нюансами национальной самоидентификации итальянцев, Рафаэлла казалась другой. По стилю, темпераменту, внешности. Она выделялась из этой пестрой компании молодых итальянцев.

Родители Рафаэллы держали цветочную лавку, которая располагалась на главной торговой улице Ладисполи — той самой, что тянулась от вокзала к морю. У Рафаэллы была младшая сестра-школьница, а также старшая, замужняя. Муж сестры был морским офицером, и они жили неподалеку от Бриндизи. Рафаэлла изучала психологию в Урбино, а на лето приезжала домой, где вместе с младшей сестрой помогала родителям в лавке. Вся семья жила в нескольких километрах к западу от центрального квартала Ладисполи. Львиную долю цветов они выращивали сами. Почти два месяца мы виделись чуть ли не каждый день, но Рафаэлла так и не познакомила меня со своими родителями. Я только видел их издалека или же мельком в окне, проходя мимо цветочной лавки по дороге к вокзалу. Ее отец, мать и младшая сестра были рослыми и статными, как и сама Рафаэлла, со смуглыми, выразительными, чуть ли не скорбными лицами. Однажды, вскоре после того как мы стали втайне от всех встречаться, я нарушил обещание, данное Рафаэлле, и заглянул к ней в лавку. Это случилось поздним июльским утром, я ехал с пляжа на велосипеде, одолженном на пару недель у Томассо. Этот верный старый Велоссинант сопровождал меня в донкишотских подвигах. Я решил рискнуть. К счастью, младшей сестры не было на месте, отец был занят утренней развозкой заказов, а мать хлопотала над букетами в дальнем углу магазина. Я подошел развязной походкой к стойке, сделав вид, будто не знаком с Рафаэллой, и спросил красную розу. Высокую, показал я движением руки, видя по негодующему блеску ее мавританских глаз, что у нее нет выбора и что ей придется играть навязанную мною роль, делая вид, будто она видит меня впервые. Я подождал, пока она завернет колючий цветок в целлофан, затем расплатился, произнес безликое: «Grazie, buona giornata», — и направился к выходу. В последний момент быстро развернулся и вручил розу Рафаэлле. «Per Lei, signora», — сказал я, употребляя вежливую форму местоимения, и выбежал из магазина прочь, не дожидаясь ее реакции. Целую неделю после этого она манкировала наши ночные свидания, хоть тем же вечером я видел ее в компании друзей, с красной розой в длинных струящихся волосах.

Что-то стилизованное и утрированное в облике Рафаэллы мерцает сквозь пелену моих воспоминаний, но я почти не замечал этой утрированности тогда, в Ладисполи. Тонкие сандалии с ремешками, опутывающими ее стройные лодыжки и голени, длинные, надувающиеся от ветра юбки, кофты с глубоким вырезом и длинными, широкими рукавами. Такая у нее была мода. Кожа цвета кофе с неразмешанным молоком, темный ее блеск, озарявшийся коралловой белизной ровнейших зубов. Как и пишущий эти строки, Рафаэлла была рождена под знаком Близнецов; мы оба были настоящими Близнецами, с двумя противостоящими началами. То она бывала задумчива, словно чем-то подавлена, иногда даже мрачна, а то до безумия одержима чувственной энергией. Я не знаю, отчего почти целый месяц она держала меня в своих ночных компаньонах. Естественно, она мне безумно нравилась. Еще бы, кому она не понравилась! Она была самой ослепительной из всех итальянок, с которыми меня свела судьба в то лето в Италии. Но чем приглянулся ей я? Может, она тоже ощущала себя иностранкой среди итальянских сверстников?

По-английски она говорила лучше всех в компании, даже лучше, чем Бьянка Марини, которая готовилась стать учительницей английского языка. В общении с Рафаэллой я мог выразить себя более адекватно, чем с другими итальянцами и итальянками. Хотя мы часто виделись на людях, наше первое свидание состоялось лишь в конце июня или в начале июля, в местном Американском центре, где по средам пастор-прозелит и его жена устраивали просмотры фильмов. Кино называлось «Уходя в отрыв». Действие происходило в Блумингтоне, университетском городке в штате Индиана, где тремя годами позже мне предстояло преподавать русский язык в летней школе. В этом фильме местный молодой американец, сын продавца подержанных машин, прикидывается итальянским студентом, приехавшим в США по обмену, чтобы понравиться молодой американке, студентке университета. Когда я смотрел этот фильм впервые вместе с Рафаэллой, мне трудно было примерить на себя основную коллизию — соперничество между членами одного из студенческих братств университета Индианы и «каттерами», простыми блумингтонскими парнями, которые нигде не учились.

Когда кино кончилось, мы отправились на пляж. Рафаэлла не могла идти спокойно. Она то бежала впереди, перепрыгивая через накатывающие волны, крича и приподнимая подол юбки, то вдруг останавливалась, чтобы поднять и повертеть в руках ракушку, кусочек отполированного морем стекла или обесцвеченную солью деревяшку. Было уже поздно, пляж опустел. Под пылающей луной мы уселись на остывшем песке у кромки воды и заговорили, нащупывая какие-то общие темы. Рафаэлла рассказала, что по окончании университета хотела бы переехать в Рим и снять отдельную квартирку в Трастевере. «Для того чтобы просто жить», — объяснила она. В отличие от других молодых итальянок и итальянцев, Рафаэлла была совершенно равнодушна к политике и не расспрашивала меня о советском прошлом. Ее скорее занимало мое американское будущее, но тут я мало что мог ей открыть, кроме туманных планов поселиться где-нибудь на Восточном побережье.

— Когда я была маленькой, мои родители подумывали о переезде в Америку, — Рафаэлла сказала мечтательным голосом. — Но вместо этого мы переехали с Сардинии сюда. Так что я давно бы уже была этакой американочкой, если бы обстоятельства сложились иначе.

— Какой песок холодный, — я обвил рукой ее талию. И фраза, и жест заслуживали вечного проклятия.

Не отбрасывая моей руки, Рафаэлла повернулась ко мне и спросила:

— Ты такой же, как все остальные, да?

— Кто все?

— Итальянские парни.

— Нет-нет, я не такой, — ответил я с дрожащим смешком в голосе. — Я не такой, как твои итальянские парни.

— Если ты не такой, — Рафаэлла вдруг заговорила игривым тоном и вскочила на ноги, — если ты не такой, я поведу тебя в одно место.

— Куда? — я поднялся, чтобы последовать за ней.

— В одно тайное место. Пошли.

На парапете оставались ее сандалии и мои эспадрильи. Мы молча обулись. Я шел, ведомый Рафаэллой по ночным улицам Ладисполи, освещенным жадными фонарями. Неоновые розы мерцали в витрине цветочного магазина на виа Анкона. Лысый толстяк в длинном переднике протягивал цепь сквозь золоченые спинки кресел перед фешенебельным кафе, слишком дорогим для беженцев.

— Ciao, Рафаэлла, — летаргический голос приветствовал мою попутчицу.

— Ciao, Джузеппе, buona notte, — отвечала она, опережая меня на два шага.

— Рафаэлла, куда мы идем? — спросил я, когда мы уже подходили к железнодорожной станции.

— Уже почти пришли, сейчас увидишь, — ответила она, выпевая гласные.

Мы пересекли пустынную станционную площадь. Наши мешковатые тени ползли вверх по стенам и опадали на пыльную булыжную мостовую. Я мельком взглянул на памятник какой-то исторической персоне — герцогу, или, быть может, генералу, или самому смельчаку Гарибальди. Слева от станции, там, где душимый плющом забор отделял железнодорожные пути от утробы города, располагалась парковка. Здесь по утрам оставляли машины ладисполийцы, которые ездили в Рим электричкой. В этот поздний час на парковке стояло всего три или четыре беспризорных автомобиля, чьи владельцы, видимо, затерялись в круговороте дневных дел или ночных развлечений. Два уличных фонаря освещали парковку, и мириады ночных бабочек праздновали свои безмолвные свадьбы в сальном сиянии ламп. Парковку, похоже, не асфальтировали годами, и гигантские трещины наводили на мысль о ее сходстве с заброшенным этрусским раскопом.

Чувствуя мое замешательство, Рафаэлла взяла меня за руку и потянула за собой. Мы остановились в центре парковки, под старым фонарем с литым металлическим столбом; черное литье столба казалось еще изящнее из-за благородных прожилок ржавчины.

— Вот ты собираешься в Америку, да? — сказала Рафаэлла, отпуская мою руку.

— Собираюсь, — ответил я, смущенный ее вопросом и тем тоном, каким она его задала.

— Раз так, значит, ты должен узнать, что такое настоящая американская машина.

Рафаэлла отошла чуть в сторону и с триумфальным видом указала на одну из тех машин, которые я посчитал брошенными на ночь.

— Ну-ка посмотри, русский малыш, — заговорила она с искусственным, жевательно-резинковым акцентом, будто бы имитирующим американский. — Ain’t this sumptn’?

Это был седан канареечно-желтого цвета, который казался горчичным в сумраке пустой парковки. Я подошел ближе. Спереди автомобиль напоминал живое существо со стеклянными, широко расставленными глазами, черными усами над верхней губой, узким ртом, полным проржавевших металлических зубов, со скобой на нижней челюсти. К передним зубам был прикреплен вздыбленный жеребец.

— Красивый, правда? — прошептала Рафаэлла, поглаживая автомобиль.

Я промолчал. Я не знал, что сказать, как реагировать. Эта старая ржавая железяка ничего мне не говорила.

— Это «Форд-Мустанг». Настоящий, — нетерпеливо добавила Рафаэлла. — Ты ведь слышал о «Мустангах», да?

— Только о лошадях, — ответил я, изучая интерьер. Кресла и вся обивка были красными, руль и рулевая колонка — черно-красными.

— Все настоящее, образца 1965 года, — сказала Рафаэлла, и ее пальцы заскользили каплями дождя по крыше и окну. На стороне водителя я заметил пару ржавых ран от ножа убийцы и длинные глубокие царапины от ногтей ревнивых любовников (или любовниц).

— У него свой характер, свой нрав, — сказала Рафаэлла, словно читая мои мысли. — И душа.

— Американская душа? — я наконец включился в игру.

— Конечно. Какая же еще? — засмеялась Рафаэлла, отбрасывая за спину длинные волосы.

— И как давно он у тебя? — спросил я.

— Вообще-то два года. Это автомобиль маминой старшей сестры. У меня потрясающая тетя, очень, очень красивая. Она замужем за миланцем — уже много-много лет. Когда-то она сама ездила на нем.

— На миланце?

— Не на миланце, а на «Мустанге».

Тут мне пришло в голову, что в СССР приобретение личного автомобиля было великим событием, так что автомобилю давали имя и почитали чуть ли не членом семьи. Наша первая машина — тольяттинские «жигули» — была ярко-красного цвета, и отец звал ее «Кора». От слова «коррида». По цвету мулеты — плаща матадора в бое быков.

— Это мальчик или девочка? — спросил я.

— Это… и то и другое, — откликнулась Рафаэлла, открывая дверь.

— Ты что, не закрываешь на ключ?

— Раньше закрывала, но замок сломался, теперь я опускаю кнопку, и кажется, будто дверь заперта. Ему уже немало лет, знаешь… — Рафаэлла села в машину и завела мотор. Из сломанного радио полились наперебой звуки разных станций.

— Иногда мотор не заводится, и я просто сижу и слушаю музыку, когда радио работает, или просто шум дождя. Отец все время твердит, чтобы я не оставляла его здесь, что мой «Мустанг» рано или поздно угонят. Мы живем не в центре, и мне нравится самой уезжать из дома и приезжать, когда захочу. Люблю свободу.

Я обошел «Мустанг» и потянул ручку пассажирской двери. Но она не открывалась.

— Sorry, mister, — сказала Рафаэлла. — Дверь открывается только с моей стороны. С твоей замок заело уже давно.

Рафаэлла выскочила из машины и откинула водительское сиденье.

— Добро пожаловать в Америку, — сказала она.

Я протиснулся на заднее сиденье. Рафаэлла залезла следом и села близко ко мне.

— Ты знаешь, что такое lover’s lane? — спросила она, вкладывая свою руку в мою. — Уголок влюбленных. Это есть во всех маленьких американских городках, — и она прикоснулась зубами к моей нижней губе.

— Угу, — промычал я, не в состоянии больше говорить по-английски.

— У тебя есть? — спросила Рафаэлла.

Я понял, о чем она спрашивает, нащупал свой бумажник и вспомнил недавний визит в аптеку, где итальянская секс-бомба царила за прилавком.

— Да, есть, — ответил я, разрывая зубами маленькую шашечку.

— Умница, — сказала Рафаэлла, — а теперь иди сюда.

Вот так случилось, что на заднем сиденье «Мустанга» мне было суждено испустить свой первый в Италии любовный крик. Он длился так долго, что, казалось, несколько поездов успело промчаться мимо нас по путям — на север в направлении Пизы, Генуи и Милана и на юг к Неаполю и еще дальше, в сторону Сицилии.

— Такой дикий, такой громкий голос, — после всего сказала Рафаэлла, одергивая свою длинную юбку. — Вот полиция нравов придет и арестует тебя.

— У вас еще есть полиция нравов? — спросил я, представляя себе сцену из неореалистического кино.

— Нет, конечно, глупенький, — она поцеловала меня в нос и вылезла из машины, чтобы я мог передвинуться на переднее сиденье. — Давай, садись вперед, я тебя подброшу домой.

Мы выехали из уголка влюбленных, и несколькими минутами позже я был дома, в нашей квартире, где родители давно уже спали и видели сны, в которых Америка была одновременно и далекой мечтой, и скорым будущим…

И вот теперь я уже неотвратимо близок к ностальгическому отступлению о Лане Бернштейн. Мы встречались, когда я учился на первом курсе университета. Она была почти на пять лет меня старше, наши родители были знакомы по московским отказническим делам. Лана была классическая инженю, нервная, волнительная. Балетоманка до мозга костей. В то время она заканчивала Московский институт связи («институт связей», как тогда шутили) и почти все время проводила дома. Считалось, что она работает над дипломом. Дважды в неделю я прогуливал дневные лекции и скрывался у Ланы дома. Во время моих дневных посещений родители Ланы были на работе, а младший брат — в школе. Она угощала меня домашними еврейскими кушаньями, я приносил ей букетики пушистой мимозы, или восковые тюльпаны, или мятые бледно-желтые нарциссы. Она читала и критиковала первые мои стихи, говоря преимущественно о том, что называла «лирической правдой». У нее были маленькие точеные груди и симметричные родинки на ключицах. После первой нашей близости Лана облокотилась на подушку, достала сигарету, закурила и уставилась в потолок. «Не расстраивайся, мой хороший», — прошептала она нежно, запуская над головой колечки дыма.

До того как подать на выезд, попасть «в отказ», потерять работу и пополнить дружные ряды мастеров по починке домашней аппаратуры, отец Ланы был самым обыкновенным радиоинженером, читателем «Правды», одним из тех примерных семьянинов, которые на закате жизни начинают напоминать своих матерей. Ланина мама, которая и подтолкнула всю семью к отъезду, была личностью неординарной. Она работала оценщицей в антикварном магазине на Арбате и обладала феноменальными познаниями в живописи и поэзии. Она излучала интеллигентность и обаяние. Ланины друзья обожали ее мать и часто обращались к ней за советом по самым разным вопросам, начиная с моды и кончая выбором гинеколога-надомника. При этом мать Ланы страдала маниакально-депрессивным психозом. Где-то раз в год, обычно в ноябре-декабре, когда ее меланхолия приобретала цвет московской зимней тьмы, она исчезала. Впервые это случилось, когда Лана еще училась в средних классах, а ее братик был совсем маленьким. На третий день утром отец Ланы нашел жену в зале ожидания на Киевском вокзале: она спала на деревянной скамье среди коробок и узлов, цыганок с детьми и приезжих из Украины и южной России, ожидающих своих поездов. Она пролежала в больнице несколько недель, затем вернулась к нормальной жизни. Или это только казалось? Лана открыла мне: самым тяжелым было осознавать, что ее мама полностью понимает, что с ней происходит. В периоды обострений ее охватывало желание уйти, убежать, скрыться, и огромные железнодорожные вокзалы с путями, бегущими в разных направлениях, казались ей идеальным местом для исчезновения.

Если бы Тургенев описывал нашу историю, он мог бы назвать ее «Первая любовь», думая при этом о певице Полине Виардо, но выводя в качестве героини какую-нибудь другую молодую женщину, француженку или русскую. Но Лана Бернштейн не была моей первой любовью. К тому же она настолько обожала роман Виктора Шкловского «Zoo, или Письма не о любви», что настаивала на использовании анти-романтического кода в наших отношениях. Согласно Ланиному любовному коду верхом безвкусицы считалось говорить о любви, даже если она тебя переполняла. Вместо этого полагалось говорить о «влечении» или «желании» и разбирать по косточкам наши занятия любовью. Если бы Иван Бунин решил вложить эту историю в уста своего героя, он бы позволил Лане называться моей «тайной женой», по контрасту с «той, явной для всех любовницей». Стареющий Бунин, человек с разбитым сердцем, имел в виду реальный прототип — свою последнюю любовь Галину Кузнецову, — когда работал над «Темными аллеями» в конце 1930-х — начале 1940-х на своей вилле в Грассе, европейской парфюмерной столице в Приморских Альпах. Когда я думаю о Лане Бернштейн и о наших с ней московских отношениях, на память приходит чеховское «Мой ласковый и нежный зверь». Фраза «нежный зверь» была чем-то вроде нашего интимного пароля. Кто это начал — я ли, она ли? Если не ошибаюсь, однажды я сказал Лане, что рядом с бывшим женихом, который был старше ее больше чем на десять лет, она выглядит как шестнадцатилетняя Оленька, дочь лесничего из чеховского рассказа. Или же все было наоборот, и Лана впервые назвала меня «нежным зверем», после того как мы занимались любовью.

К тому времени, когда мы с Ланой близко сошлись, ее отец, любивший свою жену самоотверженно, без всяких условий — я не встречал более бескорыстной любви мужа к жене, — довел до точности алгоритм поисков. В Москве чуть меньше десятка крупных железнодорожных вокзалов, и обычно у него уходил день-два на то, чтобы разыскать жену. Отец Ланы никогда не брал детей на поиски. Он приводил жену домой, смертельно уставшую, помогал ей принять ванну, укладывал в постель и приносил чашку малинового чая с коньяком. Ланин братик залезал к маме в постель и засыпал, сжимая обеими руками ее руку. После каждого происшествия в течение недели Лана и ее отец еженощно дежурили у постели больной. Затем все возвращалось на круги своя, и так продолжалось до следующего исчезновения.

К концу весны 1985 года мы с Ланой разорвали любовные отношения, но сохранили дружбу. Вскоре после нашего расставания она вернулась к своему бывшему жениху, талантливому скульптору Матвею Грубману. В прошлом киевлянин, сорокалетний Матвей ваял сцены из уничтоженной жизни еврейских местечек — такой, какой знал эту жизнь по рассказам бабушек и дедушек, восполняя фантазией недостающие детали. Он почти не мог выставляться и работал в литейном цехе где-то за городом. Еще до того, как мы с Ланой стали «тайными» любовниками, я побывал в мастерской Матвея вместе с Ланой и тремя общими знакомыми. Мне запомнились его оливково-карие глаза, мускулистое бородатое лицо и черненые толстые пальцы.

Почти все лето после нашего разрыва меня не было в Москве, и мы с Ланой увиделись только следующей осенью, на вернисаже, куда она пришла с Матвеем, который мрачно косился на меня. Я помню до мельчайших подробностей то раннее декабрьское утро 1985 года, когда мама разбудила меня и позвала к телефону, и Лана просто сказала, что ее мама «выбросилась из окна». На часах не было семи, и я смог только вымолвить: «Я все понял, Лана». Воспоминания об этих похоронах — иней на голых ветках, подавленные друзья, заполнившие небольшую квартиру, и вместо *шивы*  (еврейского траура) русские поминки с водкой и солеными грибами, со слезами и рыданиями — будут со мной всю жизнь. Эта была первая смерть близкого знакомого, пережитая мной во взрослом возрасте. Знать, что эта красивая, любящая и любимая женщина буквально сбежала из жизни, распахнув окно и выйдя из него на улицу с высоты, было просто невыносимо. Эта тяжелая история стала долгодействующим противоядием: чувствуя себя подавленным, я вспоминаю ее смерть, и моя собственная хандра кажется мне дуновением весеннего ветерка. Я уже много лет живу в Америке, но все никак не могу привыкнуть к буржуазному безразличию, с которым некоторые американцы произносят слово «депрессия» — как будто это некий аксессуар цивилизации, вроде шикарной машины, произведения искусства или бутылки выдержанного вина.

Вскоре после кончины матери Лана переехала к Матвею, и мы с ней больше года практически не общались. Она знала о моих любовных похождениях, среди героинь которых была и ее бывшая одноклассница Маша Вишневская. Лана позвонила мне в мае 1987-го, узнав от общих знакомых, что мы наконец-то уезжаем, эмигрируем. Выяснилось, что она тоже собиралась в путь с отцом, братом и бабушкой. С Матвеем все было кончено. «Теперь уже навсегда», — сказала она. Я ни о чем не спрашивал. Ко мне на отвальную она пришла с книгой Павла Муратова «Образы Италии» в берлинском издании 1924 года, о котором я всегда мечтал. Мне посчастливилось быть обладателем этой редкости только неделю: книга исчезла в коробке с другими ценными книгами, которые не совсем чистый на руку американский журналист пообещал вывезти из страны и «нечаянно потерял».

Лана и ее семья уехали из Москвы спустя две недели, но догнали нас в Ладисполи. Я столкнулся с ними вечером на главной площади, служившей беженцам салоном под открытым небом. Они стояли вчетвером и ели джелато: Лана, ее отец с висевшей на его локте и мямлящей что-то старушкой-матерью и младший братик. С короткой стрижкой, в бирюзовом сарафане с открытой спиной и грудью, Лана выглядела явно моложе своих лет, а было ей двадцать пять. Я ей сначала очень обрадовался: здесь, в Ладисполи, эта встреча казалась связующим звеном с московским прошлым и всеми его обитателями. При этом меня немного смущало, что мы встретились в присутствии наших родных на площади, полной скучающих и жадных до сплетен беженцев. Казалось, будто кто-то подстроил это свидание с моей бывшей зазнобой. Четвертый акт драмы только начинался, обещая ревность, признания, взаимную отчужденность, слезы отчаяния, а знаменитая чеховская двустволка пока еще не застрелила насмерть нашу любовь за угловым столиком приморской траттории.

Мы с Ланой бросили наших родных на площади и зашагали в сторону замка Одескалки-Пало, выстроенного на римском крепостном валу. Остановившись на террасе, я купил нам в киоске по крутобедрой бутылке кока-колы, которая была для нас еще в новинку. Лана достала сигарету и попросила верзилу за стойкой прикурить, произнеся «per favore» с ударением на «а», неправильно, будто какой-то заправский бостонец заговорил со своим резким американским акцентом да еще и по-итальянски. Лана наклонилась к руке продавца, в которой была зажата зажигалка, а я внезапно ощутил прилив раздражения. Неужели она не может правильно произнести простую итальянскую фразу? Мы уселись на камнях рядом с развалинами замка, допивая кока-колу и пытаясь заполнить многочисленные пустоты тех последних полутора лет, когда мы почти не виделись.

— Так что у вас случилось с Матвеем? — спросил я, пожалуй, слишком бодрым голосом.

— Что ты хочешь знать?

— Вы ведь жили вместе. Я думал, в этот раз вы поженитесь.

— Он тоже так думал.

На другой стороне каменной гряды мужчина в панаме с длинной телескопической удочкой что-то кричал против ветра мальчику, который ловил рыбу поодаль, со следующей гряды острых камней. Может, и не кричал вовсе, просто так звучал его трубный итальянский голос.

— Что тебе сказать? — заговорила Лана. — Я даже не удивилась, когда Матвей объявил, что и слышать не хочет ни о чем, кроме Израиля. К тому времени он уже почти год носил бело-голубую вязаную кипу и твердил о том, что нужно «разбомбить палестинцев к ебене матери».

— Временами всех нас заносит, — неожиданно для себя я стал защищать бывшего жениха моей бывшей подружки.

— А тут еще мой дорогой папочка, — продолжала Лана, — мой любимый папочка, у которого случался родимчик всякий раз, когда я говорила, что поеду с Матвеем в Израиль. Ты знаешь, как ему тяжело после маминой смерти. Я чувствовала, что не могу бросить папу и брата; чувствовала вину. Ты же знаешь, до какой степени я не переношу чувства вины?

— До какой? — спросил я.

Обессиленные волны оставляли пену на камнях. Еще ничего не произошло, ничего не случилось, мы просто сидели, болтали, вспоминали, но я уже ощущал какое-то утомление от накатывающейся на меня скуки, застилающей все вокруг. Как густой вечерний туман. Как любовное свидание с прошлым.

Лана замолчала. Некоторое время мы сидели, не говоря друг другу ни слова. «Тихий ангел пролетел», — сказали бы в русском классическом романе. Но мы жили не в классическом романе. У нас была современная история из жизни еврейско-русских беженцев в Италии.

— Прикури мне, — попросила Лана и вложила сигарету в мою раскрытую руку.

Я подошел к парочке итальянцев, которые спускались с древних развалин, держась за руки. У него были длинные спутанные волосы и мощный латинский нос; у нее — мышиное, хотя и привлекательное лицо. Для них, казалось, не существовало ничего, кроме новизны их любви. Итальянец чиркнул зажигалкой и даже не посмотрел на меня, а итальянка бросила «Ciao» и хихикнула. В сгущающихся сумерках Лана не могла видеть их лиц. Отдав ей тлеющую сигарету, я тут же описал, как итальянцы не обратили на меня никакого внимания и как я стоял, словно попрошайка. Не знаю уж, отчего нам с Ланой это показалось таким забавным. Еще недавно, в Москве, мы не могли и представить, что будем так вот сидеть в лучах заката на берегу моря в Италии, по пути в Америку и просить огня у парочки погруженных в себя итальянцев. Этот эпизод с зажигалкой, казалось, развеял то чувство неловкости, которое мы ощутили. Мы принялись болтать обо всем сразу: о Риме, о музеях Ватикана, об итальянской моде. О забавных наших соотечественниках, застрявших в Ладисполи.

— Так представь себе, все время, пока мы были в Риме, моя бабушка боялась выйти из отеля, — рассказывала Лана. — Когда мы решили пойти в Ватикан, она спросила: «А разве это можно?»

— А моя бабулька наоборот, — подхватил я. — Всю дорогу обсуждала, как бы попасть на аудиенцию к Папе Римскому. Представляешь, советская старушка хочет с Папой повидаться. Она даже стала вспоминать какие-то польские слова.

— А как твои родители? — спросила Лана.

— Мама извелась в Риме. Сейчас лучше. Отец много пишет, но, думаю, очень нервничает по поводу Америки. Из-за английского. Сможет ли он там и печататься, и заниматься медициной?

— Господи, мы с тобой говорим, как взрослые зрелые люди, — сказала Лана, и мы оба захохотали. Казалось, мы снова в Москве, на дворе канун Нового года, и мы едем в ночную компанию к моему другу Мише Зайчику, а по пути заскочили в старую булочную на Арбате, в двух шагах от того места, где работала тогда мать Ланы, и купили большую связку бубликов. Лана надела их, как ожерелье, поверх воротника своей белой короткой дубленки, и люди в метро глазели на нас, а нам было все равно. Мы были влюблены и счастливы, хоть никогда и не говорили об этом вслух, не называли своим именем.

— Ты с кем-нибудь встречаешься? — вдруг в лоб спросила меня Лана.

— Чего ты вдруг? Да нет, на самом деле, нет, — ответил я, вспоминая о том, что произошло двумя днями раньше на привокзальной парковке, о ржавом «Мустанге» Рафаэллы и о том, как ревут ночные поезда.

— Я бы хотела, чтобы мы снова были вместе, — ответила Лана тем же тоном, которым она когда-то критиковала мои стихи. — Я хочу быть с тобой.

Мы поднялись с камней и побрели обратно вдоль моря. Холодные пальцы Ланы пощекотали край моего локтя, потом вплелись в мою руку. Мы еще не дошли до русской части пляжа, как вдруг Лана остановилась. Мы были совсем одни на пляже, только чей-то огонек сигареты мерцал над парапетом.

— Я хочу в воду, — сказала Лана.

— А чем будешь вытираться?

— Сарафаном. Ты пойдешь?

— Нет, я здесь подожду.

Она скинула сарафан и трусики на песок и побежала в море.

Я ждал, держа платье в руках, а трусики засунул в карман шортов. Лана плескалась недалеко от берега.

— Иди, вода теплая, просто парное молоко! — громко позвала она.

Когда она в конце концов вышла из воды, вся литая, освещаемая луной, я подошел к ней со спины и стал вытирать ее сарафаном. Ее груди легли на мои раскрытые ладони.

— Я по тебе соскучилась, — сказала Лана, кладя руки поверх моих. — Обними меня крепко-крепко.

Я опустил руки. Сарафан упал на песок, как подвыпивший гуляка.

— Что-то не так? — спросила Лана.

— Не знаю.

Лана отступила на шаг. Она подняла сарафан, вытряхнула из него песок и криво натянула его через голову.

— Это все Ирена, твоя провинциальная красотка, да? Я слышала, ты ее здесь подцепил.

Ирена происходила из семьи рижских отказников. Мы познакомились с ней на пляже и в течение четырех недель вяло и бесцельно флиртовали перед всем честным народом.

— Нет, Ланочка, тут дело не в Ирене. Она здесь ни при чем.

— Тогда почему не хочешь?

— Не знаю. Просто что-то не так. Прости.

— Ты, наверное, честнее меня, — язвительно сказала Лана и кинулась в солоноватую прибрежную тьму. По дороге домой я вспомнил о скомканных трусиках, лежащих в кармане, и выбросил их в мусорный бак.

После этого в течение трех недель мы неизбежно сталкивались на пляже и на других русских пятачках Ладисполя и делали вид, что ни прогулки, ни ночного купания никогда не было. Однажды в закатный час я увидел ее на бульваре в обществе долговязого нескладного парня из Ленинграда, сына знаменитого астронома, того самого, который жил в одном коттеджике с моей бабушкой, тетей и кузиной. Я уже слышал по беженскому устному радио, что новый дружок Ланы — «математический гений». Лана с гением роняли желтые капли джелато на красную гравиевую дорожку и оживленно спорили о чем-то, наверное, о поэзии или, может быть, о ренессансной живописи. Я пробормотал: «Buona notte», — и вяло махнул им рукой, проходя мимо. Я торопился на встречу с моими итальянцами.

С утра я обычно бывал на пляже, где Ирена, девушка с мягкими светлыми локонами, крупными веснушками и податливой улыбкой, была моей каждодневной партнершей по легкому беженскому флирту. Все это происходило на глазах у ее родителей и старшего брата, и более викторианское ухаживание трудно себе представить. Первую половину вечера я проводил с итальянцами, и общение с Рафаэллой в летней студенческой компании только обостряло ожидание того, что могло произойти поздно вечером. На людях мы с Рафаэллой прикидывались приятелями. Как ни удивительно, только один Леонардо — коротышка Леонардо — в течение целого месяца ночных рандеву подозревал, что у нас с Рафаэллой в самом разгаре тайный роман. Уже потом он открыл мне, что тайно мечтал о длинноногой «Сарде» еще со школы, но был убежден, что у него нет шансов.

Обычно между одиннадцатью и полуночью я пробирался к нашему тайному уголку влюбленных за железнодорожной станцией, в надежде найти «Мустанг» Рафаэллы в стойле. Иногда стреноженный «Мустанг» пасся в темном углу стоянки. Я забирался на заднее сиденье, и несколько раз случалось, что она уже ждала меня. Иной раз, я пристраивался на заднем сиденье и томился ожиданием, слушая стрекотание сверчков и слабые потрескивания, доносившиеся из-под купола уличного желтого фонаря.

— Ciao, русский малыш, — говорила Рафаэлла, пародируя саму себя, — я так по тебе соску-у-у-чилась!

— Я тебя ждал здесь и вчера, и позавчера, — отвечал я.

— Ну не сердись, котик, — вытягивала она, касаясь пальцами моего предплечья и комически надувая губы. — Мне пришлось поехать с предками к тетушке в Трентон. Она очень нездорова. Но сегодня я здесь, ты же видишь, я здесь!

Мы лежали на заднем сиденье, я сжимал ее плечи и грудь и слушал бешеный лязг поездов, спешащих в большие города. Мы говорили друг с другом об американской жизни, которой ни она, ни я толком не знали.

Не договариваясь заранее, отставив реальность и отсрочив календарное время, мы с Рафаэллой играли в любовную игру-ожидание. Суть игры была в том, что мы с ней американские любовники из маленького городка на берегу океана, возможно, где-то в Мейне, Коннектикуте или Нью-Джерси. Я плохо представлял разницу, Рафаэлла тоже. Ни я, ни она воочию не видели Америки; мы знали о ней из кино, из книг или же из чьих-то рассказов. Сейчас, спустя много лет, мне представляется, что для игры нам больше бы подошел какой-нибудь гигантский американский автомобиль вроде серо-серебряного «Шевроле-Малибу-Классик» выпуска 1977-го, на котором я проездил весь первый год в Америке. Однако в Ладисполи нам вполне хватало верного «Мустанга» Рафаэллы.

Целый месяц мои тайные встречи с Рафаэллой следовали непредсказуемому ритму. Так продолжалось до конца июля, пока Лана вдруг не выкинула номер. Я этого никак не ожидал. В тот день разразилась сильная гроза, чуть ли не тропический ливень. Все началось во время обеда; мы с родителями наблюдали с балкона, как громадные лезвия темной воды рвали в клочья листья и ветки каштанов на бульваре. Оловянный зеленщик в спешке принялся перетаскивать деревянные ящики под зеленоватый, цвета спаржи зонтик, а потом укрылся в крытом фургоне видавшего виды грузовичка. Когда, уже на закате, небо прояснилось, казалось, что мы вдыхаем первозданный воздух, очищенный от привычного для южного курорта запаха мангалов и еды на вынос.

Поздно вечером, оказавшись на заднем сиденье ржавого «Мустанга», я почувствовал, что страннознакомый запах щекочет мне ноздри. Этот аромат принес с собой весну 1985 года, старую станцию московского метро через дорогу от зоопарка, ячанье и возню птиц на пруду, где еще плавали серые островки льда. Вместо сдвоенной пары лекций мадам Гудковой по органике я направлялся поздним весенним утром к Лане домой. Лана встречала меня в дверях в длинном атласном халате своей матери. Еще стоя на лестнице, я улавливал запах ее духов, цветочный, с отголоском пряности. Как любые хорошие советские духи, аромат был привезен из Франции, и в его коротком ямбическом названии слышалось слово «тайна». «Если по какой-то причине эти духи перестанут выпускать, мне придется переменить характер», — сказала Лана вскоре после того, как мы стали встречаться.

Я думал о Рафаэлле, занимаясь с Ланой любовью на заднем сиденье «Мустанга» так же безрассудно, как это бывало с нами в Москве. Я думал не о Лане, которую умел любить, а о Рафаэлле, рядом с которой всегда нервничал. При этом, обнимая Лану на заднем сиденье ржавого «Мустанга» Рафаэллы, я воображал старую, заставленную мебелью московскую квартиру, комнаты с вечно царившим там беспорядком, шоколадного цвета портьеры, грыжистые, нещадно жарившие батареи, потустороннюю фотографию родителей Ланы во время медового месяца в Крыму, а за окном — липы и березы с набухшими почками на голых ветках, ветхая скамья и старушки, вылезшие погреться на слабом апрельском солнышке. «Ой, мамочки», — прошептала Лана точно так, как раньше, в Москве. «Ой, мамочки» вместо киношного «mamma mia» Рафаэллы, в которое было трудно поверить, даже если это самое «mamma mia» переносило меня через Средиземное море к берегам Туниса или Ливии. Наша любовь с Ланой в ту ночь была жестче, чем раньше в Москве, теперь уже без нежности и иллюзий, будто бы под всей моей юностью была подведена черта. И если можно освободиться от романтической привязанности к общему прошлому, то нам с Ланой это удалось на заднем сидении доживавшего свой век «Мустанга» Рафаэллы.

Прежнюю алхимию влюбленности заменила новая — алхимия дружбы и глубокой привязанности. До самого конца того ладисполийского лета мы с Ланой общались легко и непринужденно. И в Америке мы с ней остались друзьями, хоть и видимся не часто, особенно с тех пор, как она переехала на Западное побережье. Сейчас Лана живет в городе Ла Хойя, в Калифорнии. Она замужем за тем самым математическим гением, с которым познакомилась в Ладисполи, и у них две дочки. А я давно обосновался в Бостоне, сейчас выстукиваю эти строки, глядя из окна кабинета на неоготический внутренний двор моего университета. Августовское жаркое утро подернуто дымкой, соленый бриз облизывает жалюзи, и у меня нет выбора, кроме того, чтобы дать Лане вымышленное имя, придумать ей стрижку и добавить к аромату ее духов особую сладость воспоминаний[2].

А мы вернемся к Рафаэлле, чтобы завершить это приключение. Спустя два дня после моего ночного свидания с Ланой в «Мустанге», я случайно услышал, как Рафаэлла что-то говорила подруге о своем «Мустанге». Стоя в компании итальянцев, я уловил более или менее, что, перед тем как возвращаться в Урбино на осенний семестр, Рафаэлла хочет отогнать машину на автостанцию, чтобы ее (машину) там привели в порядок. Отец Ланы где-то вычитал о клубе владельцев «Мустангов» в Риме и поинтересовался, сколько сейчас может стоить такая коллекционная машина. После этого сразу согласился оплатить ремонт. «Что ж, — подумал я, — вот и конец истории».

Прошла неделя, и я увидел Рафаэллу на виа Анкона. Рядом с ней на переднем сиденье свежевыкрашенного «Мустанга» с кривой улыбкой отдыхающего налетчика сидел мой сверстник, одессит. Волосатая рука одессита свешивалась из окна, как плетеная казачья нагайка. Они вместе плыли на закат, щурясь от солнца и удовольствия, а из шумных легких отремонтированного «Мустанга» извергался «Отель Калифорния». То ли радио в машине починили, то ли в магнитофоне крутилась кассета. «Повезло парню, — почти беззлобно подумал я, — катается себе по городу с Рафаэллой».

Последние три недели в Ладисполи пролетели, как мотоциклист по горной итальянской дороге. Мы с мамой посетили юг Италии, и это путешествие едва не кончилось для нас плачевно. (Об этом я расскажу отдельно.) Потом пришло время снова собирать чемоданы. Все это само по себе завершало историю с участием Рафаэллы, Ланы и ржавого «Мустанга».

За три дня до нашего перелета из Рима в Нью-Йорк мои итальянские приятели решили устроить ужин в мою честь. Мы собрались в таверне на северной окраине города, в оливковой роще за Аврелиевой дорогой. Длинный стол был накрыт под раскидистыми, расцвеченными солнцем ветвями деревьев. На столе были пицца, салат, жиденькое красное вино в запотевших графинах — платили студенты из своих тощих карманов. Все по очереди предлагали тосты, пили за новую жизнь, которая ждет меня в Америке.

— Удачи тебе, — произнес Сильвио с бокалом в руке. — Возвращайся к нам, если тебе в Америке не понравится. Мы никуда отсюда не уедем.

— А я, может, уеду в Австралию, если повезет, — вставил Леонардо, глотнув вина.

— Попроси Сильвио, пусть пришлет тебе пару замшевых туфель, — сострил Томассо. — В Америке таких хороших не найти.

— Да уж это точно, — ответил я.

— А еще ты знаешь, где можно найти самое лучшее в мире мороженое, — сказала Бьянка Марини, и мы с ней расхохотались.

Прощальный ужин близился к завершению. Пришло время попрощаться и обменяться адресами (слово «обменяться» не совсем подходило, поскольку у меня пока не было никакого адреса, а лишь название городка в Новой Англии, где мы с родителями собирались начать свою американскую жизнь). Рафаэлла нацарапала что-то на салфетке, сложила ее и передала мне.

— Ты всегда можешь писать мне на адрес цветочного магазина, — сказала она.

Уже дома, переписывая адреса в записную книжку, я развернул салфетку и прочитал:

*Tomorrow*

*19.00*

*R.*

Я, конечно, пришел раньше, но она уже сидела в машине на водительском месте, напевая что-то себе под нос в унисон с радио.

— Ты умеешь водить, русский малыш? — спросила она, потянув меня за пуговицу рубашки с короткими рукавами.

— Конечно, умею, — ответил я, обескураженный вопросом. В Москве отец научил меня водить наш фиатоподобный жигуль, но получить права я не успел.

— Тогда садись, покажи класс, — сказала Рафаэлла, перебираясь на пассажирское сиденье и оправляя подол длинной лиловой юбки.

— Прямо сейчас?

— Конечно, сейчас, — крикнула Рафаэлла, включая радио погромче. — Давай, русский малыш. Чего ты ждешь? Америки?

**ИНТЕРЛЮДИЯ**

**Рубени из Эсфахана**

В Ладисполи тем летом можно было встретить и еврейские семьи из Ирана. Примерно через две недели после того как мы поселились в Ладисполи, мой отец, большой любитель этнографии, познакомился с семьей из Эсфахана. Как-то вечером на бульваре, где прогуливались беженцы и коренные ладисполийцы, отец отделился от нас и подошел к группе людей, состоявшей из трех мужчин и четырех женщин. Несмотря на теплый вечер, мужчины были в черных костюмах из легкого дорогого материала, а женщины — в длинных юбках с шитьем и строгих блузах с длинными рукавами. Самая старшая из них была в темном, свободно висевшем на ней платье; ее голову покрывала плотная шаль, наподобие той, что носила бабушка флейтиста Александра Абрамова из Баку. Остальные три женщины были одеты с консервативной изящностью; у старшей поверх роскошных иссиня-черных волос был повязан шелковый шарф. Ее волосы были скорее не покрыты, а украшены, поскольку шарф был узким и совершенно прозрачным. В ушах, на шее и пальцах искрилось красное золото. На молодых женщинах, на самом деле еще девочках, как вскоре выяснилось, были почти одинаковые платья кремового оттенка. На расстоянии их головы казались великолепными черными жемчужинами. Помню, я сказал об этом маме, пока мы ждали отца, который завел чинный разговор с иранцами. Мама ответила с некоторой усталостью в голосе, что я не написал ни одного стихотворения с тех пор, как мы уехали из Москвы. Так оно и было. За все лето, проведенное в Италии, я сочинил лишь два или три стихотворения и рассказ, связанный с событиями, произошедшими в Вене. Стихи вовсе не просились на свет: слишком многое нужно было увидеть и сохранить в памяти, слишком многое осознать.

Представьте себе: Ладисполи, благоухающий вечер, мы с мамой ждем отца, а он углубился в сбор полевых данных для своих будущих сочинений и размеренно беседует с тремя мужчинами в черных костюмах (женщины томятся в ожидании поодаль) — о великом Низами и его Лейле и Меджнуне, или о бессмертном Хафизе, или о каком-то другом персидском поэте, а может быть, о евреях Бухары или Самарканда, которые говорят на иврито-фарси. Вернувшись к нам победоносной походкой, отец рассказал, что «все понял», что иранцы в Ладисполи вот уже два месяца «и все ждут, ждут, ждут». Глава семейства, джентльмен старой школы (отец называл его «господин Рубени»), держался с огромным достоинством. В Иране он был крупным торговцем коврами. С ним в Ладисполи ждали: его супруга (дама в тяжелом платье) и двое сыновей. Старший сын по имени Вида был женат и в Иране работал с отцом в семейном бизнесе. Он был с женой и двумя незамужними дочерьми, чуть моложе меня. Младший сын господина Рубени был не женат. Звали его Бабак, и моему отцу особенно понравилось это имя. Бабак был зубным врачом и, как мы потом узнали, пламенным коммунистом. На протяжении следующей недели отец несколько раз сталкивался с этим семейством иранских евреев и с огромным удовольствием вступал в разговоры с господином Рубени. Потом последовало приглашение на послеобеденное чаепитие.

Они арендовали виллу — по нашим беженским представлениям, дворец — в двух кварталах на север от нашего дома, чуть дальше от моря.

Господин Рубени встретил нас у ворот.

— Здесь был когда-то прекрасный сад, — говорил он, ведя нас в дом по красной гравиевой дорожке, — но теперешние хозяева, похоже, равнодушны к садам. Все заросло, фруктовыми деревьями никто не занимается, так что будет трудно все это восстановить.

Мне показалось, что господин Рубени говорил, как англичанин. Пожалуй, как старый англичанин, медленно жующий ириску.

— Но что толку жаловаться? — добавил он после минутной задумчивости. — Нам повезло, мы устроились в этом городе беженцев достаточно комфортно и без соседей.

Стол был накрыт наверху, на открытой террасе, откуда был виден полуразрушенный фонтан и купидон с отломанной головой, целящийся из лука в окна второго этажа.

Сыновья господина Рубени ждали нас на террасе. После того как все уселись, женщины принесли чай на подносе, блюдо со сладостями и большие тарелки с фруктами. Они тихо проговорили «Приятного аппетита», покружили над столом и скрылись в доме. «Наверное, хорошо, что мама не пошла с нами», — подумал я. Вместо чаепития с иранцами мама отправилась смотреть фильм «Язык нежности» в Американский центр, где по средам специально для беженцев крутили кино на английском языке.

Чай, который нам подали, был янтарного цвета, крепкий и ароматный. Я не пил такого хорошего с тех пор, как мы уехали из России. Печенье с медом и орехами благоухало чувственным ароматом розовых лепестков. На тарелках лежали персики, абрикосы, груши и две половинки продолговатой дыни. Цвет кожуры дыни, темно-желтый, гармонировал с цветом бледно-желтых льняных рубашек с короткими рукавами, которые все трое мужчин носили дома. Они были одного роста, внешне очень схожие. Точеные черты лиц наводили на мысли о древности рода, многовековых семейных традициях. Отец и сыновья Рубени, с волнистыми темными волосами, выразительными карими глазами и крупными, клювистыми носами, были похожи одновременно и на армян, и на таджиков.

Глава семьи, господин Рубени, говорил медленно и за весь разговор не произнес ни одного лишнего слова. Временами он делал паузы, словно улыбаясь своему внутреннему «я», и тогда сквозь безупречно подстриженную серебристую бороду проглядывали ямочки на щеках. Старшему сыну, Виде, было около сорока. Коренастый, он был пошире в груди, чем отец и брат. Говорил мало, в основном тянул чай маленькими глотками. Ему особенно тяжело дался отъезд из Ирана, и теперь он мучился от праздности жизни, от того, что был не у дел. У Бабака было лицо мечтателя с тонкими усиками вместо бороды и круглыми джон-ленноновскими очками. Он курил без остановки и говорил тревожным стаккато. Стесняясь смотреть в лицо тому, к кому обращался, он поглядывал вниз на обезглавленного купидона. В господине Рубени доминировала мудрость, в его старшем сыне — гнев и раздражение, а в поведении младшего — ранимость.

— Вы живете в Иране очень давно, — заговорил мой отец. — Со времен вавилонского изгнания, правда?

Отца почему-то занимали эти иранские евреи. Они были так не похожи на нас, но при этом он ощущал с ними определенное родство. Кроме того, отец любил побеседовать на темы древней истории и Библии.

— Наша еврейская община — одна из старейших в мире, — отвечал господин Рубени. — И во что это вылилось? Мы снова враги, живем под мечом этих фанатиков. Теперь мы для них — вы только представьте себе — мы для них нечисты, — произнес он, кладя в рот кусочек медового печенья, как бы подслащивая эту горькую мысль.

— Но в Иране до сих пор живет много евреев, не так ли? — спросил отец.

— О, да. Около сорока тысяч, а может, и больше. Некоторые внешне живут, как мусульмане. В основном иранские евреи живут в Тегеране, но также в Ширазе, Кашане, в нашем прекрасном Эсфахане. В нашем родном городе… Не меньше пятидесяти тысяч уехало с тех пор, как образовалось государство Израиль. Из Ирана нас хотя бы не выгоняли, как из других мусульманских стран. Еще много наших там осталось. У большинства иранских евреев есть родственники в Израиле. У нас тоже есть, но мы… — господин Рубени запнулся и сделал жест правой рукой, словно отгоняя мысли о переселении в Израиль. Его старший сын метнул яростный взгляд на отца.

— Но последний шах, кажется, неплохо относился к евреям? — спросил отец. — По крайней мере я всегда так думал.

— О, да, вы правы, — глаза старого джентльмена загорелись. — Все иранские евреи любили Реза-шаха. Когда он приезжал в Эсфахан, он молился в нашей синагоге и отдавал должное Торе. Мой отец был в числе старейшин, которые приветствовали шаха от имени общины. При шахе Реза евреи чувствовали себя в безопасности. Сейчас говорят…

— Перестань, отец, — перебил его Бабак. — Наши советские гости не могут не знать правду.

Видно неспроста младший сын господина Рубени, дантист-коммунист, назвал нас «советскими».

— Он был марионеткой империалистов и кровавым убийцей, вот кем он был, твой любимый шах. И он только делал вид, что нормально относится к евреям, потому что знал, что на Западе это одобрят. Все та же старая песня.

— А когда вы стали думать об отъезде? — обратился я к отцу и сыновьям Рубени.

— Думать? — господин Рубени возвел полумесяцы бровей к небу. — Думать? О, мой покойный отец заговорил об этом еще в начале 1950-х, вскоре после того как Израиль стал реальностью. Но мы выжидали, как и многие другие. Как давно евреи живут в России — два, три столетия? А мы уже в Персии более двух с половиной тысяч лет. Непросто сняться с насиженного места.

— Мы пришли сюда, то есть туда, задолго до мусульман, — вмешался в разговор Вида. Его голос дрожал от досады, а левая рука втирала сигарету в тяжелую мраморную пепельницу.

— Да, мой сын совершенно прав, — продолжил господин Рубени. — Поэтому мы так долго ждали. И колебались.

— Это так похоже на то, что происходило с отказниками в России! — воскликнул отец. — Мы точно так же ждали и дотянули до 1979 года. Все сомневались, а паром тем временем отчалил.

— Мой драгоценный друг, — господин Рубени повернул глаза к отцу. — Наши судьбы чем-то похожи, но в то же время они совершенно разные. После того как у нас произошла революция, я уже знал, что ничего хорошего ждать не приходится. Но все равно колебался. Лишь в 1982 году я окончательно решил вывезти всю семью. Но я хотел это сделать без резких движений, — господин Рубени поднял с тарелки половинку дыни и стал нарезать ее на совершенно ровные доли.

— Я боялся навести подозрения на семью, не хотел неприятностей. Я нашел партнера, турецкого еврея из Стамбула, он тоже занимался дорогими коврами, и потихоньку начал переводить средства на его счет. Так продолжалось четыре года. Затем я начал ликвидировать свое имущество, тоже очень медленно, оставив кое-что на имя своего партнера из Эсфахана. Он не еврей, но наши семьи — моя и его — занимались вместе бизнесом на протяжении нескольких поколений.

— И никто из властей ничего не заметил? — спросил я.

— Мой юный друг, вы же из России. Не мне вам рассказывать, как сделать, чтобы чиновники смотрели в другую сторону, — ответил господин Рубени с печальной усмешкой, качая головой. — Не стану утомлять вас скучными подробностями.

— А потом? — снова спросил я. В этом благопристойном доме меня почему-то тянуло задавать прямолинейные вопросы. — Что было потом?

— Потом я повез всю семью на отдых в Турцию. Нас было семь человек и в придачу багаж в старом «кадиллаке». Большая американская машина. Вы скоро увидите много таких. Сначала мы поехали в Тебриз, затем пересекли турецкую границу в Базаргане. Карманы пограничников и таможенников оказались одинаково вместительными по обе стороны границы. Затем последовало долгое путешествие в Стамбул. Но я всех вывез — моих сыновей, моих внучек. Оттуда мы прилетели в Вену, как и вы все. Как и другие еврейские беженцы. И вот мы здесь. Ждем.

Это был единственный момент чаепития у Рубени, когда я почувствовал, что, несмотря на огромную разницу (они — люди Востока, мы — приемные дети Запада), у нас одна общая еврейская судьба. Мне даже пришла в голову молниеносная фантазия о том, что мы с семейством Рубени живем в одном городе в Америке, я дружу с его старшей внучкой Фаридой, мы вместе ходим в американские бары и в кино. Я даже не предполагал, насколько я заблуждаюсь. Я был уверен, что Рубени, как и мы сами, как и все остальные беженцы, застрявшие в пути, направляются в Америку. Так же, видимо, думал и мой отец, который буквально снял у меня с языка вопрос: «А где в Америке вы предполагаете поселиться?»

Неловкая пауза повисла в воздухе.

— Мы не едем в Америку, — ответил после долгой паузы господин Рубени, говоря так медленно, что, казалось, божественный каллиграф вычерчивает в воздухе каждую замысловатую петельку древних букв.

— Мы решили ехать в Австралию, а может быть, в Новую Зеландию, — подхватил Бабак. — Мы еще точно не знаем. И тот и другой вариант нас устраивает. Я убедил родных, что нужно уехать подальше от любой возможной политической конфронтации. Другие иранские евреи едут в Америку, чаще в Лос-Анджелес, или Канаду. Но весь тот континент не стабилен, вы это знаете. Так же, как и Европа. Слишком много всяких трений и конфликтов и здесь, и в Северной Америке.

Я тут же подумал о Леонардо, моем ладисполийском друге, который мечтал иммигрировать в Австралию. Он считал, что в Европе, в особенности в Италии, слишком трудно дышать, слишком большое перенаселение. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне не отделаться от мыслей о теракте 11 сентября, о взрывах поездов в Мадриде и Лондоне, о массовом убийстве детей на норвежском острове…

— Проблема в том, что еврейские общины в Австралии и Новой Зеландии нуждаются в первую очередь в квалифицированных рабочих руках, — сказал Бабак. — Можете себе представить, людям с высшим образованием туда попасть труднее! Мы должны найти личного спонсора. Вот мы и ждем здесь, в Ладисполи. Ждем у моря погоды.

— Почему вы не хотите ехать в Америку? — отец спросил господина Рубени, который сидел в плетеном кресле, стоически сложив руки на животе. Вида вдруг вскочил со стула и ушел в дом, не попрощавшись.

— В Америке дела плохи, — ответил Бабак. — Также, как и в Советском Союзе, но только по-другому. Другая эксплуатация, вот и все. Но вы не поймете. Вы, советские евреи, вы пострадали от режима и думаете теперь, что надо быть на правых позициях. Вы что думаете, Рейган вас защитит, если в Америке случится погром?! — Бабак горько усмехнулся.

— Рейган помогал советским евреям, — возразил я.

— Рейган? Актеришка? — Бабак захлебнулся скептическим смехом. — Только потому, что это вписывалось в его политическую повестку дня. В его голливудское кино. Поверьте, вы меняете одну диктатуру на другую, только и всего.

Мы с отцом почувствовали, что пришло время откланяться, и задвигали креслами. Бабак вызвался проводить нас до ворот. Господин Рубени остался на террасе. Уже на дорожке, посреди буйного заброшенного сада, мы обернулись. Господин Рубени опирался о мраморную стену и едва заметно помахивал рукой. Он вдруг показался мне старым и бренным, как и сама диаспора…

Спустя два дня, по дороге на пляж, я нагнал двух сестер Рубени. Они прогуливались по раззолоченному солнцем бульвару, легкие, как две газели. С ними была еще одна юная персиянка с толстым слоем косметики на пухлом личике. Все трое были в рубашках с длинными рукавами и в юбках до пят. Я остановился, чтобы с ними поздороваться, и сам не знаю, что на меня нашло, пригласил прогуляться до канала и позагорать на камнях, где я временами читал в одиночестве или просто мечтал. Девочки нервно захихикали, а старшая, Фарида, прошептала что-то двум другим на фарси. Шагая по бульвару в компании трех девочек, я чувствовал себя повелителем гарема. И нарушителем норм поведения.

— Вы любите загорать? — спросил я, как только мы добрались до места. Из двух сестер мне больше нравилась Фарида, с бархатной родинкой над верхней губой и бледным лицом в обрамлении пышных черных волос.

Мы расселись на камнях, и, не особо задумываясь, я стянул с себя футболку. Девочки силились смотреть в другую сторону. А что мне было до стыда и приличий? С наивной уверенностью я решил помочь этим иранским девушкам освободиться от условностей. И естественно, как это обычно происходит в тех рассказах, где повествованию некуда более идти, кроме внезапной концовки, я только собрался подсесть к Фариде на камень, как вдруг, откуда ни возьмись, появилась ее бабушка. Как грозный часовой прошлого. Она прокричала им что-то на фарси и быстро увела за собой.

С тех пор, встречаясь на прогулке, господин Рубени и мой отец обменивались лишь беглыми приветствиями. Вида метал в мою сторону мстительные взгляды. Однажды я наткнулся на Бабака на железнодорожной станции, и мы доехали с ним до Рима в одном вагоне, не сказав друг другу ни слова. Когда мы с родителями уезжали в Америку, Рубени все еще оставались в Ладисполи. Они ждали визу в Новую Зеландию.

**6**

**Раввин и пастор**

Две веры и две миссии сражались за сердца и души еврейских беженцев из Советского Союза, многие из которых были совершенно незнакомы с религиозной жизнью. Сразу по приезде в Ладисполи мы с родителями узнали о существовании Американского центра и о еженедельной кинопрограмме. Мы были новичками. Логично было предположить, что для помощи беженцам, направляющимся в США, в Ладисполи действует центр, связанный каким-то образом с американским посольством в Риме или, на худой конец, с ХИАСом, нашим спонсором. Для нас было вполне естественно вспомнить и провести параллель между Центром и теми культурными мероприятиями, которые проходили в американском и британском посольствах в Москве, куда приглашали моих родителей наряду с другими отказниками и диссидентами. Пожалуй, мы и не могли рассуждать иначе. По крайней мере Il Centro Americano звучало так успокаивающе. Американский Центр. Словно оазис покоя. Словно обещание, что в конце концов мы окажемся в Америке и наши жизни придут в счастливое соответствие с чьим-то генеральным, хоть и неписаным, высшим планом.

Центр располагался в роскошной вилле на бульваре, всего в нескольких кварталах от русской части пляжа — в самом лучшем месте, которое можно было представить. К одному крылу виллы была пристроена современная аудитория, где показывали фильмы и читали лекции, а также зал, где после мероприятия подавали пунш и сладости. У основателей Центра, видимо, были тугие карманы: контраст с темноватыми комнатками местного центра для еврейских беженцев был разительным и невыгодным для последнего.

Арка щедрого итальянского солнца выгибалась к северу над головами ладисполийцев, когда мы поднимались по мраморным ступеням виллы. Словно ладони старого проповедника, ступени виллы были помечены крупкой времени. Почти симметричные скульптурные львята спали по обе стороны входной двери, положив свои массивные подбородки на потрескавшиеся лапы. Войдя внутрь, мы увидели ступени мраморной лестницы, покрытые ковром, и букет полевых цветов в аляповатой зеленой вазе. Виллу наверняка заново отремонтировали, после того как она перешла от какого-то богатого итальянца в руки нового владельца — Американского центра. Однако на стенах оставались квадратные, круглые и прямоугольные тени в тех местах, где раньше висели картины. В фойе при входе нас приветствовал высокий поджарый мужчина с овальным лицом, выбритым до блеска, мясистыми ушами и губами, табачно-зелеными глазами и крупномасштабным носом с луковичными впадинами и выпуклостями. Зачесанные на безупречный правый пробор, его волосы падали на глаза, и ему приходилось временами встряхивать головой или поводить балетной рукой. Толстые линзы его очков в тонкой проволочной оправе отражали мир, как анфилада кривых зеркал. Когда он улыбался или хмурился, лицо складывалось в лягушачью кожу. Сейчас мне кажется, что директор Американского центра был одновременно похож на издателя Стива Форбса и на безжалостного гарвардского адвоката из телевизионного сериала начала 1990-х годов.

— Welcome to the American Center — Добро пожаловать в Американский центр, — приветствовал нас этот американец сразу на двух языках. — Меня зовут Джошуа Фриман, — произнес он по-русски. По произношению его можно было принять за эстонца или латыша.

Одетый в бежевые хлопчатобумажные брюки, рубашку в мелкую красную полоску и коричневый вязаный жилет, Джошуа Фриман поначалу показался мне типажом образцового американца, профессора в небольшом колледже или доктора где-то в сельской глубинке. Рядом с ним стояла его жена Сара. Она направляла поток входящих беженцев в аудиторию. Саре Фриман, в облике которой тоже проступало что-то лошадиное, было примерно сорок пять. В традиционном представлении жителей американского Среднего Запада она могла бы, наверное, даже считаться привлекательной. В отличие от своего мужа, она знала по-русски лишь «здравствуйте» и «спасибо». Эти слова она повторяла старательно, сопровождая их энергичным кивком головы. Общение между ней и беженцами, которые не говорили по-английски, состояло из рукопожатий, улыбок и еще более широких улыбок. У Сары Фриман были тонкие вьющиеся рыжие волосы и плюшевое родимое пятно на подбородке. На веснушчатой шее трепыхалась нитка мертвого жемчуга. Наряд состоял из белой блузы с рукавами ниже локтя и незамысловатой синей юбки, прикрывавшей узловатые колени. Время от времени ее незагорелое лицо покрывалось алыми пятнами стыдливости, а длинные, бесцветные ресницы трепетали над глазами, как бледные бабочки над поникшими васильками. В облике и повадке Сары Фриман была какая-то скованность; в отличие от своего внешне расслабленного мужа, Сара чувствовала себя не в своей тарелке среди нас — беженцев. Или это мне опять подсказало воспаленное воображение?

К восьми вечера аудитория заполнилась до краев, пришло около сотни беженцев. Джошуа Фриман поднялся на сцену. Его сопровождал не кто иной, как Анатолий Штейнфельд, которого Джошуа представил по-английски: «Анатолий, мой новообретенный брат». Затем с высоты своего двухметрового роста, медленно произнося слова, Джошуа Фриман обратился к пришедшим. Он говорил по-английски, делая профессиональные паузы и давая Анатолию Штейнфельду возможность перевести на русский.

— Добрый вечер и добро пожаловать в наш Американский центр, — начал он. — Теперь он и ваш тоже. Меня зовут Джошуа. Мою жену — Сара, наших дочерей — Ревекка и Рахиль. Я родом из Чикаго, города ветров, как мы его называем в Америке.

Улыбка не сходила с лица Джошуа на протяжении всей вступительной части. Он избегал сокращений и разговорных выражений и произносил каждое слово так, будто говорил с глухонемыми.

— Мы живем здесь, в Ладисполи, уже почти десять лет и счастливы видеть, что столько прекрасных людей направляются в Америку навстречу свободе.

Он сделал паузу, как бы ожидая аплодисментов, и, действительно, кто-то из публики, особенно из тех, кто плохо понимал по-английски, захлопал, услыхав слова «Америка» и «свобода».

— Настало особенно счастливое время, — продолжал Джошуа Фриман. — На протяжении всей весны и начала лета все больше и больше таких же, как вы, беженцев прибывает сюда, в Ладисполи, и это просто замечательно! Для тех из вас, кто сегодня у нас впервые, позвольте объяснить, что в Ладисполи теперь так много выходцев из СССР, что мы решили возобновить нашу еженедельную программу кинофильмов. По средам, вечером. Мы надеемся, что эти фильмы не только помогут вам улучшить знания английского языка, но и дадут представление об американской жизни, нашей истории и наших семейных ценностях.

Джошуа Фриман сделал паузу, чтобы достать из кармана сложенный лист бумаги.

— Мы хотим познакомить вас с нашими американскими ценностями и традициями, — продолжал он. — Для этого мы предлагаем вашему вниманию занятия по английскому языку, которые будем вести мы сами, я и моя жена, каждый вторник и четверг, днем. И, конечно же, мы приглашаем вас в наш Центр каждую субботу, в десять часов утра, чтобы вместе с нами славить Всевышнего.

Почти не заглядывая в свой лист бумаги, Джошуа Фриман еще некоторое время посвятил рассказу о фильме, который показывали в тот вечер. В заключение, перед самым началом сеанса, он сказал: — После фильма все приглашаются на прием. И еще раз добро пожаловать! Шалом!

Все собравшиеся, в том числе и мы с родителями, принялись аплодировать, когда над экраном поднялся занавес. Затем аплодисменты стихли. Пока выключался свет и черные иероглифы проступали на блещущем экране, я услышал, как люди справа и слева от меня зашептали: «Он сказал „шалом“?» — «Это он сказал „шалом“?» — «Да, это он, он сказал „шалом“. Тише вы».

После просмотра дочери Фримана, девочки-подростки, подавали печенье, такое сладкое, что от него сводило зубы, и мыльный розовый пунш в пластмассовых стаканчиках. Они были больше похожи на отца, но одевались, как мать, несмотря на то что были слишком молоды для такого самопожертвования, особенно здесь, в Италии. В зале для приемов было многолюдно и душновато; мы вскоре вышли на улицу. Под окнами виллы, в середине бульвара, беженцы образовали концентрические круги и страстно обсуждали мероприятие.

— У всех у них еврейские имена — Джошуа, Сара, Ревекка, — выводил трель низкорослый, жилистый мужчина. — И Фриман — это же наверняка Фридман.

— В Америке такие имена не обязательно указывают на еврейское происхождение, — заметила вслух моя мама. — Это библейские имена.

— Может, они и библейские, — пробасил пожилой господинчик патриархальной наружности, архитектор, с которым мы познакомились в автобусе по пути из Рима в Ладисполи. — Но ведь он сказал «шалом»? Это ведь бесспорно еврейское слово.

— Вы абсолютно правы, мой дорогой друг, — отозвался Штейнфельд. На нем была желтая рубашка с шоколадным шейным платком. Сочетание этих цветов делало его лицо еще более безжизненным. — Господин Фриман считает всех евреев своими братьями и, следовательно, единоверцами.

— Но это совершеннейшая чушь и обман, — взорвался мой отец. — И вы, Штейнфельд, готовы так себя запятнать. Вы были отказником. Вы помните, что вас притесняли как еврея?

— Я считаю споры с такими, как вы, полнейшей тратой времени, — ответил Штейнфельд отцу. — По крайней мере меня радует, что ни ваша жена, ни ваш сын, судя по всему, не разделяют вашей слепой преданности своему племени. Ну что ж, мне пора. Buona sera, — сказал Штейнфельд и испарился, прежде чем отец успел ему возразить.

По дороге домой нас не отпускало смутное ощущение, что нами манипулируют, склоняя к какой-то неправде. В самой атмосфере Американского центра было что-то стерильное и ханжеское — в своей нынешней еврейско-американской душе я бы назвал это что-то «гойским». И над всем этим красовался Штейнфельд в роли персонального переводчика Джошуа Фримана. Штейнфельд с его изящной риторикой, от которой веяло вероломством. Но при этом Фриманы, американские устроители просмотра, были так приветливы, а фильм «Алиса здесь больше не живет» был просто отличный.

— Это хорошая возможность практиковаться в английском — для всех нас, — сказала мама, когда мы вечером сели пить чай на балконе.

— Ноль не может практиковаться, — ответил отец. — Ноли заполняют аудиторию открытыми ртами и кольцами дыма. Но вот вам стоит походить на фильмы.

Мы переглянулись с мамой, но ничего не сказали. Английский моему отцу давался нелегко.

Все это произошло в нашу первую среду в Ладисполи, а через два дня по пути на пляж мы наткнулись на Даниила Врезинского. Он спешил на почту, чтобы позвонить в Америку по «коллекту».

— Американский центр? — Врезинский распалился. — Ха-ха-ха! Чертов рэкет. Для них большинство из нас — легкая добыча. По части религии сама невинность. Жалованье доброго пастора повышается с каждой очередной дюжиной новообращенных *аидов.*  Держитесь от него подальше. Особенно сейчас, когда Фриман получил себе этого Штейнфельда в приспешники. Я на дух не выношу этих оборотней из московской еврейской интеллигенции.

— Это правда? — спросил я Врезинского.

— Что правда?

— Правда, что они только и хотят обращать евреев в христианство?

— Неужели и вы так наивны? Удостоверьтесь сами, если мне не верите, — ответ Врезинского повис в воздухе, а он умчался по своим делам.

Оттенок любопытства отныне добавился к смутному беспокойству, и мы с мамой решили пойти проверить, что за «прославление Всевышнего» состоится в субботу в Американском центре. Мы все еще отказывались верить, что от американцев можно ждать такого очевидного, нарочитого надувательства. Ведь столько замечательных американских семей побывало у нас в Москве за годы «отказа». Среди них были и настоятель англиканского собора из Нью-Йорка, и семья католиков немецкого происхождения из Миннесоты. Нам очень помогали друзья из американского посольства в Москве, среди которых были и христиане, и евреи, и люди религиозные, и неверующие. И никогда мы не чувствовали, что за нашими душами охотятся. Тем летом мы еще не утратили иллюзий в отношении американцев и хотели во всем убедиться сами.

Ряды пластмассовых стульев выстроились в гостиной. К нашему приходу уже собралось около двадцати гостей, а еще десять-пятнадцать просочились на виллу к десяти утра. Джошуа Фриман вышел вперед и обратился к собравшимся. У стены стоял стол, сервированный прохладительными напитками и выпечкой, ждущими своего часа под полиэтиленовой пленкой. В книжном шкафу, как мы скоро выяснили, кроме экземпляров Библии карманного размера в зеленом виниловом переплете — на одной полке по-русски, на другой по-английски — были чудесно иллюстрированные русские переводы книг К. С. Льюиса, изданные в Чикаго.

В ожидании начала мы с мамой смотрели по сторонам в поисках знакомых. Никого из знакомых не было. Почему-то собравшиеся нервничали, сидя на краях стульев, как нашкодившие ученики, ждущие головомойки в кабинете директора школы. Среди присутствующих трое или четверо были не похожи на советских беженцев; видимо, это были местные, итальянцы, или же американцы-экспаты.

Несколько супружеских пар пришли с детьми. Детям не позволяли листать богато изданные книги, и они ерзали и зевали, пока Джошуа Фриман произносил речь. Торжественного Анатолия Штейнфельда он снова представил собравшимся: «Это мой брат Анатолий».

— Дорогие братья и сестры, — начал Джошуа Фриман, а Штейнфельд перевел. На этот раз Фриман говорил только по-английски, хотя в буклетах, которые мы получили при входе, содержался текст молитв как по-русски, так и по-английски.

— Мы собрались здесь во Святую Субботу Господа нашего, для того чтобы отпраздновать Хашема Иешуа и его любовь ко всем людям. Большинство из вас только что вырвалось из страны атеистов-безбожников, и я хочу вам сказать: сейчас вы свободны и можете открыть свои сердца Господу. Вы сейчас свободны.

Он сделал паузу, сложив розоватые пальцы на груди, затем разомкнул и поднял руки ладонями вверх, будто бы глубоко вздыхая. Несколько человек подумали, что нужно встать и аплодировать; большинство же осталось сидеть на местах.

Я слышал, как женщина, сидевшая за мной, прошептала:

— Кто такой Хашем Иешуа?

— Ш-ш-ш, Лида, — одернул ее мужчина в очках в тяжелой оправе.

— Я просто хотела… — обиженно залепетала женщина.

— Заткнись, — отрезал ее муж в тот момент, когда Джошуа Фриман уже собирал свое лицо в елейную улыбку.

— В Доме Господнем есть место для каждого из вас, — объявил Джошуа, подходя все ближе к переднему ряду стульев. — Мы празднуем вашу новую свободу и Шаббат. Миллионы наших братьев и сестер в Америке и во всем мире празднуют сейчас вместе с нами. Хочу напомнить вам, что Хашем Иешуа жил и умер как еврей. Евреи благословенны быть любимыми чадами Господа. А те евреи, кто выбрал для себя соединиться с Хашемом Иешуа, — те дважды благословенны. Вы всегда останетесь евреями — вот почему я хочу открыть ваши сердца Господу. Присоединяясь к Хашему Иешуа, нашему Господу Иисусу, вы способствуете тому, чтобы сбылось обещание тысячелетий, данное вашему народу.

Судя по молчанию, последний всплеск вдохновенной речи Джошуа Фриман, должно быть, не был воспринят присутствовавшими. Он сделал жест правой рукой, который выражал «О’кей, дайте мне объяснить», и заговорил очень и очень медленно, останавливаясь после каждой фразы и глядя прямо в глаза лысому беженцу в очках в тяжелой металлической оправе, которого выделил среди слушателей.

— Вы готовитесь вступить в новую жизнь, полную свободы, в Америке, и я надеюсь, нет, я просто убежден, что эту новую жизнь вы проживете в Доме Господнем. Мне известно, что в Советском Союзе некоторые из вас уже задумывались над этим и искали Господа. Здесь же, в Американском центре, в обители Господа, вы поймете, что не важно, были вы рождены еврейской матерью или нет. Вы все — духовные семиты.

— Хорошо, что не духовные антисемиты, — прошептала моя мама. После трех недель молчания к ней возвращалось безупречное остроумие. В нашей семье именно мама наиболее чутко реагировала на обман, фальшь и дурной вкус.

— Давай досидим до конца речи, а затем пойдем, — прошептал я, видимо, слишком громко. Мужчина в тяжелых очках неодобрительно закашлял.

— И сейчас, — продолжал Джошуа Фриман, — я хочу пригласить вас присоединиться к нам и вместе с нами спеть несколько американских песен, которые мы поем, прославляя нашего Господа. Моя жена Сара будет запевать, а слова вы найдете в розданных вам материалах.

Когда все встали, мы с мамой вышли из аудитории.

— Какое хамство! Типичные москвичи, — прошептал кто-то нам вслед. Мы не стали оборачиваться, боясь превратиться в сахариновые столбы. Лишь на улице, на гравиевой дорожке бульвара под тенью каштанов и платанов, мы обернулись на эту виллу, крытую терракотовой черепицей. Мимо дремлющих львят прошмыгнула семья беженцев, родители с двумя мальчиками в одинаковых желтых панамках. Не оборачиваясь, они свернули на улочку, ведущую к морю.

Мы с мамой заглянули домой, чтобы вместе с отцом отправиться на пляж. Сидя на балконе, отец читал русские эмигрантские журналы, напечатанные в Израиле и Германии. Журналы валялись вокруг него на плитчатом полу. Потягивая кофе из массивной кружки, одетый в белую футболку и линялые шорты, отец походил на писателя из Рима или профессора, приехавшего в Ладисполи на выходные, а вовсе не на беженца с туманными перспективами на будущее.

— Ну и как сходили? — спросил отец с холодком, даже не вставая с кресла.

Мама подошла и обняла его сзади, уткнув голову в правое плечо и поцеловав мочку уха.

— Прости меня. Я должна была сказать это сразу, — у мамы был нежный, хрупкий голос.

— Сказать что? — спросил папа задумчиво, хотя, кажется, сразу понял, что она имеет в виду.

— Ты был совершенно прав насчет Штейнфельда, а я ошибалась. Не сердись, пожалуйста.

— Мама, ты извиняешься? Это невероятно! — встрял я.

Отец поднялся с кресла, поцеловал маму, затем меня.

— У меня внутреннее чутье на этих штейнфельдов, — сказал он. — В детстве мы выбивали дурь из таких предателей, — добавил он с видом триумфатора, увлекая маму в один из тех счастливых танцев без музыки, которые мои родители исполняли в минуты спонтанной гармонии.

В течение следующих двух недель мы узнали по местному беженскому радио, что уроки английского в Американском центре сводятся к чтению отрывков из Евангелия по-английски и объяснению их «простыми словами». Без всяких словарных диктантов и контрольных по грамматике.

Мы с мамой больше не ходили к ним по субботам. Сложнее было отказаться от фильмов по средам. Мы старались прокрасться незамеченными и никогда не оставались на сладкое и мыльное угощение. Мы даже пытались затащить туда отца, когда фильм обещал быть особенно интересным. Он сопротивлялся, говоря, что бывший отказник и мученик Сиона не вправе оказывать моральную поддержку делу крещения евреев, а также потакать коллаборационистам из наших рядов.

Но все-таки дважды или трижды отец позволил уговорить себя и ходил с нами на просмотры в Американский центр.

— Если бы я только мог заниматься медициной или публиковать мои произведения здесь, — любил говорить отец. — Мои хорошие, я бы водил вас в кино хоть каждый день.

Поскольку плата за квартиру и так загоняла нас в угол, денег на развлечения у нас не оставалось. Иначе, думаю, мы бы ходили в местный кинотеатр, где, правда, американские фильмы шли с итальянским дубляжом. Помимо танцев раз в две недели и редких вечеринок в арендованном зале ХИАС не предлагал беженцам никакой культурной программы и совершенно ничего из традиционного еврейского времяпрепровождения или практики иудаизма.

Что, собственно, и привело меня к Реб Мотоциклу и его киносерии.

Сиреневые венки выхлопных газов разносили его славу по Ладисполи. Этот страстный, скороговорчатый раввин передвигался на скутере, древнем предшественнике столь модной в наше время «Веспы». Беженцы прозвали его Реб Мотоцикл. Он был невысок и костист, с пятиугольным щетинистым лицом и непропорционально большими глазами, горящими огнем ада и рая. Неореалист во мне мечтал заснять Реб Мотоцикла на пленку всякий раз, когда я видел его, рассекающего бульвар в своих черно-белых одеждах образца 1840-х годов, с вложенной в рот свирелью сигареты, сжимающего руль правой рукой, а левой поддерживающего черную шляпу на голове. Белые кисти ниток — *цицит*  — и черные полы лапсердака развевались на ветру, как крылья и хвосты воздушного змея. Его одежда, хоть и традиционная, не была лишена небрежной элегантности: лапсердак сидел на нем великолепно, брюки никогда не выглядели мешковатыми, чересчур короткими или, наоборот, слишком длинными. И он, возможно, даже с нарушением каких-то ограничений в одежде, характерных для его религиозного движения, позволял себе два предмета роскоши: перчатки для вождения и замшевые туфли с пряжками. В его облике был еще один стильный штрих — ермолка из богатого бархата, гладкая и блестящая, как мех крота. Он был интересным мужчиной в том смысле, в каком невысокие, чернявые левантинцы могут поразить воображение гибких, как плакучая ива, неврастеничных блондинок, которые иногда выходят за них замуж. Ходил слух, что некая беженская вдова вся в черном посещала раввина в ветхом особнячке на восточной окраине центрального квартала, который он занимал вместе со своей худющей женой и тремя сыновьями. Хотя, вполне возможно, распространители этих сплетен поняли все превратно.

Раввина звали Борух Т., и, как часто бывает в спектаклях судьбы, не только местом его рождения был Каменец-Подольск на юго-западе Украины, родина моих обоих дедов, но и мать его была родом из Жванца, городка в Подолии, где родилась моя прабабушка по отцовской линии. Так что, кто знает, возможно, Реб Мотоцикл и моя семья были связаны какими-то родственными узами, более тесными, нежели родство большинства ашкеназских евреев. Некоторым вещам лучше не искать объяснений.

Реб Мотоциклу было лет тридцать пять, когда мы познакомились. Он заканчивал школу на Украине, когда его семья эмигрировала. Они осели в Бруклине, и вскоре он попал в круг любавических хасидов. До того как приехать в Ладисполи, он проработал пять лет в любавическом центре в Бразилии. К тому времени, как мы оказались в Италии, Реб Мотоцикл жил там всего восемь месяцев. Он приехал в Ладисполи с заданием восстановить деятельность местного хасидского центра. С 1984 года, когда количество эмигрантов из СССР упало до тысячи человек в год, если не меньше, Хабадский центр в Ладисполи почти бездействовал. И как только весной 1987-го поток эмигрантов стал нарастать (к концу года он достигнет восьми тысяч человек), прежний раввин был отозван в Бруклин, а Реб Мотоцикл направлен в Ладисполи.

— Ребе послал меня сюда, ребе, — любил повторять Реб Мотоцикл с огромным почтением в голосе, если кто-то спрашивал, как он здесь оказался. Под «ребе» имелся в виду любавический ребе, лидер любавических хасидов из бруклинского района Краун Хайтс. По моим тогдашним наблюдениям, Реб Мотоцикл говорил по-русски с двойным акцентом: еврейско-украинским и бруклинским. Вырываясь из его гортани, слова «представитель любавического ребе» звучали загадочно, влекуще, как название волшебной сказки.

Несмотря на то что особнячок, в котором жил раввин с семьей, официально считался местным Хабадским центром с комнатой для молитвы и залом для трапез и приема гостей, Реб Мотоцикл предпочитал вести свою деятельность за пределами дома, принимая посетителей только при исключительных обстоятельствах.

Вспоминаю позднее утро в конце июня. Отец ведет меня по улицам Ладисполи. Солнце палит так яростно, что я иду с закрытыми глазами, как слепой еврейский мальчик, держась за локоть моего бесстрашного отца и спотыкаясь о трещины мостовой. Свет меняется — я чувствую это сквозь ресницы — с ярко-оранжевого на сочно-изумрудный, я поднимаю глаза и вижу, как солнечные лучи вплетаются в кроны деревьев. Мы на красной гравиевой дорожке посреди зеленого парка. Перед нами зеленая беседка. Реб Мотоцикл стоит у входа в беседку, глядя мне прямо в глаза. Его взгляд испепеляет.

— Реб Борух, — обращается к нему отец, подталкивая меня к ступеням беседки, в то время как раввин отступает назад и разводит руки, чтобы принять меня. — Реб Борух, это мой сын.

Впервые в моей жизни Реб Мотоцикл накладывает на меня *тфиллин*  (филактерии) — перетянутые поношенными кожаными тесемками черные коробочки, в которых содержатся священные слова, начертанные на пергаменте. На мою руку и на лоб. Я произношу слова на древнееврейском; смысл этих слов мне пока неизвестен. По мере того как я повторяю их вслед за Реб Мотоциклом, я вижу, что его глаза улыбаются, вращаясь в своих полнодневных орбитах. Меня охватывает дрожь, словно я ощутил нечто, что лежит за пределами границ жизни. Что же это? Я не знаю. Но до сих пор — уже спустя двадцать пять моих американских лет — думаю об этом, когда сижу под куполом синагоги.

Беседка в парке служила Реб Мотоциклу приемной и одновременно раввинским судом. Отцы приводили своих маленьких или уже подросших сыновей, чтобы сказать молитву. Если мальчик-беженец выглядел особенно молодо, чтобы сойти за *бар-мицву*  (тринадцатилетнего юношу, согласно еврейскому закону достигшего совершеннолетия), раввин мог спросить украдкой у его отца: «Так сколько лет мальчику?» Если отец мешкал с ответом, тер щеки и надувал губы, раввин похлопывал мальчика по плечу и говорил ему: «Тебе придется еще чуть-чуть подождать, дружище». Но если отец бойко отвечал, что «парню как раз за неделю до отъезда исполнилось тринадцать», Реб Мотоцикл, не требуя дальнейших доказательств, начинал наложение филактерий. Кроме того, беженцы приходили в беседку, чтобы посоветоваться с Реб Мотоциклом, пожаловаться на бумагомарателей из ХИАСа или на итальянцев — квартирных хозяев либо испросить его мнения о каком-нибудь городе в Канаде или США, где они думали обосноваться.

— Провиденс, Род-Айленд, да, хорошее место, — сказал он моему отцу. — Я знаю тамошнего раввина. Отличный Хабадский центр на Хоуп-стрит. Под «раввином» он, естественно, подразумевал местного любавического раввина.

У Реб Мотоцикла был свой круг единомышленников и последователей, свои «группи». Одним из его наиболее близких соратников тем летом был Савва (Савелий) Нитерман, бывший московский отказник и гитарный поэт. Мы знали Савву еще по Москве. Похожий на кузнечика-альбиноса, в Москве Савва редко расставался со своей гитарой. Шутили даже, что он женат на гитаре, а не на своей второй жене, очкастой биологине с соломенными волосами, которая, после того как они попали «в отказ», кормила семью, работая лаборанткой на скорой помощи. В частных квартирах и на летних концертах «в лесах» Савва исполнял бесконечный репертуар одесских, идишских и русских эмигрантских песен. Пел он и песни собственного сочинения. Мы были в Ладисполи уже неделю, когда Савва появился там с женой, двумя маленькими детьми и гитарой. Он всем говорил, что едет в Филадельфию, где с 1979 года жили его первая жена и сын-подросток. В Ладисполи Савва быстро перевоплотился в настоящего местечкового паренька ушедших времен — в черных брюках, черной жилетке, надетой на белую рубашку, и черной ермолке. Вместо бренчания на гитаре и философствования на тему удушения еврейской культуры сталинскими соколами Савва стал у Реб Мотоцикла мальчиком на посылках. «Реб Борух прислал меня…» или «Реб Борух просил меня вам передать…» — выпаливал он, вскакивал в седло скутера и исчезал на время. Знаком высшего расположения Реб Мотоцикла было дозволение поездить на его «байке», и Савва и еще несколько усердных исполнителей воли Реб Мотоцикла по целым дням гоняли по Ладисполи, выполняя поручения «престольного» Дома Хабада. Они-то и держали Реб Мотоцикла в курсе всего, что происходило в среде беженцев. Я подозреваю, что именно благодаря усилиям Саввы Нитермана и других ладисполийских зелотов начались показы фильмов по четвергам — в противовес просмотрам в Американском центре по средам.

Объявления о фильмах всегда передавались из уст в уста. Без расписания, без отпечатанной программы. Реб Мотоцикл презирал постеры, доверяя только живому слову. Самое большее, что он мог позволить своим помощникам, — это повесить объявленьице в местном офисе ХИАСа: «Кино. Сегодня. На том же месте, в тот же час». Просмотры фильмов, которые устраивал раввин, случались нерегулярно и редко начинались вовремя. Все это происходило в зале местного клуба лодочников и рыбаков, который ХИАС арендовал для разных мероприятий. Это было затхлое, плохо освещенное помещение с длинными деревянными скамьями, с пыльными кубками и вымпелами на полках и выцветшими фотографиями на стенах. Здесь пахло морскими водорослями, жженым анисом и дыханием старых моряков. Оснащение «кинозала» оставляло желать лучшего: звук в моменты наивысшего драматического напряжения нередко срывался и пропадал. К тому же некоторые пленки были настолько исцарапаны, что порой казалось, будто глаза застилает катаракта. В сравнении с мероприятиями у Реб Мотоцикла кинопоказы в Американском центре — с кондиционером, мягкими креслами и новым проекционным оборудованием — создавали эффект настоящего американского кинотеатра, хоть никто из нас в таком кинотеатре еще не бывал.

А как насчет самих фильмов? На первый взгляд могло показаться, что пастор Джошуа просто крутил американские, а иногда британские фильмы: семейные и исторические драмы, любовные истории. Эти картины не были откровенно христианскими. Более того, это были известные, порой знаменитые на весь мир фильмы. В Американском центре мы впервые посмотрели «Язык нежности» с Деброй Вингер и Ширли Маклейн. В компании своей пассии Рафаэллы я впервые увидел «Уходя в отрыв», в котором, клянусь, не распознал никакой христианской подоплеки. И если нам хватило одного посещения субботних «празднований» в Американском центре, чтобы понять их истинную сущность, то на распознавание провокационной логики пасторских фильмов времени ушло гораздо больше.

Пастор Джошуа выбирал фильмы, в которых евреи и христиане выступали рядом, часто противопоставляясь друг другу. Таким был фильм «Огненные колесницы», главными героями которого были еврей Гарольд Абрахамс, студент Кембриджского университета, отец которого был выходцем из Литвы, и шотландский миссионер Эрик Лиддел. По замыслу фильма это диаметрально противоположные личности, но у каждого есть дар спортсмена. Оба — первоклассные бегуны, и вместе Абрахамс и Лиддел представляют Британию на Олимпийских играх 1924 года в Париже. «Летучий шотландец» Лиддел, глубоко верующий христианин, отказывается участвовать в забеге на сто метров, где он считался фаворитом, так как забег выпал на воскресенье. Лиддел отказывается бежать в воскресенье «ради короля», даже после настоятельной просьбы принца Уэльского. Он отвечает, что не может и не побежит в «Субботу Господню» (как он выражается), и вместо забега отправляется в церковь, как и всегда по воскресеньям. В итоге забег выигрывает Абрахамс. Лиддел на другой день завоевал золото в забеге на четыреста метров. Когда я впервые смотрел этот фильм в Американском центре, меня далеко не сразу осенило, что Абрахамс показан заносчивым и амбициозным еврейским неофитом, а Лиддел — страдальцем за христианскую веру. Как и многие другие в зале, я удивлялся тому, что выражение «Суббота Господня» употреблялось по отношению к воскресенью. По-английски это слово, «Sabbath», звучало очень похоже на древнееврейское «Шаббат». Этим стечением еврейского и христианского смыслов, как я полагаю, пастор Джошуа надеялся проложить путь к сердцам советских беженцев. Другие фильмы пастора Джошуа представляли собой еврейские истории и мифы в христианских обертках. Таким был фильм «Десять заповедей», который кое-кто из беженцев воспринял как «прекрасное еврейское кино». В ретроспективе совершенно очевидно, что пастор Джошуа преследовал души запутавшихся еврейских беженцев. Кинопоказы, субботние утренние «празднования» и занятия английским — все это были составляющие продуманного плана по завлечению нас при помощи знакомых еврейских символов и знаков.

К середине июля соперничество между показами фильмов у пастора и раввина переросло в открытую войну. Реб Мотоцикл пытался парировать выпады пастора собственным выбором фильмов и поначалу не очень успешно. В отличие от пастора, раввин никогда не предварял просмотры фильмов вступительным словом. Возможно, сама идея кинопоказа, не говоря уже о серии фильмов, представлялась раввину чем-то весьма нееврейским, позерским, нарочитым. Но как это соотносилось с его перчатками, стильными туфлями и дизайнерскими ермолками?

В ответ на «Огненные колесницы» пастора Джошуа Реб Мотоцикл показал «Исход» с молодым Полом Ньюманом. Когда этот фильм Отто Премингера, снятый по бестселлеру Леона Уриса, вышел на экраны в 1960-м, он стал точкой отсчета в деле популяризации еврейской истории в Америке. Но летом 1987-го «Эксодус» («Исход») уже не был новинкой для советских беженцев. К тому же многие из нас испытывали противоречивые чувства, думая об Израиле, ощущали свою вину, так как решили вместо Израиля ехать в Америку или Канаду. Многие были недовольны фильмом; пошли жалобы. Реб Мотоцикл сделал выводы, и фильмы стали не столь прямолинейны. Пастор показал «До свидания, дорогая» с Маршей Мэйсон и Ричардом Дрейфусом. Раввин ответил на это «Смешной девчонкой» с Барбарой Стрейзанд в роли Фанни Брайс, комедийной актрисы, прошедшей путь от трущобных театриков нижнего Ист-Сайда до звездных подмостков Бродвея. В выборе Реб Мотоцикла чувствовалось некоторое лукавство, желание высмеять пастора сардоническими комментариями самих фильмов. И все же фильмы, которые показывал раввин, уступали пасторским, и люди жаловались, что они пресноваты и старомодны. В течение нескольких недель пастор Джошуа уверенно лидировал. Затем он решил показать нечто совсем уж мейнстримное — недавний фильм, ориентированный на молодежь. Выбор пал на «Танец-вспышку» Адриана Лайна, который позднее снимет «91/2 недель» и «Лолиту». Реб Мотоцикл ответил на это «Певцом джаза», римейком 1980-го года с Нилом Даймондом в главной роли и Лоуренсом Оливье в роли старого кантора Рабиновича. Кое-кто из беженцев оценил бритвенное чувство юмора раввина, другие же снова были разочарованы. После просмотра группа немолодых мужчин столпилась у клуба. Они курили и громко ворчали.

— Это он так предупреждает нас или что?

— Ой, еврейский парень гуляет с шиксой — и что здесь нового?

— И старый кантор Рабинович рвет на себе одежду. Ну и пусть себе рвет.

По пути домой мне вспомнилась старая шутка об авторе, который принес свои стихи в редакцию толстого московского журнала. Редактор посмотрел стихи и говорит: «Хорошие стихи. Мы бы напечатали, но есть одно но». — «Какое?» — «Видите ли, ваша фамилия Рабинович… Может, возьмете псевдоним?» Автор смотрит на редактора с негодованием и отвечает: «Рабинович — мой псевдоним. Моя фамилия Хаймович». Вот так у меня в голове до сих пор роятся какие-то старые советские анекдоты, но здесь, в Америке, они мне почти ни к чему. Разве что сейчас, когда я вспоминаю об этих ладисполийских днях и нашем балансировании на грани американского будущего.

По мере того как июль заворачивал свой пыльный хвост за угол, где по вечерам у ресторана с разноцветными фонариками и ротанговыми креслами оркестрик играл «Аривидерчи, Рома», фильмы у пастора становились все лучше и лучше, и даже самые ярые поклонники Реб Мотоцикла признавали в своем кругу, что «дела у него не блеск». Я помню показ фильма «Дети малого Бога». По пути в Американский центр мы с мамой чуть не повздорили прямо посреди бульвара, и все из-за того, что мои родители до сих пор не решили, где нам поселиться в Новом Свете. В тот момент Вашингтон и Филадельфия еще конкурировали с Провиденсом, который я представлял себе рыбацким поселком, окруженным водой и километрами тростниковых топей. Отец считал, что нам поначалу будет легче в небольшом американском городе, мама же приходила в ужас от перспективы жизни в провинции. Несмотря на все страхи и сомнения, несмотря на неясность нашего будущего, после семи-восьми внешне спокойных недель, которые мы провели, загорая на пляже и купаясь в теплом море, мама выглядела отдохнувшей. Она всегда сильно загорала, и от солнца ее волосы становились на несколько оттенков светлее. Вспоминаю, как я иду по бульвару со своей смуглой средиземноморской мамой, одетой в белую блузку и новую итальянскую юбку, которую они с отцом купили на распродаже при закрытии магазина в Риме. Мы спорим о будущем, сначала по пути в кино, а потом уже в прохладной аудитории, устроившись в мягких креслах. Помню, что пастор Джошуа произнес тогда довольно длинное и туманное вступление о жизни в Америке, где, как мы вскоре должны будем убедиться, «самые разные люди живут вместе». В тот вечер, казалось, пастор Джошуа был особенно доволен собой; дважды он упомянул, что приготовил нечто «особенное» для нас — кино, которое вышло всего год назад. Было объявлено, что ленту он получил непосредственно из американского посольства в Риме. Несколько человек в зале стали аплодировать. Перед тем как удалиться со сцены, пастор сказал:

— Когда мы с Сарой вместе работали над созданием серии фильмов, мы не думали показывать вам этот фильм. На самом деле некоторые из вас будут удивлены, если не шокированы: а может ли фильм, в котором открыто показан секс, быть частью Дома Господня? Я убежден, что может, потому что Хашем Иешуа не судит и не изгоняет никого из своих детей. Поэтому, как всегда, добро пожаловать в Американский центр!

«Дети малого Бога» были хитом у беженцев, особенно та сцена, в которой герой Уильяма Хёрта, учитель в школе для глухих, прыгает в бассейн, где плавает молодая обнаженная женщина. Наши опасения на предмет истинной природы кинопоказов в Американском центре отнюдь не исчезли. Но было бы лицемерием не признать, что многие из нас прикидывали в уме, не лучше ли развлекаться вместе с вероотступниками, чем скучать с правоверными евреями.

Прошло две недели с тех пор, как нам показали «Детей малого Бога», а Реб Мотоцикл пока ничем не ответил на этот кинопоказ пастора Джошуа.

— Он что, сдался? — спрашивали друг друга беженцы на пляже и приморской Пьяцце.

— Признал поражение?

— Может, ему не хватает средств? — высказывали предположения другие.

— У пастора несомненно есть связи в правительстве, — размышляли беженцы.

Но тут пешие и механизированные войска Реб Мотоцикла стали распространять известие о том, что очередной фильм будут показывать в ближайший четверг.

— Это будет нечто, — сообщил мне Савва Нитерман, выдувая «нечто», как мыльный пузырь. — Сам раввин выступит.

Все это случилось в конце первой недели августа, когда дядя Пиня, брат моего деда со стороны отца, приехал к нам в Италию из Тель-Авива. Под конец его визита мы с родителями были совершенно вымотаны, но об этом я расскажу чуть позже. В день показа фильма дядя Пиня и мой отец вернулись из двухдневного путешествия на юг Италии. Дядя Пиня в свои восемьдесят с лишним был переполнен энергией и впечатлениями от Помпеев и их «поразительного» лупанария. Именно из-за этого мне хорошо запомнился тот вечер. В моей памяти фильм, который показал нам Реб Мотоцикл, странным образом состыковался с эротическими фресками Помпеев.

Мы вошли в клуб лодочников и рыбаков — я, мама, папа и дядя Пиня в бойскаутских шортах — и первым делом увидали Реб Мотоцикла, стоящего у входа в тесном кружке своих последователей. Он курил, как человек, только что промотавший остатки семейного состояния на собачьих бегах, и приветствовал входящих резкими кивками.

Когда зал заполнился, как московский троллейбус в час пик, Савва Нитерман выбежал на улицу, чтобы позвать раввина. Реб Мотоцикл вошел в помещение и встал перед первым рядом. В отличие от Американского центра, в арендованном зале клуба лодочников и рыбаков не было сцены. Примерно две минуты Реб Мотоцикл молча курил, просвечивая публику прищуренными глазами, а затем разразился гневной речью.

— До меня дошли сведения, — заговорил он на своем окрашенном двойным акцентом, но четком русском языке, — что вам не нравятся фильмы, которые мы здесь показываем. Мне говорили, что некоторые жалуются, что, мол, фильмы у раввина не очень веселые. «Слишком пресные, — говорите вы. — Не очень веселые». Пресно, да? Невесело?

Раввин вытащил правую руку из переднего кармана брюк, яростно ею взмахнул и продолжил.

— Иными словами, еврейские фильмы не впечатляют вас, а те, что вы смотрите на бульваре, вам интересны? Вот что я слышу?! Ну что ж, отлично, у меня есть для вас новость, мои дорогие евреи. Или вы уже забыли, кто вы такие, с тех пор как стали ходить на их гойские шоу? В том случае, если вы забыли, кто вы такие, и если вы слепы и не видите того, что происходит на этой вилле, разрешите вам напомнить. Они охотятся за вашими душами. Этот пастор, он может говорить чуть иначе, чем евангелисты в Америке, но идет по той же дорожке. Поверьте, все они хотят одного. Я видал это и раньше, в разных одеждах. В России это были православные священники-выкресты, которые твердили о двойном избранничестве евреев — весь этот вздор. Потом еще это фиглярство под названием «евреи за Иисуса». А сейчас сладкие речи пастора. Все это ловушки, обман, духовный геноцид. Они никак не могут оставить нас в покое — как будто недостаточно уничтожили наших людей. И я предупреждаю вас, евреи, все они хотят одного. Они хотят получить кусок еврея. И некоторые попадают в их сети. Я вас предупреждаю еще раз, и дело тут не в фильмах, будь это здесь, в Ладисполи, или в Америке.

Раввин остановился, чтобы протереть лоб платком и прикурить еще одну сигарету. Все сто пятьдесят человек, заполнивших аудиторию, сидели не шелохнувшись. Только наш дядя Пиня громко высморкался и радостно проговорил мне в ухо: «Все они сумасшедшие фанатики, эти служители культа».

Реб Мотоцикл встал еще ближе к первому ряду и продолжил:

— Мои источники сообщают, что некоторые из вас говорят, будто бы раввин — ханжа. Что он не хочет показывать ничего такого, чтобы были голые люди в кровати. Вот что вы думаете? Чуть раньше я уже сказал, что дело не в фильмах, но сейчас хочу поправиться. Если дело в фильмах, пусть будет так, я не возражаю. Знайте, евреи, все, что есть у гоев, у нас, евреев, тоже есть. И у нас это было даже раньше. Так что, как говорит господин пастор, наслаждайтесь фильмом. Поехали.

Реб Мотоцикл хлопнул в ладони и дал знак киномеханику.

Свет погас, и с первыми кадрами вступительных титров и нотами саундтрека у меня участилось дыхание. Сердце колотилось от восторга. Действие фильма начинается в полупустом салоне самолета, летящего в Бангкок. В течение короткого начального эпизода главная героиня, юная замужняя француженка, занимается сексом с двумя разными мужчинами — с одним в туалете, с другим — прямо в салоне, под тонким пледом. Я никогда раньше не видел этого фильма, снятого по роману Эммануэль Арсан, но музыка была мне хорошо знакома. Я знал весь саундтрек от начала до конца. В Москве я часто крутил эту запись. Сколько раз мы с друзьями представляли, как окажемся на Западе, в кинотеатре, и испытаем на себе эффект всего фильма, от начала до конца, вместе с саундтреком. Это была одна из фантазий, которую я первым из моих московских друзей сравнил с реальностью. Невероятно, но факт: Реб Мотоцикл показал нам первую «Эммануэль» — жемчужину бессюжетного эротического кино, снятую еще в 1974 году.

Представьте себе всю сцену. Копия была старая, и не все слова в диалоге можно было уловить. Подумайте только, я даже не могу вспомнить, был ли этот фильм дублирован по-английски или же его показывали по-французски с английскими субтитрами, которые плохо читались. Темнота входила в общественный зал сквозь открытые окна, не принося облегчения нашим перегретым легким. В зале сидели дети и старики. Кое-кто из женщин начал тянуть своих мужей к выходу, но те сопротивлялись. Они не могли оторваться от экрана, где ненасытная Эммануэль познавала себя и свое тело при помощи мужчин, женщин, в парах и группах; в Бангкоке и в провинции, рядом с бурлящими водопадами и в тайских бездорожных деревнях. И все это время я продолжал думать о саундтреке с его шепотом и лепетом страсти. В Москве мой отец называл эту запись «охи-вздохи». Я думал о восемнадцати-девятнадцати-двадцатилетних советских мальчиках и девочках, танцующих в маленьких, переполненных гостями квартирах с притушенным светом, о советских мальчиках и девочках, которые пытались любить друг друга на виду у других танцующих парочек, под звуки «да-да-да-дадада-да-да-да-Эммануэль, да-дада-дада-дада». Сентиментальное часто выглядит нелепым в ретроспективном показе, так что позвольте мне остановиться.

Пока мы шли домой, выяснилось, что дядя Пиня очень доволен выбором фильма.

— Он вонючий клерикал, — сказал дядя Пиня о Реб Мотоцикле. — Но по крайней мере не ханжа. А это уже первый шаг в сторону от организованной религии.

Наш дорогой дядя Пиня улетел следующим утром. А Ладисполи почти неделю сотрясали споры о скандале на просмотре у раввина.

— Он сошел с ума, этот авантюрист в ермолке, — утверждали одни.

— Сошел с ума? Напротив, раввин сделал правильный ход, — возражали другие.

— Правильный ход? Вы называете эту грязь «правильным ходом»?

— Еще бы. Наш Реб Мотоцикл — крепкий мужик. Он их размазал. Переиграл гоев на их собственном поле. Пастору теперь нечем крыть, спорим?

— Пастор — приятный, образованный человек, а вовсе не местечковый примитив, как этот ваш раввин, — говорили отступники из рядов рафинированной московской интеллигенции. Их небольшую фракцию возглавлял вновь впавший в депрессию античник Анатолий Штейнфельд.

И все же Реб Мотоцикл одержал решительную победу в беженском суде общественного мнения. Пожалуй, это сказано слишком громко, но по крайней мере он выиграл в нашем семейном суде. После показа «Эммануэли» мы с мамой больше не ходили в Американский центр.

Сколько заблудших душ поймал пастор Джошуа в свои «силки» (выражение Реб Мотоцикла)? Сколько из них продолжили в Америке путь «новых братьев во Христе»? Я думаю, лишь несколько человек, и дело тут не в героической обороне Реб Мотоцикла. Или, возможно, пастор сам просчитался, делая слишком большой упор на завлечение беженцев, которые просто-напросто пользовались любой возможностью совершенствоваться в английском, готовясь к переезду в Новый Свет. Посещая просмотры фильмов и запивая их мыльным пуншем, даже читая по-английски Евангелие на занятиях по вторникам и четвергам, большая часть беженцев продолжала жить так, как жила раньше, в Советском Союзе. Не очень разборчивые в книгах, кинофильмах и еде, они по-прежнему не доверяли идеологии, властям и проповедям.

В конце концов, анализируя эту историю, я прихожу к соблазнительному выводу: именно Эммануэль с ее охами-вздохами любви победила пастора-прозелита. И сейчас, двадцать пять лет спустя, когда я вижу хасида, пересекающего Бикон-стрит у нас в Бруклайне, спешащего во что бы то ни стало спасти евреев от уничтожения, я улыбаюсь, вспоминая дуэль Реб Мотоцикла и пастора Джошуа. Я улыбаюсь, а слова из песни звучат в голове, когда я вспоминаю себя таким, каким был в то долгое ладисполийское лето: *«Мелодия любви в тебе поет, Эммануэль,/ Сердце бьется, ты горишь./ Мелодия любви в тебе поет, Эммануэль,/ Тела жар — и ты паришь,/ Совсем ты одна,/ Просто дитя,/ Познала сама/ Любовь лишь сейчас,/ Тебе двадцать лет…»*

**ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

**Багаж**

**7**

**Наполеон в Сан-Марино**

В то лето, когда мы уехали из СССР и впервые оказались на Западе, мы были нищими и жаждали увидеть мир. Но жили мы не по средствам. В Ладисполи мы с родителями арендовали прекрасную квартиру с видом на море, по стоимости доступную людям среднего класса, в то время как целые семьи беженцев снимали крошечные душные комнатушки, выходящие окошками в пыльные внутренние дворики. Мы не сэкономили ни цента, тогда как другие, к примеру наши собственные родственники, умудрялись откладывать деньги. Что можно было отложить из мизерного пособия за два или три месяца в Италии? Тысячу долларов, может быть, даже полторы, чтобы потом внести их как первый платеж за первую американскую машину? Получить битый «Олдсмобиль-Катлас-Сиера» — и это вместо собственного Тирренского моря, опускавшегося и поднимавшегося за окном?!

Невозможно было существовать в Ладисполи, где даже у загара был оттенок беженской уязвимости, чтобы каждый раз не натыкаться мыслью на то, сколь же мало сохранилось ощутимых свидетельств нашего российского прошлого. И беседы вроде той, в которой мы с отцом приняли участие в гостях у Рубени, отнюдь не помогали. Напротив, такие разговоры поднимали со дна какие-то застарелые фобии моего отца, связанные с жизнью в Америке.

К концу июля мы окончательно решили поселиться в Провиденсе, столице штата Род-Айленд, где жили наши друзья, эмигрировавшие еще в 1970-е, до того как советские двери захлопнулись почти на десять лет. Мысли о том, что благодаря хлопотам наших друзей еврейская община Род-Айленда готовилась нас принять, что была уже снята квартира на первом этаже деревянного дома на тихой городской улице и что наши туманные представления об американской жизни обретают реальные очертания, нас поначалу успокаивали. Вернее, оговорюсь сразу: спокойствие длилось два, от силы три дня, пока мама не объявила, что ее мать, сестра и племянница тоже поедут с нами в Род-Айленд. В свое время, когда мы наконец-то получили разрешение на выезд, моя мама заявила сотруднику госбезопасности, что не уедет без своих родных; на этот раз нечто подобное она выдала нам с отцом. Если ей уступил гэбэшник, то как же мы могли отказать?

— Ты скажи им, чтобы избавились от своего кофра, — пробурчал отец. — Я к нему больше не притронусь. Черт его знает, что в нем окажется на этот раз.

Мама назвала отца бессердечным эгоистом, а меня — неблагодарным внуком и племянником, но приняла условие: как можно меньше семейного багажа. Еврейская община Род-Айленда согласилась пригреть еще трех беженцев из советского плена. («У вас в России был водопровод?» — спросит еврейский социальный работник уже потом, в Провиденсе.) Полные духа семейной гармонии, мы все вшестером — я с родителями, бабушка, младшая сестра мамы (моя тетка) и ее одиннадцатилетняя дочь (моя кузина) — решили записаться на автобусную экскурсию. Автобус выезжал из Ладисполи ранним утром и отправлялся во Флоренцию, где мы должны были провести большую часть первого дня. Предполагалось в первую половину следующего дня осмотреть Сан-Марино, а к вечеру приехать в Венецию, переночевать и поболтаться там часть дня, а поздно вечером вернуться в Ладисполи.

«В каком-то смысле авантюристы разных племен и народов похожи друг на друга», — сказал эмигрантский поэт и художник Семен Крикун. Человека, который организовал автобусные экскурсии из Ладисполи, звали Алексей Ниточкин. Еще в начале 1970-х он эмигрировал из Ленинграда с женой-еврейкой. Они попали в Нью-Йорк через Вену и Рим, точно как мы. В Нью-Йорке, как утверждал Ниточкин, он получил степень доктора философии в Колумбийском университете, защитив диссертацию по восточной патристике. Он говорил, что добился всего сам — «чувак с улицы», «человек с асфальта», как он любил выражаться, — и беженцы одновременно «верили и не верили». По словам Ниточкина, он работал профессором теологии в течение шести лет в колледже где-то к северо-западу от Нью-Йорка, но не сошелся характерами с политиканом-деканом и завистливыми коллегами. Так или иначе, но контракт ему не продлили, он развелся с первой женой, женился на итальянке, с которой познакомился еще в аспирантуре, и уехал с ней в Рим в поисках новой свободы и счастья. Молодожены поселились в Ладисполи, возможно, из-за того, что бывших беженцев, как и бывших преступников, тянет в хорошо знакомые места. Когда шлюзы еврейской эмиграции снова открылись в 1987-м, Ниточкин организовал туристический сервис и стал задешево возить бывших соотечественников по Италии. Чем занимался Ниточкин до того, как ударился в турбизнес, для всех оставалось загадкой. Он утверждал, что печатался в ведущих итальянских журналах, но у нас не было возможности в этом убедиться. Позже я обнаружил, что Ниточкин публиковал очерки, рассказы и стихи в эмигрантской прессе, чаще всего в парижском ежеквартальном сборнике русского христианского движения.

В течение нашего лета в Ладисполи Ниточкин предлагал три экскурсии. Поездку во Флоренцию, Сан-Марино и Венецию мы предпочли экскурсии в Пизу, Лукку и Чинкве Терру. Третья экскурсия включала путешествие на Амальфитанский берег, и мы с мамой взяли эту экскурсию позднее, в августе. Я сильно сомневаюсь, что у Ниточкина была лицензия на ведение экскурсий или какая-нибудь страховка. Но сейчас во мне говорит мое американизированное «я». Тогда мы не принимали этого в расчет — Ниточкин брался доставить нас во Флоренцию и Венецию! Какая разница, были ли у него необходимые разрешения и бумаги или нет? Стоимость экскурсий была в несколько раз меньше той суммы, которую рядовой иностранный турист отдавал за автобусные туры по Италии. Турбюро Ниточкина не выпускало глянцевых брошюр и никак себя не рекламировало. Новости распространялись по сарафанному радио, и группы отправлялись сразу, как только наш жуликоватый туроператор набирал полный автобус сдавших деньги туристов. Гидов вербовали из категории образованных беженцев; экскурсии велись на русском. Ниточкин время от времени брал в руки микрофон и рассказывал о себе, о политике или о жизни в Америке. Он называл это «формовкой эмигранта».

Кроме моих родителей, тети, бабушки и кузиночки в автобусе, мчавшем нас во Флоренцию, было еще около сорока человек. С нами ехал сам Ниточкин и два вспомогательных гида — Петр Перчиков, бывший комедийный актер, и небезызвестный Анатолий Штейнфельд. В обязанности Перчикова входило развлекать публику в те минуты, когда Ниточкин и Штейнфельд умолкали, истощив запас комментариев. Перчиков рассказывал анекдоты о чукчах, евреях и грузинах и сплетни московской богемы, в основном не первой свежести. Единственным итальянцем в автобусе был Андреа, наш водитель. Римский котяра, Андреа считал себя представителем итальянских властей, презирал беженцев и любых иностранцев, и даже к своему работодателю, Ниточкину, относился с оттенком снисхождения. «Ни разу еще не встречал симпатичного еврея», — поделился со мной Андреа на первой же заправке.

Мы прибыли во Флоренцию после полудня и до пяти-шести вечера были предоставлены самим себе. После того как я утратил чувство времени на Понте Веккьо, позволяя взгляду мечтательно плыть по аспидным волнам Арно, после того как повитал над Пьяцца делла Синьория и постоял напротив и внутри соборов Санта Мария Новелла и Санта Мария дель Кармине, я ощущал пульсирующую радость, что вот наконец-то увидел все эти чудеса. Представьте себе, насколько обездоленным чувствует себя двадцатилетний юноша из Советского Союза, впервые попав во Флоренцию и таращась на всю эту красоту. Я смогу это описать, наверное, только после того, как оставлю этот мир и научусь выражать свои мысли не словами, а надмирными образами. И радость — радость того, что можно видеть и воспринимать все это флорентийское волшебство, — может сбить еврея с пути, особенно, если он не знает, кто он и откуда.

В закатный час мы снова были в автобусе, оставляя позади волнистый тосканский ландшафт, пересекая Эмилию-Романью на пути к не знающей сна Болонье. Как по заказу, в нашем автобусе оказалась не только рижанка Ирена со всем своим кланом, но и Ланочка Бернштейн. Моя бывшая московская подружка ехала на экскурсию вместе с новым ухажером, который столь сильно преуспел в математике, а также с отцом и бабушкой, все больше и больше похожими друг на друга, и с младшим братом, быстро превращавшимся в итальянского уличного подростка. Мы с Иреной сидели рядом в автобусе, и я отправлял руки в исследовательские экспедиции по не столь отдаленным волшебным чертогам. Это все очень напоминало наши купания и прогулки по тирренскому берегу под укоряющими взглядами родителей и старшего брата Ирены.

Моя рука скользила по ее талии и округлости бедра. «Хорошего понемногу», — шептала Ирена и отодвигалась к окну, не дожидаясь, пока ее мать повернется, чтобы сурово глянуть на нас. Мы с Иреной старались не думать о тупиковости нашего флирта. Я, по крайней мере, об этом не думал, а, наоборот, в начале поездки еще лелеял надежды, что мы хоть ненадолго сможем оторваться от ее семьи.

Мчась по суперхайвею по направлению к Болонье, переплетая свои пальцы с Ирениными, а потом расплетая их, я думал так: «Они все здесь. Моя бывшая московская подружка и моя ладисполийская почти что подружка. Мое беспокойное советское прошлое, мое итальянское транзитное настоящее и брезжущие на горизонте обещания американского постоянства».

В половине десятого вечера мы подъехали к Болонье.

— Ее называют «Красная Болонья», — объявил Ниточкин.

— А почему «красная»? — удивилась моя бабушка.

— Здесь правят коммуняки. Полный балаган, — объяснил Ниточкин. — Мы здесь простоим час. Это Пьяцца Маджоре, самая большая площадь в Болонье. Я жду всех вас в автобусе ровно в одиннадцать, не позднее.

Мы с Иреной быстро свернули в проулок, где я угостил ее пиццей. Я плохо запомнил ночную Болонью, особенно из-за того, что попал сюда сразу же после Флоренции. Что-то похожее на митинг рабочих заполонило Пьяцца Маджоре — ораторы и какое-то шествие с лозунгами и знаменами, с громкоговорителями и скандирующей толпой. Я запомнил иллюминированные портики на площади, словно кружево черненого серебра на шее и плечах города. Повсюду были уличные актеры и мимы. Прогулявшись и съев пиццу, мы с Иреной остановились, чтобы понаблюдать за двумя мимами. Один изображал Горбачева с поднятыми ладонями вверх руками; у него была бледная, посыпанная пудрой голова с клубничной метиной. Другой мим был Рейганом — с бульдожьими складками и протезированной улыбкой. Время от времени мимы сходились, чтобы пожать друг другу руки и застыть в историческом объятии.

Потом я купил Ирене и себе по порции джелато в киоске напротив большого фонтана, кровоточащего красными и зелеными огнями. Мы были метрах в трехстах от нашего автобуса, но площадь, полная демонстрантов, давала возможность укрыться в толпе и стать невидимыми. Когда продавец джелато утрамбовывал в вафельный стаканчик пять разных шариков, которые выбрала Ирена — она любила начинать с шоколадного и заканчивать лимонным, — я собрался с духом и сказал, стараясь придать своему голосу как можно более мягкий оттенок:

— Так больше нельзя.

Ирена приняла стаканчик из рук продавца, нырнула языком в шоколадную глубину и облизала губы, словно вымазанные темной помадой.

— Я согласна, — ответила она, откусив еще мороженого.

— Если не завтра, то когда? — спросил я.

— Да, — ответила Ирена.

— Ты будешь на все отвечать «да»? — спросил я, дотрагиваясь до ее правого локтя.

— Да.

— Хочешь, сбежим от родичей завтра в Сан-Марино?

— Да.

— Ты придумаешь какой-нибудь предлог, чтобы исчезнуть на пару часов?

— Да.

— Я тебя когда-нибудь увижу голой?

— В жизни не ела такого фисташкового, — сменила тему Ирена, истинная рижанка.

Когда мы возвращались к автобусу, мама отвела меня в сторону и рассказала, что Штейнфельд отвесил ей сомнительный комплимент и отец в ярости схватил его за горло и приложил к стенке автобуса. Штейнфельд угрожал нажаловаться карабинерам на «оскорбление и избиение», но отец ему при всех сказал: «Еще звук — и я тебе морду на задницу натяну». «Только этого нам здесь не хватало», — подумал я, живо представив, как мой отец, который всерьез занимался боксом, пока у него резко не упало зрение, проделывает все это со Штейнфельдом на главной площади города. Вообразите: поэт и врач из СССР защищает честь своей музы на фоне коммунистического митинга в центре Болоньи.

В автобусе Штейнфельд был мрачнее тучи и делал вид, что читает итальянскую газету. Авантюрист Ниточкин и итальянский котяра Андреа спорили, как лучше доехать до места ночевки, и микрофон взял Петр Перчиков. Пока мы кружили по какому-то городку в окрестностях Болоньи, он травил одесские анекдоты до тех пор, пока мы не остановились на ночлег. Мне пришлось спать в одной комнате с бабушкой, которая была, кажется, гораздо менее утомлена дорогой, чем я, и начала меня мучить вопросами: «А кто построил Флоренцию?» или «А в Болонье до сих пор выпускают плащи? В шестидесятые они были так популярны». Уже после того как я выключил торшер, стоявший между нашими кроватями, бабушка прошептала, как подросток, оказавшийся в лагере на соседней койке с закадычным дружком:

— А что это за Сан-Марино, куда нас везут?

— Это крошечное государство. Гора-государство. И даже Наполеон не смог его захватить. Спи, бабуля, спи, пожалуйста.

— Наполеон? — переспросила она. — О, я обожаю Наполеона!

— Ты? Обожаешь Наполеона? — пробормотал я, находясь где-то посередине между бодрствованием и сном.

К десяти утра на следующий день наш автобус настолько близко подъехал к Сан-Марино, что Штейнфельд смог указать на трехглавую Монте-Титано, поднимавшуюся на равнине прямо перед нами.

— Это национальная эмблема Республики Сан-Марино, — произнес он с пафосом. — Три горные вершины в окружении замковых башен. Вы увидите эту эмблему на их флаге и гербе.

— На их фляге и горбе, — сострил комедиант Перчиков.

Штейнфельду шуточка не понравилась, и он одарил Перчикова презрительным взглядом. Уже около часа он читал нам лекцию о Сан-Марино, с тех пор как мы миновали город Форли, что примерно на полпути между Болоньей и Сан-Марино. Половина беженцев спала; другие слушали и старались задавать умные вопросы. Огненно-рыжий настройщик из Минска музейным почерком делал записи в кожаном блокнотике.

Штейнфельд снова почти покорил меня своими живыми комментариями к истории Сан-Марино. К тому же он приобрел восторженную слушательницу в лице моей бабушки, которую, по каким-то причинам, очень занимал тот факт, что гордая маленькая республика не склонилась перед обожаемым ею (бабушкой) Наполеоном. Загоревшая, в белой кофте с вышивкой по вороту и в немного тесной юбке кремового цвета, которую мама умоляла ее не надевать, бабушка в это утро выглядела помолодевшей и полной сил. Ей недавно исполнилось семьдесят три, но легко можно было дать лет на десять меньше. Именно она, а не Ирена, просидела со мной рядом в автобусе всю дорогу из Болоньи в Сан-Марино. Ирена с утра была не в духе и отправилась досыпать на заднее сиденье автобуса, где было темнее и немного тише. Скептик по натуре, как многие евреи, выросшие на побережье Балтийского моря, Ирена, должно быть, чувствовала надвигающееся разочарование дня, в то время как я, приемный сын Италии, был все еще переполнен романтическими надеждами.

Возможно, из-за своего солнечного настроя я был готов простить Штейнфельду недавний трусливо-похотливый выпад в адрес моей мамы. В конце концов отец уже заставил его расплатиться страхом, так стоило ли на этом зацикливаться? Слушая объяснения Штейнфельда, я вспоминал прежние дни, когда он беседовал со мной об этрусках на улицах и перекрестках Ладисполи. Штейнфельд-античник был великолепен, когда рассказывал о легендарном основании Сан-Марино в IV веке далматинским отшельником-камнетесом по имени Маринус. Достигнув в своем повествовании эпохи Возрождения, Штейнфельд заскучал и начал играть в историческую викторину с аудиторией.

— Республика Сан-Марино была оккупирована на короткий строк всего лишь дважды в своей истории, — сказал он. — Кто-нибудь знает, кем?

Никто не знал.

— Не удивительно, — выдавил Штейнфельд, искривив рот. — В первый раз — Чезаре Борджиа, а потом отрядами кардинала Альберони почти двести лет спустя, если память мне не изменяет, а обычно она мне не изменяет. Затем папа признал независимость Сан-Марино. Да, думаю, стоит упомянуть, что в 1944 году немцы, а за ними и армия союзников прошли через Сан-Марино. Но это не считается. Сан-Марино пыталось сохранять нейтралитет во время войны.

— А что с Наполеоном? — выкрикнула моя бабушка так громко, что я вздрогнул.

— А что с Наполеоном? — переспросил Штейнфельд. Он презирал все, что произошло после французской революции.

— Расскажите нам о Наполеоне, — настаивала бабушка, употребляя свое коронное «нам», «мы, граждане», «нам всем». Она так и не отучилась от этого до самой смерти, даже после двадцати с лишним лет жизни в Америке.

— Расскажите им, Анатолий. Люди хотят знать, — вмешался авантюрист Ниточкин.

— Что делал в Сан-Марино слон, когда пришел на поле он? — объявился Перчиков с очередной наскоро перелицованной шуточкой. Несколько человек с готовностью засмеялись.

— Типичное российское помешательство на Наполеоне, — произнес Штейнфельд с миной на лице. — Ну что ж, слушайте. В 1797 году верный наполеоновский генерал Луи Александр Бертье — потом, когда Наполеон провозгласил себя императором, он стал маршалом Франции, не самый великий полководец, заметьте, но послушный исполнитель воли Наполеона — так вот, в 1797-м Бертье осадил Сан-Марино.

— О, господи, — громко вздохнула моя бабушка.

— Я попросил бы меня не перебивать, — взвизгнул Штейнфельд. — Войска Бертье, — продолжал он, — встали в Сан-Марино, грозя республике, но отцы Сан-Марино настолько умело затянули переговоры о сдаче, что один из двух капитанов-регентов успел добраться до Наполеона и заручиться его протекцией. Сан-Марино пощадили. Широкий символический жест, это уж точно. А потом Венский конгресс признал суверенитет республики Сан-Марино. Вот вам и ваша история про Наполеона, милейшая, — заключил он, повернувшись к моей бабушке, ставшей за это время центром бонапартизма в нашем автобусе.

— Прошу прощения, а что вы сказали про население? — прервал Штейнфельда настройщик роялей.

— Повторяю: около двадцати пяти тысяч сан-маринцев живут в пределах этой маленькой республики, — ответил Штейнфельд ледяным голосом. — Это третье по величине карликовое государство в Европе после Ватикана и княжества Монако. И имейте в виду: это самая маленькая республика во всем мире. Санмаринцы ценят свою свободу. Их конституция датируется 1600 годом, если вы можете себе такое представить.

На этом месте Ниточкин оторвался от оживленного разговора, который вел с итальянским котярой-водителем — скорее всего, они сравнивали русских женщин и итальянок, — и произнес в водительский микрофон, закрепленный на металлической гибкой шее:

— Все правильно, дамы и господа, по площади это меньше одной трети Вашингтона Ди Си. Кстати, я как-то провел там шесть месяцев, работая референтом конгресса по вопросам православной церкви.

После чего он рассказал очередную из своих невообразимых американских историй, которым многие в автобусе отказывались верить. Получил он степень доктора наук в Колумбийском университете или нет — вопрос отдельный, а в итальянской политике, нужно отдать ему должное, он разбирался отменно.

— Это волшебная сказка, — говорил Ниточкин. — Мечта диктатора, превращенная в кошмар. Подумайте только: у санмаринцев парламент из шестидесяти мест, который называется Большой и Генеральный совет. Выборы в него проходят каждые пять лет прямым голосованием. Парламентарии, в свою очередь, выбирают из своих рядов двенадцать членов Государственного конгресса. Каждые шесть месяцев члены Большого и Генерального совета выбирают двоих номинальных глав государства, которые называются «Il capitani regenti». Оба капитана-регента должны одобрить любое решение Государственного конгресса. Можете себе представить этот сумасшедший дом? Плюс армия численностью в тысячу человек, чтобы защищать страну от вторжения каких-нибудь диких козлотуров.

— А у них есть коммунистическая партия? — спросил настройщик. Ночной митинг коммунистов в Болонье ужаснул его — и его, и других беженцев.

— Интересно, что вас это так волнует, — ответил авантюрист. — Да, у них есть нечто под названием «Коммунистическая реформистская партия», по сути, бывшая коммунистическая партия. И целая связка социалистических партий. А также «Христианские демократы», «Народный альянс» — обычные партии центра и чуть правее. До 1943 года у них была фашистская партия.

— О, боже, — сокрушалась моя бабушка. — Какой позор!

— Во всей Италии была фашистская партия, — сказал Ниточкин с тающей улыбкой, — что не помешало Сан-Марино стать убежищем для десятков тысяч беженцев, многие из которых были евреями. В Италии все сложнее, чем некоторым хотелось бы думать. И уж гораздо сложнее, чем в Америке, в вашей будущей обители, моя драгоценная.

Автобус стал замедлять ход, по мере того как мы подъезжали к границе Сан-Марино. «Добро пожаловать на землю свободы», — гласили транспаранты на итальянском. Автобус поднялся по винтовой дороге и свернул на широкую парковку, предваряемую щитом с надписью «Parcheggio 2». Там толпились туристические автобусы. Парковка была горлышком бутылки, ведущим к капканам для туристов, в которые мы готовы уже были ступить.

Прежде чем открыть дверь, Ниточкин сделал объявление.

— Вы должны вернуться сюда к трем часам. И водитель только что сказал мне, что нам с вами страшно повезло: сегодня ежегодный Парад Дочерей и Сыновей Сан-Марино. Так что везде толпы гуляющих. Имейте это в виду, когда будете рассчитывать время. Помните, леди и джентльмены беженцы, мы никого не будем ждать. Опоздаете — будете сами добираться домой. Buona giornata!

Наши попутчики, включая Ирену с семейством и моих бабушку, тетю и кузину, уже взбирались по ступенькам, ведущим к городским воротам Сан-Марино. Мы с родителями все еще стояли на месте, глядя на вершины Монте-Титано, каждая из которых венчалась башенкой. Мы медленно надкусывали свои красные яблоки. Это было наше собственное, частное время, передышка от коллективных мероприятий.

— Я бы лучше посмотрел византийские фрески в Равенне, — сказал отец. — Или же съездил в Римини.

— Мои дорогие, — сказала мама, обнимая нас с отцом. — Мы будем в Венеции сегодня вечером, вы можете в это поверить? В Венеции! С гондолами и голубями на Сан-Марко. Это все… это как сон.

— А я все время думаю о стихах Пастернака о Венеции: «Вдали за лодочной стоянкой/ В остатках сна рождалась явь./ Венеция венецианкой/ Бросалась с набережных вплавь», — прочитал отец по памяти. — Вот как я представляю ее, Венецию.

— Пошли, мечтатели, — сказал я родителям. — Сан-Марино не Флоренция, но и здесь есть что посмотреть. А в час мне нужно быть в одном месте, так что у нас с вами два свободных часа.

— У тебя свидание? — спросила мама.

Я промолчал.

Преодолев несколько лестниц и раскручивающихся улиц, мы очутились у ворот Св. Франциска, за которыми лежали пределы старого Сан-Марино. Еще несколько лестниц, улиц и подъемников привели нас к первой башне на вершине Монте-Титано, откуда видны были и обещание адриатической голубизны, и хмурые холмы, и тугие кольца виноградников, и сочно-зеленые долины, окружающие крошечную республику. Виды Сан-Марино были вполне привлекательны, но от них не перехватывало дыхание, и мы решили не подниматься на остальные две башни. Соскользнув по спирали вниз, через некоторое время мы оказались в историческом центре республики. Указатели вели к базилике, где были захоронены останки основателя Сан-Марино, и мы побрели в ее сторону. Самым внушительным зданием был Палаццо Публико с грозной башней и зубчатыми стенами; здесь заседал парламент Сан-Марино и работало правительство республики. Вспоминая по прошествии двух десятилетий о Сан-Марино, я представляю себе нечто, напоминающее диснеевский парк или же псевдоготический замок вроде того, что построен в Сан-Симеоне, в Калифорнии. В историческом центре располагались небольшие музеи, предлагающие усталому путнику взглянуть на старинные доспехи, разнообразные инструменты пытки вроде дыбы или испанского сапога, — вот, собственно, и все. Потом была еще главная площадь — Пьяцца делла Либерта, забитая безвкусно украшенными сувенирными лавками и киосками. Продавали в них в основном футболки, шляпы, сумки и разнообразные безделушки с эмблемой Сан-Марино — тремя макушками с башнями на них. Везде рекламировались сладкие вина и коньяк здешнего разлива, сделанный из местного мускатного винограда. С рекламы в окнах на нас смотрело крупное лицо мужчины в двууголке; его правая рука высовывалась из-под жилета на животе, а левая была заложена за спину. «Самые низкие цены на коньяк в Европе», — гласили надписи. Мужчина в рекламе был одет в мундир с золотыми эполетами и огромной звездой на сердце.

— Может, купим коньяк? — мечтательно спросил папа.

— Хорошая мысль, — поддержал я его дурашливым голосом.

— Вы когда-нибудь слышали о хорошем итальянском коньяке? — спросила нас мама.

Вместо бутылки малоизвестного коньяка, носящего имя императора — защитника Сан-Марино, который спал по четыре часа в сутки и умер в изгнании у берегов Африки, мы купили бутылку минеральной воды, буханку рыхлого белого хлеба, немного свежего сыра и мешочек золотистого винограда. Отец вымыл виноград под струей воды, бившей прямо из древней городской стены, и мы устроили пикник на ступенях тенистой улицы, неподалеку от главной площади. Нашу провизию мы разложили на губастых камнях. Дело шло к часу дня, и я распрощался с родителями, договорившись встретиться в автобусе.

— Давай, сынок, не подведи нас, — сказал отец, изобразив на лице одну из своих ироничных полуулыбок. — Но держи себя в руках.

Поцеловав маму на прощание, я направился к Палаццо Пубблико, где мы с Иреной заранее договорились встретиться. Свернув из прохладной улицы на залитую солнцем площадь, я шел мимо траттории со столиками под открытым небом. И вдруг, как это нередко случается в волшебных сказках о любви, разлуке и погоне, за угловым столиком со сверкающей скатертью, тарелками спагетти и бокалами красного вина я увидал мою вездесущую тетю с дочкой в компании очень красивой женщины с темно-рыжими волосами, слегка раскосыми глазами и утонченным, хотя и немного наивным лицом.

Я оказался прямо перед их столиком. Это была семейная засада, пути назад не было, и к тому же меня распирало желание знать, что эта рыжегривая красотка делает в компании моих родных. В свойственной ей гиперболической манере тетя представила меня как «блестящего студента» и «юного поэта». Женщина, столь заинтересовавшая меня, свободно говорила по-английски, а также немного и по-русски. Она была родом из Будапешта, вышла замуж за гражданина Сан-Марино и переехала сюда в конце 1970-х. Как моя тетя с ней познакомилась и почему красотка пригласила ее на ланч, я понятия не имел, однако после скрипача, вывезенного из России в маньчжурском кофре, меня уже ничего не удивляло. Красотка предложила мне присоединиться к ним за столиком, но я не мог, несмотря на соблазнительные перспективы такого знакомства.

— А где бабушка? — спросил я тетку полушепотом.

— О, она осматривает Музей истории, — ответила тетя громким голосом, словно для советской беженки семидесяти трех лет от роду было более естественным изучать историю Сан-Марино, чем уплетать только что приготовленные спагетти из ароматно дымящихся тарелок. — Мы с ней уже скоро встречаемся, — пояснила тетя.

Я испытал тревожное ощущение несоответствия слов и действительности, хорошо зная, что чувство времени часто подводит мою тетю. Но на этот раз решил промолчать. Я боялся опоздать на рандеву с Иреной, а к тому же было бы некрасиво спорить с тетей на глазах этой красотки, которая, сама того не желая, прыгнула через барьеры и попала на страницу семейного абсурда в чужой книге жизни. Я только улыбнулся, помахал им рукой на прощание и удалился.

В темном невысоком проеме под аркой Палаццо Публико, куда пряталось эхо, когда солнце стояло в зените, мы с Иреной встретились, словно два конспиратора.

— Ну, что ты сказала родичам? — спросил я, беря ее за руку.

— Сказала им, что иду с тобой в местный исторический музей смотреть знамена Гарибальди. Папе эта идея, похоже, приглянулась. А мама только закатила глаза.

— А как отреагировал мой горячий поклонник, твой бдительный брательник?

— Он просто мальчишка, — ответила Ирена с нежностью. — Давай, побежали.

Мы прошли через ворота Старого города, сворачивая куда-то вправо, в направлении громадного луга, граничащего с оливковой рощей. Трава под деревьями была прохладной и все еще чуть-чуть влажной от росы. Или, возможно, прошлой ночью здесь прошел дождь.

Я расстелил поношенную джинсовую куртку в тени оливкового дерева. Встряхнув головой, Ирена распустила свои кисейные кудри. На ней была блузка без рукавов с перламутровыми пуговками спереди и круглым открытым воротом; такие были в моде в Италии в то лето. Желтая юбка едва покрыла ее колени, когда она уселась на мою джинсовку.

— Наконец-то, — сказал я, наслаждаясь моментом долгожданной свободы и одновременно думая, что у нас всего-то часа полтора.

— Наконец-то, — сказала Ирена, пародируя мою интонацию. Она сорвала стебелек какого-то злака и стала щекотать мне затылок и за ушами. — Ну и что ты будешь со мной делать, московский мальчик?

— Что я буду с тобой делать? — отвечал я вопросом на вопрос, придвигаясь ближе к ней. — Я тобой овладею — прямо сейчас.

— Хм-м-м… Как соблазнительно, — сказала Ирена и прилегла на бок, опершись на правый локоть.

Я лег рядом, перенеся вес головы на открытую ладонь.

— Вот ты сейчас мной овладеешь, — продолжала Ирена, пока еще игриво. — А что потом?

— А потом… а потом…

— Потом ты уедешь в Новую Англию, а я в Калифорнию, и мы, возможно, никогда больше не увидимся, — Ирена внезапно посерьезнела.

— Но… но… что если? — я почувствовал, что не смогу ничего придумать, чтобы спасти положение.

— Испугала тебя, а? — Ирена рассмеялась, возвращая голосу игривость.

— Немного.

— Все дело в том, что ты мне нравишься, московский мальчик. Ты мне очень-очень нравишься.

Мы принялись целоваться, а моя блуждающая рука развязала тесемку на вороте и расстегнула верхнюю перламутровую пуговку на ее блузке. «Вот, наконец-то», — подумал я, когда рука Ирены крепко обхватила меня за шею. Я перекатился на живот, чтобы поцеловать ее шею, пахнувшую оливками и летним горным ветерком. И был уверен, что близок к цели, когда расстегивал последнюю пуговку и размыкал крючочки, проклиная все застежки на свете, почти забыв, что Ирена в кружевном лифчике и желтой юбке не была частью меня, забыв, что я нахожусь не на кварцевом балтийском пляже, а в оливковой роще в Сан-Марино. Вдруг я услыхал очень громкое шипение и скрип, и итальянские слова стали извергаться откуда-то у нас над головой. «Attenzione! Attenzione! — неслось с высоких городских стен. — Говорит система экстренного оповещения граждан Сан-Марино. Пожалуйста, прослушайте объявление. Пожилая женщина из России ищет свою семью. Придите за ней в радиостанцию в Палаццо Публико».

— Кажется, мне нужно идти, — сказал я, отстраняясь от Ирены и садясь.

— Куда идти?

— Думаю, это моя бабушка. Похоже, она потерялась, или попала в беду, или не знаю что, — говорил я, стряхивая травинки и сухие оливковые листочки.

— Как она могла потеряться? — спросила Ирена, надувая губы. Она застегивала перламутровые пуговки на блузке и пропустила одну, отчего ворот искривился.

— Не знаю. Прости. Но я должен идти.

— Откуда ты знаешь, что это именно твоя бабушка?

— Они сказали «vecchia signora russa». У меня нехорошее чувство. Еще с тех пор, как я встретил тетю в траттории на площади.

— Она же всегда вместе с твоей тетей и сестренкой. Да они просто… неразлучны. Я представить себе не могу, чтобы что-то случилось.

— В том-то и дело. Извини, Иреночка. Увидимся потом.

— Возьми свою куртку.

«Разиня. Неудачник, — эти слова вертелись в голове, пока я стремительно пересекал луг и перескакивал со ступеньки на ступеньку по дороге к городским воротам. — Неудачник, ты проиграл!» А другой голос говорил: «Это твоя кровь, твоя родня, она тебя растила и читала тебе стихи Есенина, когда ты был маленьким. Беги, бессердечная крыса». «Но ее блузка была почти расстегнута, — спорил первый голос, пока я преодолевал ступеньки и выходил на дорогу. — Она была уже твоя. Ну как ты мог сбежать в последний момент?»

Невдалеке от ворот Св. Франциска я увидел родителей, сидевших в расслабленных позах на каменной скамье и поедающих мускатный виноград.

— Вы слышали? Это же бабушка! Нужно что-то делать! Она потерялась, — закричал я на всю округу.

Отец открутил крышку пластмассовой бутылки и спокойно предложил мне воды. Мама также выглядела невозмутимой.

— Мама, — сказал я, — нужно что-то делать. Нужно ее спасать.

— Она не потерялась, — ответила мама. — Она просто запаниковала, потому что твоей тети нет у нее под рукой.

— Что случилось?

— После того как ты убежал на свидание, мы с папой поболтались еще по магазинам, купили ему соломенную шляпу — такую, как он всегда хотел, — потом пошли купить еще фруктов и тут-то наткнулись на бабушку. Она была одна и явно в расстроенных чувствах. Она сказала, что твоя тетя и твоя сестренка потерялись и мы должны срочно пойти на поиски. «Нужно обратиться к властям, — настаивала она. — Власти должны вмешаться».

— А вы? — я все еще не мог отдышаться.

— Я ей попыталась объяснить, что, во-первых, они не могли потеряться. Скорее всего, твоя тетя опоздала или потеряла счет времени, как это обычно бывает. Но бабушка и слушать ничего не хотела. «Я иду к властям», — твердила она. Пришлось нам с папой показать ей, где заседает местное правительство. Ты же знаешь, что она бывает непереносимо упрямой.

— Она хотела, чтобы мамочка пошла с ней к одному из капитанов-регентов, — в тон маме продолжал отец. — Персональным переводчиком.

— Подождите, я все-таки не понимаю, что же произошло, — сказал я.

— Возможно, произошло то, что они договорились встретиться, твоя тетя как всегда опоздала, а бабушка начала психовать, — ответила мама. — Поэтому она, наверное, решила помучить мою сестру в отместку за то, что та опоздала. Все это просто такая нелепость! Как можно потеряться в кукольном городке, обнесенном крепостными стенами?

— Мы ей сказали, что будем сидеть здесь и ждать до половины третьего, — добавил отец. — Единственный путь к автобусу — через эти ворота. Она прекрасно знает, где мы находимся.

И вместо того чтобы забрать бабушку из Палаццо Публико, я присоединился к родителям, сел на каменную скамью и принялся уплетать золотистые виноградины.

Минут через десять громкоговорители снова ожили: «Attenzione! Attenzione! Говорит система экстренного оповещения граждан Сан-Марино. Пожалуйста, прослушайте объявление. Пожилая женщина из России ищет свою семью. Придите за ней в радиостанцию в Палаццо Публико».

— Что они там говорят? — спросил отец. — Я понял только «синьора» и «русса».

И в этот момент, вопреки постулату Аристотеля о соотношении возможного и вероятного в искусстве, голос моей бабушки прорвался в эфир на середине предложения вместе со скрежетом и шумом потасовки в радиорубке.

— Потерялась дочка. Дочка и внучка. Возможно, это похищение. Их нужно спасти! — истерические вопли моей бабушки плыли над стенами Сан-Марино.

— Aspetate, aspetate, — встрял мужской голос диктора, сопровождаемый шипеньем и звуками возни.

— Дайте говорить! — звучно произнесла бабушка. — Фашисты!

— Ни фига себе, — сказал отец, сжимая в руке кисть винограда. — Она в эфире. Живьем. Еж твою двести.

— Спасите моих детей! — взывала бабушка. — Я требую, чтобы правительство Сан-Марино предприняло что-то прямо сейчас. Немедленно. Это дипломатический скандал. Это возмутительно! Я заставлю вас за это ответить. Доченька, где ты?

Как долго бабушкины речи сотрясали эфир Сан-Марино? Минут пять, десять? Кроме русских фраз, которыми она старалась более или менее связно передать свой страх за жизнь потерявшихся дочери и внучки, бабушка попыталась вспомнить и другие языки, на которых она когда-то говорила или которые изучала, но с тех пор уже успела позабыть.

— Майн либе тохтер, — жаловалась бабушка на идише. — Моя донька, коханая моя, — певуче тянула она по-украински. — Згода, едношчь, братерсво, — декламировала она по-польски. И в конце выдала на немецком: — Вас ист дас? Доннер-веттер!

Исчерпав весь свой запас нерусских выражений, бабушка вернулась к русскому, придав вощеному паркету памяти трагедийный блеск.

— Я страдала во времена Сталина, — распространялся ее голос по воздушным волнам Сан-Марино. — Я училась с отличием в Харьковском университете. Меня пригласили во Дворец правительства на прием, и сам Григорий Петровский, а он был большой человек, председатель ЦИКа Украины, вручил мне денежную награду. У меня есть фотография, где он жмет мне руку. А потом, в 1939-м, товарища Петровского сняли, и я не спала всю ночь, искала эту фотографию, потому что боялась, что и меня арестуют. Я вырезала его ножницами из снимка. О, люди Сан-Марино, как я настрадалась!

Тут бабушкин голос совершил еще одну модуляцию — от лирики к дымному гневу.

— Ты слышишь меня, мерзавка? — закричала она. — Я растила тебя, заботилась, а ты теперь меня бросаешь посреди Сан-Марино! Дети — это неблагодарная саранча. Дети — сволочи, обманщики и негодяи. А за границей — вдвойне сволочи.

Перегретый голос моей бабушки транслировался по всему Сан-Марино с помощью радио службы спасения, предназначенного для того, чтобы призвать к оружию всех жителей маленькой республики в час, когда враг покажется у предгорий Монте-Титано.

— Почему никто ничего не делает? Я требую, чтобы мне дали ответ! — орала бабушка. — В СССР я была экономистом, важным человеком в Министерстве энергетики. У меня было тридцать подчиненных. Две секретарши. Сам министр знал мое имя.

В этот момент мама стала умирать от стыда перед нами, перед жителями Сан-Марино, перед всем миром.

А бабушка тем временем уже начала перечислять поименно всех знаменитых итальянцев, о которых она слыхала еще в СССР. В основном это были персонажи из кино, музыканты, политические лидеры и активисты левого крыла: Феллини, Мастрояни, Софи Лорен, Клаудия Кардиале, Верди, Доницетти, Пуччини, Робертино Лоретти, Тольятти, Грамши, Джузеппе да Витториа, Сакко и Ванцетти. Затем она припомнила Муссолини, чтобы усугубить эффект.

— Это фашистское гнездо, — рыдала она. — Помогите, они уже отлавливают евреев. Помогите! SOS, SOS, SOS!

В этот момент слова диктора «una vecchia stalinista» («старая сталинистка») и бабушкин крик «Хулиганы!» слились в одном потоке звуков, издаваемых сразу двумя громкоговорителями, закрепленными на вершине городских ворот Сан-Марино, после чего система экстренного радиооповещения затихла.

Пару минут мы сидели на каменной скамье, механически жуя виноград, не говоря ни слова. Тишину нарушил мой отец:

— Это был сильный номер.

— Не смешно, — сказала мама. — Это позор. Теперь все в Ладисполи будут об этом говорить.

Уже давно пробило два часа, и вот, наконец, тетя с кузиночкой материализовались у ворот. Тетя была в новом итальянском платье, которое она надела в то утро, вся в оборочках, вся трепещущая, как цирковая лошадь.

— Где она? — спросила нас тетя.

— Она в Доме правительства, — ответила мама. — Ты опоздала больше чем на час.

— Я побегу за ней туда, — сказала тетя, сверкая глазами. Оставив дочку с нами, она проследовала через ворота и дальше вверх по улице.

След ее еще не простыл, как мы услыхали звуки музыки, какой-то бодренький марш. Маленький оркестр появился из-за поворота дороги справа от нас. Музыканты прошли мимо нас вверх по дороге, вдоль старых городских стен. За оркестром маршировала процессия, состоящая из мужчин в белых курточках, голубых штанах и шляпах с перьями и женщин в бело-голубых платьях. Мужчины несли знамена, а женщины размахивали бело-голубыми флажками Сан-Марино с тремя пиками с башенками внутри золоченых гербов. За процессией Сыновей и Дочерей Сан-Марино проследовал взвод солдат в двууголках, с ружьями и деревянными штыками. Неужели они все изображали Наполеона на Аркольском мосту? Шествие замыкала шеренга аккордеонистов, игравших раскатистые песни, в белых форменных рубашках, коротких штанах с помочами и в забавных голубых беретах.

Вслед за ними из-за угла показалась и моя бабушка. Она брела по дороге, как отставший демонстрант, бесцельно глядя по сторонам. В кофте навыпуск, в красно-голубой панаме, свернутой набок, она напоминала итальянскую рыночную торговку фруктами в конце утомительного дня, после беспрестанного взвешивания персиков и слив. Но еще больше она походила на усталого генерала, подавившего мятеж и дико взирающего на небеса и городские стены, будто бы говоря им: «Придет день — и вы падете».

В левой руке она сжимала бутылку дешевого местного «Наполеона». То и дело отхлебывая из горлышка, бабушка следовала за процессией, распевая «Подмосковные вечера».

— Она не потерялась, — объявила нам бабушка. — Нет, нет и еще раз нет! Она бросила меня, дрянь такая. Я ненавижу ее, я отказываюсь от нее. Поганка!

Плюхнувшись рядом с папой на скамейку и положив голову ему на плечо, она стала всхлипывать:

— Ради нее я отказалась от любви, — сказала бабушка, и голос ее задрожал.

— Мамочка, мы все знаем эту историю, — сказала моя мама.

— Нет, дай мне закончить. Ты никогда не даешь мне говорить. После того как мы с твоим отцом развелись, я встретила мужчину на курорте, на Северном Кавказе. Мы оба страдали пониженной кислотностью. Он был вдовец, на десять лет старше меня, еврей, очень достойный мужчина. Жил он в Ленинграде.

Бабушка поправила свою панамку. Бутылку коньяка она зажала между коленей, но больше не отпивала.

— Ты этого, наверное, не помнишь, — сказала она, повернувшись к моей маме. — Я поехала к нему в Ленинград. Тебе было семнадцать, твоей сестре десять. Я отправила вас на весенние каникулы к брату за город. Этого человека звали Вениамин. Какой элегантный мужчина! Профессор политехнического института, со своим автомобилем. Вы понимаете, мне было сорок два, сорок два. Это было во время оттепели; Сталин умер, мы все еще надеялись… И я поехала к нему в Ленинград. Он приносил мне завтрак в постель. Творог, свежайший, с рынка. Он пел и играл на фортепиано. Для меня. Это было непередаваемо, как в кино. Ничего подобного с твоим отцом. У меня этого никогда раньше не было.

— Чего этого, бабуля? — спросила моя одиннадцатилетняя кузина.

— Тише, детка. Не было… Такого мороженого, такого сладкого мороженого, — говорила бабушка, а слезы струились из ее серо-голубых глаз, которые отказывались стареть вместе со всем организмом.

— Он сделал мне предложение. Но я наступила себе на горло. Нужно было растить дочерей, давать им образование. И что теперь? Что я получила взамен? Вот это? — указывая вперед, на три вершины Монте-Титано, она трясла своей бутылкой.

— Мама, — сказал отец бабушке, — почему бы нам всем не выпить «Наполеона»? За вашу победу над Сан-Марино.

— Бабуля, все будет хорошо. Мы тебя все любим, — сказала кузиночка. Ее остриженные кудри отросли за два месяца в Италии.

Тут через ворота галопом проскакала моя тетя, и начались слезы радости и воссоединения. Все трое — бабушка, тетя и кузина — обнимались и целовались, прыгали от радости, а мы сидели на каменной скамье и созерцали всю эту сцену. Мне с родителями не было места в этом спектакле семейной любви, где искусство и жизнь неразделимы.

К этому времени группы беженцев из нашего автобуса стали проходить мимо нас сквозь ворота Св. Франциска. Я увидел среди них Лану Бернштейн с новым ухажером, математическим гением в полосатой рубашке с короткими рукавами. «Только бы Ирена не прошла мимо», — думал я.

Мы сидели на каменной скамье, взирая на долину, где наполеоновские войска когда-то стояли в нерешительности. Коньяк обжигал глотку и успокаивал, но и ему было не под силу смыть с гортани застарелый привкус семейных проблем, место которым у психоаналитика на диване. Мы последними забрались в автобус, отъезжающий в Венецию. Через три часа пурпурные голуби Сан-Марко приветствовали победоносные наполеоновские войска.

**ИНТЕРЛЮДИЯ**

**Литература — это ЛЮБОВЬ**

Вскоре после переселения в Ладисполи мы открыли для себя русскую библиотеку, где выдавали книги на дом. Она располагалась в местном центре для еврейских беженцев, который на самом деле был не центром для беженцев, а офисом из трех катакомбных комнат, кое-как обставленных, с двумя или тремя файл-кабинетами между столов, факсом и копировальной машиной. Двое иранских евреев в авиаторских очках завладели комнатами и пользовались ими, как частной конторой. Никто не знал, чем они занимались; никто не задавал лишних вопросов. Ленивый и безразличный чиновник ХИАСа приезжал из Рима раз в неделю, устраивался в одной из комнат и курил; иногда с ним приезжала дамочка на убийственных шпильках. Беженцы получали денежное пособие не в центре, а в местном банке. Вместо того чтобы выполнять обязанности канцелярских служащих и любезных библиотекарей, еврейско-иранские братья (которые, как выяснилось потом, и в самом деле были родными братьями) всячески препятствовали нашим посещениям беженского центра и библиотеки. Ходили даже слухи, что один из них назвал еврейскую даму из Гомеля «нечистой шлюхой». Вот только непонятно было, как она могла: а) услышать эти слова, которые иранец произнес тихим шепотом; б) понять их, если он говорил на фарси. Но антииранские настроения нарастали в кругах наших беженцев.

Вся библиотека занимала даже не комнату, а пять книжных шкафов. ХИАС, по-видимому, приобрел собрание книг у какой-то эмигрантской вдовы в Нью-Йорке и отправил всем скопом в Ладисполи, даже не проверив, что там было. Как иначе объяснить, почему наряду с эмигрантскими классиками Буниным и Алдановым в собрании оказалось репринтное издание «Протоколов сионских мудрецов», выпущенное в 1920-е годы в Париже. Подбор книг и журналов был вполне предсказуемый. Были там неполные выпуски и разрозненные номера нью-йоркских периодических изданий — «Нового журнала», «Воздушных путей» и др. Кроме художественной прозы, биографий и сборников поэзии в библиотеке находились книги, которые эмигранты первой и второй волны печатали в самых разных местах рассеянья — от Берлина до Монтевидео. К последней категории принадлежал и «Новый полный сонник».

Даниил Врезинский, сын знаменитого драматурга и бывший политзаключенный, который помог нам найти квартиру, привел меня в ХИАСовскую библиотеку на второй день после переезда в Ладисполи. Из одного книжного шкафа он извлек экземпляр «Весны в Фиальте» — третий русский сборник рассказов Владимира Набокова. Два уголка коричневатой обложки из тонкого картона оторвались, но в целом книга была в хорошем состоянии.

— Это издание 1956-го года, оригинал, — сказал Даниил, поглаживая обложку. — Издательство имени Чехова. Стоит немалых денег. Местные варвары ее уничтожат рано или поздно.

Похоже, что экслибрис с внутренней обложки срывали второпях: верхняя часть с именем и фамилией бывшего владельца и эмблемой отсутствовала, а вот нижняя часть сохранилась. На ней был адрес в Рего Парке, Нью-Йорк. В то время я понятия не имел, что Рего Парк — район Квинса, и рисовал в голове городишко где-нибудь на Лонг-Айленде.

Я до сих пор испытываю прилив радости, когда пробую на язык эти слова, печатая их (теперь уже в обратном переводе на родной язык): *читая «Весну в Фиальте», я испытывал чувство любви.*  Сколько помню себя, мой отец любил повторять девиз Набокова: «Литература — это Любовь». Отец выбрал эти слова эпиграфом к мемуарному роману, который начал писать в Москве зимой 1986-го, пережив инфаркт и самые худшие месяцы преследования органами госбезопасности. Роман этот назывался «Друзья и тени», и в нем отец хотел воздать должное своей ленинградской литературной молодости времен хрущевской оттепели. Потом, в Америке, уже учась в аспирантуре, я обнаружил, что этот эпиграф взят из самого начала романа «Отчаяние», который Набоков написал в 1933-м в Берлине. Мой отец цитирует набоковский афоризм не полностью. В русском тексте он выглядит следующим образом: «Во-первых, эпиграф, но не к этой главе, а так, вообще: литература — это любовь к людям». В 1936-м в Берлине Набоков сам перевел «Отчаяние» на английский, и перевод вышел в Лондоне двенадцать месяцев спустя. В переводе из начала седьмой главы выпали слова «к людям», а осталась «Любовь» с заглавной буквы: «То begin with, let us take the following motto (not especially for this chapter, but generally): Literature is Love». Во втором варианте набоковского перевода «Отчаяния» начало седьмой главы было в точности сохранено, хотя по сравнению с английским переводом 1936 года в опубликованный в 1966 году вариант Набоков внес существенные изменения. Таким образом, мой отец цитирует слова Набокова в том виде, в каком они присутствуют в английских вариантах перевода, но не в русском оригинале. Как же отец мог процитировать по-русски слова Набокова, которые в то время мог прочитать лишь по-английски и которые совершенно определенно не читал? (Отец стал читать художественную прозу по-английски только после приезда в Америку.) Более того, я уверен, что отец мог найти афоризм Набокова лишь в нелегально ввезенном в СССР репринте берлинского русского издания 1936-го года; этот ардисовский репринт 1978 года кто-то из знакомых-отказников давал отцу почитать еще в Москве. В предисловии к изданию английского текста 1966 года Набоков говорит о «предчтении» («forereading»), и мне думается, что моему отцу удалось каким-то образом «предчесть» американскую посмертную жизнь русского афоризма Набокова. Но не пора ли завершить это литературное отступление и вернуться в июнь 1987-го, в Ладисполи?

Библиотечный экземпляр «Весны в Фиальте» я взял с собой на пляж. Я шел продуваемый ветрами, а на шее полыхало полотенце с зелеными, красными и черными полосками наподобие трехцветного флага какой-то анархистской тропической державы на мачте шхуны. В Ладисполи весь мой пляжный гардероб состоял из трех футболок и пары выцветших шорт — джинсов в далеком прошлом. Я презирал крем от солнца и на пляже щеголял в плавках того самого стиля, который моя жена-американка называет «мешочек с галькой». Я был тогда очень худой, отчасти из-за недавней язвы двенадцатиперстной кишки, отчасти от тогдашнего всесжигающего обмена веществ. На животе у меня еще сохранялись оставшиеся со времен прошлогодней двухмесячной экспедиции на юг России и Северный Кавказ следы рифленых мышц, какие в Америке называют «шесть банок пива в упаковке». В то время я еще не носил очков с диоптриями. Шагая к пляжу с редкой книгой Набокова под мышкой, я, наверное, ощущал себя одновременно и библиотечным хлюпиком, и этаким парнем с набережной из тех, кому библиотечные хлюпики втайне завидуют.

Загроможденный русскими отрезок тирренского пляжа стал моим читальным залом. Разумеется, читал я и в других местах: под резными тенями каштанов; на балконе нашей квартиры; в поезде, мчащем меня в Рим или обратно; и даже в ожидании моей итальянской пассии на заднем сиденье ржавого «Мустанга». Но книгу рассказов Набокова я проглотил именно на пляже, в первые дни в Ладисполи, и эта книга в каком-то смысле изменила мою жизнь.

Когда мы уезжали из СССР, книги Набокова, запрещенные до 1986 года, только начинали свое триумфальное возвращение. До эмиграции я прочитал роман «Пнин»: в феврале или марте своей последней советской весны читал всю ночь напролет изданную за границей книгу, которую кто-то одолжил родителям на два дня. Я тогда читал «Пнина» не в оригинале, а в переводе Геннадия Барабтарло, к которому приложила руку и вдова писателя Вера Набокова (Слоним). Американское издательство «Ардис», переиздавшее репринтно многие эмигрантские книги Набокова, выпустило перевод «Пнина» в 1983 году. Эти запрещенные ардисовские издания в мягких одноцветных обложках попадали в СССР в багаже иностранных туристов или же в сумках дипломатов и начинали свое подпольное хождение. Читая до рассвета «Пнина» в русском переводе, я ощущал, что проза необычайно насыщена чем-то, что я не мог тогда ясно определить, какой-то пьянящей словесной свободой. Местами русский язык переводчика чересчур выгибал спину, будто евнух, хлопочущий над той или другой прелестницей в гареме властелина. Но какой гарем!

Мне почему-то запомнился один эпизод. Уже за полночь, я читаю в постели и слышу доносящийся из родительской спальни разговор: «Она ночью приходила к сестре в постель… только что умерла в родах в Италии… как брат и сестра… хотел ее… это случается, ты знаешь…» Я тогда не знал, а только потом понял, что мои родители обсуждали сцену из «Подвига», одной из моих самых любимых вещей Набокова, которую я прочитал в Италии сразу после «Весны в Фиальте». В этой сцене Соня-змея забирается в постель к Мартыну-мартышке, который ночует в спальне Сониной сестры в лондонском доме ее родителей. Мои родители, наверное, тогда посчитали, что мне рано читать о том, как преступают границы братско-сестринской любви.

Какие они были, рассказы в «Весне в Фиальте»? Мне слышались в них отголоски Чехова, особенно «Дамы с собачкой», в рассказе, давшем название всему сборнику. Но в то время я был убежден — и только потом, в Америке, осознал неправоту своего юношеского нигилизма, — что, в отличие от Чехова, Набоков возвышенно неморалистичен. Мне тогда ужасно нравилось отсутствие в рассказах Набокова всех этих разговоров о «новой, прекрасной жизни», которая таилась за углом приморской улочки и вот-вот должна была начаться. Кроме Чехова я чувствовал влияние старшего эмигрантского соперника Набокова, Бунина, особенно в тех местах, где Набоков описывал страсть и выводил из рассказов уже использованных персонажей. У меня и в мыслях не было, что Набоков мог учиться у русских классиков, особенно у Толстого.

Западные модернисты? Из того, что я прочитал еще в Москве в переводе, веяло чем-то прустовским. И еще на ум приходили Кафка и его беспощадная ясность дикции. Но большей частью рассказы в «Весне в Фиальте» были совсем *другие,*  непохожие ни на что из того, что я раньше читал. Я подозревал, что нечто в этом роде могло существовать, но не в книгах русских писателей. Среди моих друзей, питавшихся всем, что можно было достать в переводе, я слыл аномалией, чуть ли не русофилом. В те времена мой лучший друг Миша Зайчик ходил по Москве в поисках старых выпусков «Иностранной литературы», находил переводы Музиля, Томаса Вульфа, Кавабаты и отдавал их в переплетную, чтобы сохранить навек.

Чтение русских рассказов Набокова в Италии, через пару недель после эмиграции из Советского Союза, было сродни потере невинности. Это чтение одновременно будоражило и опустошало. Молодой беженец, лишенный своей естественной среды, я нуждался как раз в том, чтобы меня соблазнили и унесли в иные стихии. И рассказы Набокова это сделали. Утоление этой жажды на средиземноморском курорте, на пляже, который заполонили одесские цирковые трюкачи с крикливыми женами и горланящими чадами, было для меня уходом из трехмерного мирка с черным обжигающим песком, усеянным черешневыми косточками и окурками, исчезновением из обыденного пространства и переходом в иной средиземноморский курорт под названием Фиальта, где судьба сводит любовников лишь на последнее, изгнанническое свидание, где сочинители пьют «голубиную кровь» для бессмертия и буржуазный брак теряет смысл за краем вечности. В этом ином измерении сам ход времени можно остановить или даже преодолеть. Я помню, что рассказ «Весна в Фиальте» сразу же показался мне совершенством, будто лучше уже невозможно. Я выделил для себя еще один рассказ Набокова того же периода. Он называется «Облако, озеро, башня»; в конце стоит: «Мариенбад, 1937». Спустя три или четыре года, уже занимаясь его творчеством в аспирантуре, я узнал, что Набоков написал этот рассказ, покинув Германию навсегда. Он в то время переживал бурную любовную связь с русской парижанкой, и эта связь угрожала благополучию его брака. В ключевые минуты набоковский рассказчик присоединяется к главному герою, русскому эмигранту, которого он называет своим «представителем», чтобы вместе с ним вырваться из плоскости повествования и обратиться к кому-то со словами «Любовь моя! Послушная моя!» Адресат этих слов — любимая женщина, жена, далекая возлюбленная, феминизованная Россия… и сам читатель (читательница).

Когда я впервые читал эти набоковские рассказы, то чувство, которое я бы теперь назвал «контролируемым наслаждением», вовсе не казалось контролируемым в «Весне в Фиальте», «Облаке, озере, башне» и других лучших рассказах сборника. И вот еще парадокс. Мы только-только вырвались из полицейского государства, где моих родителей гноили и преследовали. И тем не менее меня вовсе не тянуло читать о политике. Я точно помню, что меня совсем не тронул самый нарочито политический рассказ в сборнике — «Истребление тиранов» — по сути, сатира — памфлет против сталинизма и гитлеризма одновременно. Но я сразу полюбил антинацистский рассказ «Облако, озеро, башня», потому что в нем Набоков изобразил тоталитаризм как коллективное обывательское насилие над частной свободной природой любви, над романтической ранимостью и беззащитностью героев. Мне лично в «Истреблении тиранов» не хватало некоего лирического начала — по крайней мере тогда, летом 1987-го, при первом прочтении. Через несколько лет мне пришлось припомнить свою первую реакцию на «Истребление тиранов». Я штудировал переписку Набокова с писателем Эдмундом Уилсоном, главным его американским адресатом. В письме от 30 января 1947 года Уилсон высказывает следующее наблюдение по поводу выхода в свет дистопического «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных»), первого американского романа Набокова: «Вы не сильны в такого рода предметах, связанных с вопросами политики и социального преобразования, поскольку Вас эти вопросы совершенно не интересуют и Вы в них по-настоящему так и не разобрались». Вне контекста эпистолярной динамики Набокова-Уилсона вердикт американца кажется слишком суровым, но в случае «Bend Sinister» он достаточно справедлив. Признаюсь, я и сам не научился *любить*  дистопические вещи Набокова, даже «Приглашение на казнь», в которой есть и любовь, и лиризм. Это пристрастное мнение, скорее всего, зародилось еще тогда, в тирренской пляжной читальне. Теперь уже, оглядываясь назад, я вижу, что так поразило меня тем ладисполийским летом в рассказах Набокова, да и в романе «Подвиг». Любовь, которую я ощущал, упиваясь набоковской прозой, была двойной: любовь к прозе Набокова и ответная любовь этой прозы — или же в обратном порядке. В узнавании замыслов автора и в том, как тебя самого узнают эти замыслы, заключалось двойное наслаждение — наслаждение от того, что ты становился частью текста и таким образом испытывал загадки бытия, которые открываются героям не только посредством политики и идеологии, а через секс, смерть и предчувствие инобытия.

Как странно и сладко вспоминать об этом теперь по-английски, а потом еще и подбирать подходящие слова для русского перевода. Идентифицировал ли я себя с Набоковым, читая его русскую прозу в Италии? Я и фотографии-то его не видел до приезда в Америку. Нет, не с ним, а с каким-то воображаемым, составленным из разных кусков образом писателя-изгнанника. С Набоковым ли я почувствовал такую кровную связь уже тогда, больше двадцати лет назад в Ладисполи? С самим Набоковым, настоящим, или же с какой-то сверхидеей писателя, выжженной на страницах его книг тавром любви к слову? В то время мне мало что было известно о его жизни. Я не читал ни одной критической статьи о нем. И то, что я знал о карьере Набокова, пришло ко мне из вторых рук. Мог ли я сопоставлять свою жизнь с его судьбой, когда мне столь мало было о ней известно? Знал ли я, что он уехал из России молодым поэтом, двадцатилетним аристократом, трилингвой с детства? Видимо, да, знал, но теперь уже мне кажется, что я идентифицировал себя тогда не с реальным Набоковым, а скорее, с его выдуманными, вторыми «я». Одно из них, поэт Василий Шишков — герой последнего русского рассказа Набокова — проделывает рембовское сальто-мортале и исчезает из Парижа в 1939-м, опускаясь в «гробницу» своих стихов. Случилось кинематографическое наложение одного времени на другое, и мне трудно отделить себя, читающего Набокова в Ладисполи, от себя сегодняшнего, об этом чтении вспоминающего (теперь уже в обратном переводе). На дворе середина июня, прозрачное бостонское утро, и за окном газонокосилки заглушают детские голоса на школьной площадке. Что я знал тогда в Ладисполи об американских годах Набокова? Только зыбкие очертания его бегства к славе: профессор-эмигрант в какой-то гомеровской глуши, потом бестселлерство «Лолиты». Его швейцарские годы? Ничего. Бабочки? Лишь дуновение крыльев, несущих легенду о нем через советскую границу. Знал ли я, что у Набокова жена еврейка? Думаю, что нет. А его неповторимый английский, наполовину им же самим изобретенный в порыве самокомпенсации? Он до сих пор выводит англо-американских писателей из себя. До приезда в Америку я не попробовал ни маковой росинки английской прозы Набокова, а «Лолиту» впервые прочитал не в оригинале, а в авторском переводе на русский. В то лето в Италии я думать не думал о том, чтобы оставить за кормой русский и перейти на английский. Мне хотелось сохранить все, что у меня было и чем я был — или же все, что мне тогда казалось мной и моим. Вот почему, читая сборник «Весна в Фиальте», я так сильно прочувствовал рассказ «Посещение музея», в котором русский эмигрант осознает невозможность физического возвращения в СССР. Это было и о нас, ожидающих — мы сами не знали чего — в Ладисполи. О нашем русском (советском) прошлом, и о том, что с ним станется. В Ладисполи все мы, беженцы, оказались пленниками в музеях времени, и чем скорее наступало осознание невозможности возврата, тем менее травматичным было освобождение от багажа прошлого.

Я раньше думал, что чтение Набокова было антидотом против шока, вызванного эмиграцией из России и приездом на Запад. Но теперь знаю, что ошибался. Чтение Набокова — это и был культурный шок. Я читал Набокова в ожидании Америки.

**8**

**Дядя Пиня, в гостях**

Как-то в начале августа, в полуденный зной, от которого плавилась память, я вернулся в Ладисполи из Рима. Сумка была битком набита рыночными трофеями — индюшатиной и акромегалическими овощами. Я переступил через порог квартиры и увидел, что на кухне за столом сидит дядя Пиня, мой двоюродный дедушка из Израиля, и пьет чай с тостами, джемом и рикоттой. Он вскочил, чтобы обнять и поцеловать меня, и его руки как клещи впились в мои плечи. Песчанистые скулы потерлись о мои губы.

— Садись, мой мальчик. Выпей с нами стакан чаю, — сказал дядя Пиня так, будто знал меня всю жизнь.

В нем было что-то обезоруживающе родное, но в то же время назойливое и бесцеремонное — то, что у меня ассоциируется со словом «мешпуха».

Я должен пояснить, что мы ждали дядю Пиню не раньше следующего дня. Он прислал телеграмму: «дорогие прилетаю рим послезавтра ваш пиня».

— Будто бы дожидался, пока мы не решим окончательно, куда нам ехать, — сказала мама, после того как синьора снизу принесла нам телеграмму, роняя пепел со своей тонкой сигареты на пурпурный пеньюар.

— Он не такой, мой дядя Пиня, — возразил папа. — Он идеалист; он был членом социалистического Интернационала. И работал с арабами в пустыне.

Ну работал, так работал.

Мама наказала мне купить побольше овощей и зелени: дядя Пиня был страстным вегетарианцем. Вместо того чтобы провести ночь в отеле в аэропорту «Шарль де Голль», дядя Пиня вылетел из Парижа более ранним рейсом в Милан, а оттуда прилетел в Рим, чтобы поскорее нас увидеть. Его чемодан путешествовал по Италии еще два дня, но у дяди Пини был с собой саквояж с туалетными принадлежностями, коробочкой для вставных зубов, сменой нижнего белья, старым «Бедекером», каким-то русским романом и фотоаппаратом. Он был чемпионом поездок налегке, но зато привез с собой тяжеленные семейные истории и гнетущее ощущение неизбежности и неотвратимости развязки.

Выражение «дядя из Израиля» было легендарным клише наших советских 1970-х и 1980-х. Заполняя заявление на выезд, людям иногда приходилось сочинять легенды о потерянных много лет назад, а теперь чудесным образом обретенных тетушках и дядюшках по матери или по отцу. А у нас был настоящий дядя, один из старших братьев моего покойного деда, который жил в Эреце еще с 1920-х годов. Легендарный дядя Пиня не был плодом фантазии, хотя многое из того, что нам было о нем известно, трудно было представить тогда в Москве. Социалист левого крыла (консервативного израильского премьер-министра Шамира он называл «вонючим карликом»), знаток арабского языка и друг бедуинов, атеист и эксцентрик, любитель русской литературы и эротического искусства. И вот теперь дядя Пиня сидел на кухне нашей ладисполийской квартиры. Он прилетел из Израиля, чтобы нас обнять. И узнать поближе. А может, и для того, чтобы уговорить нас отправиться с ним в Израиль, где родственники уже подыскали для отца место врача, а правительство спонсировало публикации литературных произведений репатриантов.

Впервые я услыхал о дяде Пине от моего отца, когда мне было девять лет, и родители одной ногой уже ступили в чистилище отказа. Мой отец, выросший в послевоенном Ленинграде, знал о дяде Пине от своей бабушки и от ее детей, которые остались в России. В 1930-е и 1940-е получение *брифа*  из мест, которые тогда именовались Палестиной, было крупным событием для всей нашей ленинградской родни. После 1949 года регулярная переписка с дядей Пиней прекратилась: все опасней становилось иметь родственников в Израиле.

К концу дяди Пининого визита в Ладисполи мы не только многое узнали о его жизни, но и сумели заполнить пробелы в общей истории нашей семьи, добавив то, что поведал он, к тому, что нам самим было известно. Пиня и его два младших брата родились между 1907 и 1911 годами в Каменец-Подольске или его окрестностях. В те годы Каменец-Подольск был крупным региональным центром юго-западной Украины. Первая жена моего прадеда — отца дяди Пини и его братьев — умерла, оставив двух маленьких детей. Владелец мельниц, успешный предприниматель, мой прадед женился на девушке, которой было уже двадцать пять, по тем временам старой деве, да еще из бедной еврейской семьи. Она вырастила его старших детей, мальчика и девочку, как собственных и принесла ему еще троих мальчиков — Пиню, моего деда Изю и Пашу. В каком-то смысле приемные дети были ближе моей прабабке, чем единокровные, и почти всю жизнь прожили бок о бок с ней.

В семье говорили на идише; дети владели разговорным украинским и польским, а позже в гимназии освоили литературный русский. Насколько я могу судить, дядя Пиня не очень ладил с отцом, который хоть и не сторонился современной жизни, но при этом уважал еврейские традиции. После *бар-мицвы*  дядя Пиня ни разу больше не молился и не ходил в синагогу, а к моменту нашей встречи в Ладисполи был заклятым врагом всех религий и религиозных институтов.

Пока дядя Пиня с братьями росли в Каменец-Подольске, режимы и оккупационные войска продолжали сменять друг друга: временное правительство, большевики, украинская Директория, деникинцы, войска Симона Петлюры, польские подразделения и снова большевики (на этот раз пришедшие уже надолго). К 1922 году дядя Пиня был убежденным социалистом и сионистом. Он хотел стать агрономом и заниматься сельским хозяйством. В 1924 году он отплыл из Одессы в Яффу на борту советского парохода «Новороссийск». Ему не суждено было увидеть больше ни родителей, ни трех из четырех своих братьев, ни единственной сестры. В конце 1970-х он смог повидаться с младшим братом Пашей в Венгрии.

В Палестине дядя Пиня выучился на землемера и стал работать. Он женился на женщине с Украины, и дома они говорили по-русски и на иврите. Двое Пининых сыновей родились в 1930-е годы, и младший из них был ровесником моего отца. К тому времени наша семья уже перебралась с Украины в Ленинград. Общаться с родственниками из находящейся под Британским мандатом Палестины было пока еще относительно безопасно, и оба брата, дядя Пиня и мой дед Изя, были в курсе ожидаемого прибавления в семьях друг друга и договорились дать детям одинаковые или похожие имена. У того и у другого родились мальчики, и обоих назвали в честь иудейского царя.

В конце 1930-х за излишнюю политическую левизну дядю Пиню уволили из британского землеустроительного департамента в Палестине. Больше всего его ужасала мысль о том, что нужно начинать собственный бизнес. Но делать было нечего, надо было кормить семью, и он открыл частную землемерную контору. Месяцами он трудился в пустыне. Я видел фотографии, где он запечатлен на верблюде, одетый в бедуинские наряды. Дядя Пиня был кристально честным человеком и пользовался хорошей репутацией как у евреев, так и у арабов. Он назначал самую низкую плату за свою работу и позволял себе брать из кассы только то, что оставалось после всех расходов. Его землемерный бизнес оставался неприбыльным вплоть до 1960-х.

Первая жена дяди Пини умерла в 1970-х, и он женился снова. Его старший сын не принял этого брака. Несмотря на это, дядя Пиня сделал старшего сына партнером в своей фирме, когда тот вышел в отставку из израильской армии. Постепенно сын стал заправлять делами, приобрел современное оборудование, поставил дело на широкую ногу. Дядя Пиня продолжал приходить в офис каждый день на несколько часов; считалось, что он заведует бухгалтерией. Он пережил и вторую жену, которая, как и он сам, приехала в 1920-е годы с Украины. Когда мы виделись с ним в Ладисполи, дядя Пиня был снова свободен и по-прежнему жаждал жить.

Мой отец переписывался с дядей Пиней с 1980 года. Дядя Пиня прислал ему письмо в Москву вопреки возражениям своего брата Паши. Между отцом и дядей Пашей пролегла давняя обида, еще со времен смерти и похорон моего деда. Переписка продолжилась, несмотря на все усилия дяди Паши опорочить отца, представив его чуть ли не уличным хулиганом. Каждые четыре-пять месяцев мы получали из Тель-Авива здоровенный конверт с длинным письмом и фотографиями. Я могу только гадать, сколько таких писем осело в бездонных архивах госбезопасности. Письма, временами граничащие с графоманскими излияниями и главами из неоконченной автобиографии, описывали житье-бытье наших родственников в Израиле и каждодневные страницы жизни самого дяди Пини. Он присылал нам посылки с немецкими туфлями на каучуковой подошве и немодными джинсами. В некоторых письмах содержались нелепые просьбы. Он просил нас разыскать родственников друга детства — украинца Павло, которые якобы до сих пор жили где-то в Подолии. В других письмах он столь ярко убеждал нас стать вегетарианцами, что мы лишь задавались вопросом, известно ли дяде Пине, как трудно достать в советских магазинах даже самые необходимые продукты. В письмах он представал стойким либералом, откровенным донельзя, романтиком без страха и упрека, точно таким, каким он мне показался в Ладисполи, когда мы пили чай с тостами, рикоттой и абрикосовым джемом. Пиня обращался к нам с такой доверительностью, что казалось, по крайней мере поначалу, будто бы семья вовсе не раскололась после его отъезда в Палестину в 1924 году. Он сразу же настоял на том, чтобы не только мой отец — его племянник и сын его «любимого брата Изи», — но и моя мама, и я сам обращались к нему на «ты», без патриархального «дядя».

— Мы с твоим дорогим папочкой вместе гоняли мяч в Каменце, — поправлял дядя Пиня маму, когда она пыталась противостоять падению грамматических стен и барьеров. — Он был высокий и симпатичный, узковатый в плечах, но в те годы так было модно. Долговязый. Твой сын чем-то похож на него.

Выходцы из Каменец-Подольска и их потомки с любовью называли этот город, где прошла юность моих дедов, просто Каменец. Я помню, как мечтательно улыбался мой дед со стороны матери, произнося слово «Каменец». Родня моего отца жила в окрестностях Каменец-Подольска на протяжении многих поколений. В конце 1840-х дед моего деда получил разрешение поселиться в местечке Думаново неподалеку от Каменца. Расположенный рядом с границей Австро-Венгрии, Каменец-Подольск был столичным городом Подольской губернии. Накануне Первой мировой почти половину городского населения, около двадцати трех тысяч человек, составляли евреи. К началу 1930-х еврейское население сократилось вдвое, и лишь три тысячи каменецких евреев пережили Катастрофу. В советские годы Каменец становился все более и более провинциальным, утратил свое значение, и в итоге вошел районным центром в Хмельницкую область Украины — в область, само название которой напоминает о зверствах, учиненных отрядами гетмана Хмельницкого в 1640-х.

— Мальчик мой, а ты бывал хоть раз в Каменце? — спросил меня дядя Пиня, как только мы встали из-за стола.

— Да нет, не довелось, — ответил я, занимая оборону. — Как-то не было причины. Никого из родственников там не осталось.

— А какой прекрасный город! Река Смотрич, ее петляющие берега, старая турецкая крепость… Как бы я хотел вернуться туда, чтобы все это вновь увидеть. По-украински я раньше говорил гораздо лучше, чем по-русски, знаете ли. А мой ближайший друг Павло…

— … дядя Пиня, — перебил его отец, — мы пробовали разыскать его родных. Писали в райсовет, но ничего не смогли выяснить.

— Ах, оставьте, — с театральной интонацией произнес дядя Пиня. — Почему вы сами так ни разу туда и не выбрались? Неужели и вы думаете, как многие наши недоумки, что украинцы — антисемиты? Такая дикая чушь!

Вот подходящий момент, чтобы описать дядю Пиню. Рост где-то метр семьдесят, львиная грива. Весь иссохшийся, но сохранивший живость — как горная река летом, помнящая себя бурной, полной вешних вод. Овал лица и орлиный нос слеплены так, как почти у всех мужчин в нашем роду. Однако за долгие годы в Израиле кожа дяди Пини приобрела оттенок корицы — несмываемый след пустыни. Когда мы прогуливались по бульвару в последующие дни, знакомые из беженцев останавливались, чтобы сказать, как «дед, отец и внук похожи»; все были уверены, что дядя Пиня — мой дед. Ему шел восемьдесят первый год, когда мы познакомились, и за тонкими оправами его очков, переживших смену многих мод и снова супермодных, сверкали полные запретной жизни мальчишеские глаза. Он изумительно говорил по-русски, чуть старомодно и с легким акцентом, как говорят хорошо образованные украинские евреи, и иногда употреблял английские слова, чтобы назвать предметы, которые он узнал уже после отъезда из России. Например, он говорил «геликоптер» вместо «вертолет». В нем, нашем израильском дяде, было что-то несказанно современное, неханжеское, а он даже не пытался шокировать нас революционным эксгибиционизмом своих идей и замыслов.

Еще до того, как мы успели заполнить основные пробелы нашей семейной истории, дядя Пиня объявил, что всегда мечтал посетить Помпеи, посмотреть на знаменитые фрески и на то, что осталось от этого римского города. И тут же открыл старый бедекеровский путеводитель по Италии на странице о Помпеях.

— Смотрите, смотрите, какая изощренность, — говорил дядя Пиня, надавливая двумя пальцами на глубокий изгиб спины у женщины на репродукции фрески из лупанария. — Они знали о любви больше, чем нам когда-либо суждено узнать, — добавил он, обращаясь к моей маме, нарезавшей крупными дольками огромный румяный персик.

— Вот погощу здесь пару дней, а потом повезу вас в Помпеи и Сорренто, — объявил он свои планы. — Сорренто и Капри — это же места Горького. Ты в курсе, мой мальчик? — спросил дядя Пиня.

— Конечно, я…

— А я вот обожал Максима Горького, когда был в твоем возрасте, — продолжал дядя Пиня.

Мы, наконец, убедили его отдохнуть хоть немного перед вечерней прогулкой и ужином. То проваливаясь в сон, то просыпаясь во время долгожданной сиесты в гостиной, которую мне пришлось теперь делить с дядей Пиней, я слышал, как он шуршит книгами, газетами, старыми выпусками итальянских и русских журналов, разбросанных на журнальном столике. Когда я проснулся окончательно, дяди Пини в комнате не было. Дверь в комнату родителей была еще закрыта, и я, сполоснув лицо, поплелся в кухню, где нашел Пиню уже чисто выбритым, в полной боевой готовности, с бешеным нажимом строчащего в записной книжке. Под чеховской пепельницей на кухонном столе я увидел три хрустящие стодолларовые купюры — зеленый оазис среди засухи столешницы.

— Что это такое, дядя Пиня? — спросил я.

— Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой, — пропел он, прищелкнув пальцами, как цыган из хора. — Поднимай своих лежебок. Я приглашаю вас всех на ужин. Отпраздновать нашу встречу.

Поиски ресторана в наш первый вечер с дядей Пиней обернулись испытанием. Сначала он настоял на прогулке взад-вперед по бульвару, чтобы, как он выразился, «нагулять здоровый аппетит». Затем протащил нас через добрую половину центра Ладисполи. Он заходил в каждый ресторан, изучал меню, исследовал атмосферу и допрашивал метрдотелей о выборе вегетарианских блюд. «В вашем красном соусе для спагетти есть мясные добавки?» — вопрошал он, вводя моего отца в замешательство. Или: «Мы бы хотели вон тот столик, с видом на фонтан» (неизбежно указывая на столик с табличкой «зарезервировано»). Или еще: «У вас есть зона для некурящих?» (Это в Италии 1980-х?!) Казалось, дядя Пиня был готов выбирать до бесконечности. Его седина с оттенком лазури сверкала в лучах заходящего солнца. Легкие брюки и клетчатая рубашка развевались на ветру, а изгиб правой руки выражал принцип непредсказуемости будущего. Дядя Пиня вел за собой нас, своих усталых родных, вокруг главной площади, по главной коммерческой улице, а потом, вниз, к виа Анкона, пока наконец мы не нашли убежище в ресторане под открытым небом… прямо за углом нашего дома. Мы проделали полный круг. В этом ресторане подавали традиционные итальянские блюда. Китайские фонарики освещали оркестрик, а двойник Тома Джонса весь вечер исполнял стандарты. По каким-то причинам дяде Пине понравилось именно это заведение, и, несколько раз поменяв столик, мы в конце концов устроились «не так близко к улице и к музыке, но так, чтобы был виден бульвар».

Дядя Пиня был очень доволен выбором и сразу принялся нам советовать, что заказать, напирая на салаты и прочие вегетарианские блюда. Дядя Пиня говорил по-английски с официантом, который, казалось бы, уже все в жизни повидал. Пиня знал немного по-немецки и по-французски и пустил в ход эти знания во время переговоров с официантом.

— Сейчас слишком жарко, чтобы надуваться красным вином, а пиво — это неинтересно. Напиток для тех, у кого нет вкуса, — объявил дядя Пиня. Отцу пришлось оставить надежду на выпивку.

Официант принес нам запотевший графин с водой, хлеб и порции простого зеленого салата. Дядя Пиня отщипнул кусочек от хлеба, прожевал лист салата и откинулся на спинку своего ротангового кресла.

— Я должен вам что-то сказать, — заговорил он. — Вы знаете, я не из тех, кто ходит вокруг да около.

— Что случилось, дядя Пиня? — спросил отец, чувствуя себя в западне, впрочем, точно так же чувствовали себя и мы с мамой.

— Ничего не случилось. Что вы так все насторожились? — сказал дядя Пиня, кладя в рот очередной лист салата и прожевывая его со сводящей с ума медлительностью. — Я просто хотел сказать, что не стал к вам хуже относиться из-за того, что вы решили не ехать в Израиль. Вы бы чувствовали себя в Израиле как дома, но я вас не порицаю. В Америке очень хорошая жизнь; я был там пять раз — в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Сан-Франциско. Все это превосходные большие города, но в целом — пустыня. Люди там слишком большие индивидуалисты.

Мы сидели тихо, прижавшись к спинкам кресел. «Нужно испить эту чашу до дна», — думал я, пока дядя Пиня дожевывал очередной салатный лист.

— Ты сын моего покойного брата, — продолжал дядя Пиня, повернувшись к отцу. — Генетически ты будто мой собственный сын, и я принимаю твое решение. Принимаю, в отличие от многих родственников в Израиле, например от нашей кузины Навочки, знаешь ее, у нее сына убили на войне, в 1967-м. Она очень рассердилась, что вы не едете в Израиль. Но хочу сказать еще раз: если вы передумаете и решите ехать в Израиль, то еще не поздно все переиграть.

Над нашим столом повисла неловкая тишина, минута которой казалась вечностью в этом уличном ресторане с музыкой и официантами, суетившимися, как обезумевшие белки.

— О’кей, я просто хотел снять грех с души, — сказал дядя Пиня голосом весельчака, хлопая в ладоши. — Не будем воевать, мои дорогие. Будем пировать и праздновать наше воссоединение.

Он поднял стакан воды, облизал губы, словно готовясь сказать тост, но поставил стакан на место.

— И еще одно, — добавил дядя Пиня.

Я почувствовал, как в груди огромная жаба приготовилась к прыжку.

— Хочу кое-что объяснить вам, дорогие, поскольку это уже мелькало в нашей переписке. Когда вы были еще в Москве. И уже сегодня, за чаем. Это касается моих политических взглядов.

Вот вам классический дядя Пиня: то он выбирал салаты и макаронные блюда, то признавался в симпатиях к коммунизму.

Мама, отец и я сложили ножи и вилки в знак того, что мы сдаемся. Мы были целиком в пининой власти. У дяди Пини в плену.

— Я приехал в Израиль — вы, наверно, знаете — в 1924 году, — начал он. — Я оставил Каменец, потому что не мог больше там находиться. Я состоял в молодежной сионистской группе. Мы были идеалистически настроенными молодыми людьми. Один знакомый еврей, у которого сын работал в органах, дал понять моему отцу, что там уже лежит подписанная бумага на мой арест. Я спешно уехал в Одессу, где у нас были родственники. Мне было восемнадцать. Я понятия не имел, чем хочу заниматься. Моей страстью было чтение. У меня уже пять или шесть записных книжек было исписано рассказами, стихами, началами повестей. Я хотел писать о простых людях, стать еврейским Горьким. Сегодня это звучит по-детски, но тогда…

Я жил некоторое время в сельскохозяйственной коммуне рядом с Галилейским морем. Жизнь была очень трудная. Я скучал по дому и моей семье. И в глубине души не до конца понимал, что я здесь делаю. Я стал учеником землемера. В 1926-м я стал работать в землеустроительном департаменте. Его возглавляли британцы. Начальники были дисциплинированными трудягами с ментальностью колонистов.

Оркестрик заиграл «О соле мио». Дядя Пиня едва притронулся к еде. «Где он черпает свою безграничную энергию?» — помню, подумал я. Тающие пятнышки заката мерцали на далеком горизонте.

— Вскоре, — продолжал дядя Пиня свой рассказ, — меня стали считать леваком и сочувствующим Советскому Союзу. Я был настроен очень критически по отношению к британцам и к тому, что они делают в Палестине. Все их подлости и хитрости. Настраивание арабов против евреев. Нарушенные обещания. «Белые книги» Черчилля, Пасфильда и т. д. Лживые инструкции и установки. Мои боссы из землеустроительного департамента никак не могли понять, как можно придерживаться таких политических взглядов и дружить при этом с арабами. Я выучил арабский. Меня нельзя было стричь под общую гребенку. Я был сионистом, да, но никогда не был еврейским шовинистом. И, уверяю вас, я никогда не был членом коммунистической партии, хоть и голосовал за их кандидатов многие годы на муниципальных выборах. Со временем я вступил в партию социалистов, МАПАМ, но это уже после войны и провозглашения Израиля. Это уже другой рассказ для другого ужина.

Когда нам принесли тарелки с макаронами, дядя Пиня сморщил лоб, сурово глянул на официанта и спросил, не мог бы певец петь потише. Официант развел руками, промямлил что-то и исчез.

— Я был уже женат, — продолжил дядя Пиня. — Мы жили в Тель-Авиве, а я все еще думал о репатриации. Хочу, чтобы вы поняли, что я чувствовал в то время. В 1932 году я подал прошение в советское консульство в Стамбуле. Я просил разрешить мне вернуться в СССР. Мое прошение было отклонено — иначе, кто знает, как бы все сложилось? Скорее всего, мы не сидели бы здесь вместе. Знаете, когда я работал в Верхней Галилее, я познакомился с одним парнем. Позже он взял псевдоним, но, когда мы встретились в 1925-м, он был еще Мордехай Богуславский. Из Кривого Рога. Вы знаете Кривой Рог?

— Там жила двоюродная сестра моей мамы, — вежливо ответила мама.

— Ага! Так вот, этот Богуславский, кажется, вернулся в СССР в 1928-м или 1929-м. Некоторые возвращались, вы же знаете. Немногие, но все же. Потом он стал там печататься. У него был такой роман «Опаленная земля», конечно, немного пропагандистский, но главы, описывающие тяжелую жизнь еврейских молодых людей из России в Палестине, в аграрных поселениях, сделаны с большой точностью. Я-то помню, поскольку сам был там.

Дядя Пиня наконец-то попробовал макароны с помидорами и цукини, однако был слишком возбужден, чтобы есть дальше.

— И вот я остался в Палестине, родились наши мальчики. Но я продолжал читать советские газеты и журналы и следить за текущими событиями. Желание вернуться все не отпускало меня. Потом в 1938 году меня уволили из департамента. Нашли удобный предлог: сокращение штата, но все это было из-за моих политических убеждений, уж точно.

— Пиня, дядя Пиня, вы… ты… ничего не ешь, — сказала мама.

— Еда подождет. Это не очень интересно. (Дядя Пиня всегда говорил «интересно» и «неинтересно» вместо «хорошо» и «плохо».) Я хочу закончить с политикой, а потом мы с вами будем пить и смеяться, как дети.

— Что я хочу сказать? У меня ушло много времени, гораздо больше, чем у других, даже у моих товарищей, на то, чтобы исчезли всякие иллюзии по поводу СССР. Это случилось только после смерти Сталина. И тогда еще я не до конца верил во все, что говорили. В 1968 году из Одессы в Израиль выехала Манечка, моя троюродная сестра, вы, возможно, знаете о ней. Она была самой первой из наших родственников, кто уехал оттуда уже после 1920-х. Целую неделю я не отходил от нее. Я измучил ее вопросами о том, как жили в СССР. Она была акушеркой и очень хорошим, разумным человеком. Она так и не вышла замуж и умерла от рака буквально через пару лет после приезда в Израиль. Я Манечку знал с детства, и ее рассказы избавили меня от последних иллюзий. Но я до сих пор тоскую по Каменцу, даже сегодня, после стольких лет. Ужасно.

Дядя Пиня достал широкий небесно-голубой носовой платок и промокнул уголки глаз. Официант, подошедший предложить нам кофе и сладкое, отодвинул занавесь молчания, нависшего над нашим столом.

С появлением счета вечер достиг высшей точки накала. Сперва дядя Пиня водрузил очки на нос и тщательно изучил содержание листка, строчку за строчкой, как школьник, который все еще учится читать пропись. Потом достал ручку из нагрудного кармана и в присутствии официанта, близкого к апоплексическому удару, начал вычеркивать строчки из счета. Он зачеркивал строчку, делал паузу, поднимал голову и комментировал по-английски: «Это за что? Хлеб и вода идут бесплатно к ужину». Далее он вычеркивал следующую строчку и восклицал: «Какой еще сыр? Вы считаете, мы должны заплатить за тот хилый кусочек сыра, который вы нам принесли на четверых? Как бы там ни было, в цивилизованных ресторанах салаты дают бесплатно к горячим блюдам».

Старший официант и еще два официанта присоединились к нашему, и все вчетвером спорили с дядей Пиней на каком-то транснациональном ресторанном арго, перебивая друг друга.

— Дядя Пиня, умоляю тебя, пожалуйста, хватит, — взмолился папа.

Но дядю Пиню не так легко было остановить. Он сам подсчитал, сколько, по его мнению, мы были должны за ужин, отсчитал деньги и положил их на маленькую тарелочку поверх сурово отредактированного счета.

Когда мы выходили из ресторана, старший официант прокричал что-то вроде: «И чтоб я больше здесь вас не видел, воришки». Мы хотели одного — перенестись через два квартала, отделяющих ресторан от нашего дома, и исчезнуть. Но наш любознательный и великодушный дядя Пиня не хотел еще возвращаться домой.

Еще при выходе из ресторана он заприметил двоих мужчин, черного и белого, сидевших за угловым столиком под зелено-голубыми тенями китайских фонариков. Оба были навеселе. Они поставили кресла лицом к тротуару и сидели, обнимая друг друга за плечи. Напротив них на столике стояла плетеная бутыль кьянти, и они распевали на смеси языков монотонные пьяные песни о любви и дружбе. Белый представитель этой парочки, Саша Шейн, был в Москве борцом за мир («писником») и отказником; мы были довольно хорошо с ним знакомы. Рядом с Шейным за столиком сидел иммигрант из Эритреи по имени Ефрем. По образованию он был учителем в начальной школе. В Ладисполи они стали закадычными друзьями. Началось с того, что Ефрем стал брать Сашу с собой на разные халтуры, в основном разгружать и загружать фургоны с фруктами и овощами. По сравнению с другими беженцами Саша был теперь при деньгах, и они с Ефремом могли позволить себе посидеть вечером в ресторанчике, потягивая вино или пиво и громко приветствуя проходящих мимо русских. Увидев нас, Саша замахал рукой и поднял свой стакан, и у нас не оставалось выбора, кроме как подойти к его столику. Эритреец знал по-русски одно слово «дружба», и они с Сашей вопили: «Comrades, дружба, comrades, дружба», — надутыми гелием голосами мультипликационных персонажей. Дядю Пиню крайне заинтриговала дружба Саши Шейна и Ефрема, и по пути домой он не переставал расспрашивать нас о расизме в СССР.

— Я, знаешь ли, не верил этим слухам, — сказал мне дядя Пиня уже после того, как я потушил в нашей комнате свет.

Той ночью мне приснился мучительный сон. Все начинается поздним утром в электричке, идущей в Рим. В вагоне грязно и трудно дышать. Я еду в Рим на свой еженедельный «шопинг», предчувствуя прилив ярости. Разодетая римская толпа на виа Национале, куда я почему-то пошел с вокзала, кажется мне до отвратительного праздной и водевильной, а витрины магазинов рождают сплошные комплексы неполноценности. Круглый рынок на этот раз раздражает так, как сельская ярмарка порой бесит посетителей плебейскими развлечениями.

Я вываливаюсь из электрички в ватную августовскую жару. Выхожу на платформу Ладисполи-Черветери после трех часов дня, в самый глубокий час сиесты. Ощущая себя мулом, нагруженным семейными тюками, я то везу на колесиках, то волочу свою восточногерманскую клетчатую сумку по главной ладисполийской улице. И никакие соображения о сыновнем долге не могут унять еле сдерживаемой ярости.

Атмосфера разлада висит в воздухе квартиры, как едкий дым. Мама сидит на краешке софы в гостиной и безучастно теребит вскрытый почтовый конверт, лежащий на кофейном столике. Она поворачивается ко мне, и я вижу, что у нее дрожат кончики губ. Она выглядит такой одинокой, несмотря на то что отец тут же рядом, в комнате. Мне хочется подбежать и обнять ее, но рассерженный рассудок удерживает меня.

— Папа что-то хочет тебе сказать, — мама говорит настолько тихо, что слова выходят какие-то бездыханные, будто мертвые бабочки.

Отец стоит в проеме балконной двери, одетый почему-то в свои лучшие городские вещи: габардиновые брюки, рубашку в красную тростниковую полоску и новые бордовые туфли, будто бы он собрался куда-то идти. Рубашка застегнута на все пуговицы, но нет ни галстука, ни пиджака. Я выхожу вслед за ним на балкон, вытирая пот со лба краем футболки. На фоне плотных мандариновых лучей солнца, движущегося над морем на восток прямо под нашими ногами, папино лицо выглядит бледным и чужеродным в этих южных широтах. В голове проносится: «Это мой отец. Он родился в Ленинграде. Он еврейский врач. Он пишет потрясающие рассказы. Он потерял надежду».

Отец целует меня в скулу. Его холодная колючая щека скользит по моим губам.

— Сынуля, я решил ехать в Израиль. Так будет лучше для всех.

Его голос вот-вот сорвется в рыдание, и я тоже чувствую, что сейчас разревусь.

— В Америке мне будет слишком трудно… — отец делает паузу, чтобы собраться. Вообще-то он не курит, но сейчас, проходя мимо кофейного столика, берет одну из маминых сигарет — она сама уже почти не курит — и закуривает. Он держит сигарету тремя пальцами, как щепотку соли. Я продолжаю стоять на балконе, не говоря ни слова, не стараясь разубедить отца. Стою и жду, пока он закончит.

— Я получил сегодня утром письмо от дяди Пини, — говорит отец. — Дядя Пиня пишет, что для меня все еще держат место врача в госпитале в Тель-Авиве. Я смогу там сразу начать работать и говорить по-русски с пациентами. И мои читатели тоже будут там. А вы с мамой поезжайте в Америку. Ты будешь приезжать ко мне каждое лето, мой родной.

Отец смотрит на меня, но я не выдерживаю взгляда, отворачиваюсь и смотрю на маму, стоящую на пороге балкона. Кажется, что через нее проступает свет, как через старинную фреску.

— Поговори с папой. Может, он послушает тебя.

Мама дотрагивается до моей руки чуть выше локтя, но, вместо того чтобы обнять ее, я отступаю на шаг. Меня даже не ужасает, что мне нечего сказать родителям. Я хочу одного — бежать от них куда-нибудь подальше. Я хочу быть с моими итальянцами. Я хочу забыть, кто я: еврей, русский, беженец, сын своих родителей.

— Разбирайтесь сами, — кричу я. — Можете ехать в Израиль, или на Мадагаскар, или хоть на край света.

Не знаю, реально ли испытать чувство стыда во сне, но я испытываю его сейчас, глядя на то, как эти несчастные слова появляются на экране ноутбука.

— Я здесь ни при чем, — говорю я родителям. — Это ваше дело, я не хочу, чтобы вы меня в это впутывали. Всю жизнь я вас мирил, хватит.

Схватив полотенце и плавки, я бросаюсь к двери со словами:

— Любое ваше решение меня устроит.

Повернувшись, чтобы еще раз взглянуть на родителей, я вижу, что у них в глазах не гнев, но лишь чувство вины. Поразительно! Родителям не понадобилось и нескольких секунд, чтобы простить мне эту бессердечность.

Я бегу — в буквальном смысле бегу — на пляж. Обычно в это время там почти никого нет. Переодеваюсь, обвязавшись полотенцем, оставляю вещи у воды и кидаюсь в волну. Мне хочется смыть с себя пыль Рима, пот пригородного поезда и рыночную грязь. Смыть все воспоминания. После купания я ложусь лицом вниз на горячий черный песок и сплю около часа — во всяком случае, довольно долго, как показалось мне во сне. Затем опять лезу в воду, стряхиваю с себя песок и направляюсь к киоску на парапете. Я съедаю отвратительно сладкий и промасленный кусок жареного теста, посыпанный сахарной пудрой. Разглядываю прохожих и с легкостью убиваю еще час. Уже почти шесть, и можно идти в Американский центр на очередной просмотр. После кино подают розовый пунш. Потом встречаюсь с Леонардо, Томассо, Сильвио и другими на нашем пятачке, но провожу там всего час, извиваясь на алюминиевом стуле и довольно нескладно употребляя новые итальянские фразы, выученные за эту неделю. Я вымотан, но не могу сидеть на месте, хотя и домой возвращаться еще не готов, и вот я болтаюсь взад-вперед по бульвару, ловя хмельные отзвуки оркестриков, трубящих где-то у воды.

Когда же открываю дверь, то вижу своих родителей. Они пьют чай в гостиной. У них счастливые лица детей, вновь играющих вместе после ссоры. Я пропустил слезы примирения.

— Я убедила папу ехать в Америку, — говорит мама, целуя и обнимая меня.

Я потерял деда со стороны отца в 1972 году, когда мне было 4 года. Деду, младшему брату дяди Пини, тогда было за шестьдесят. У него был рак желудка. В то время он жил со своей третьей женой. Мне не довелось узнать его поближе не только из-за того, что я был ребенком, когда его не стало, но и по той простой причине, что мы жили в Москве, а он — в Ленинграде. Мамин отец — тот, с которым дядя Пиня в юности играл в футбол в Каменец-Подольске, умер, когда мне было восемь. Его я знал очень хорошо. От деда по матери я слыхал много историй о юности, проведенной в Каменец-Подольске, на «Украине моей родной», как он называл ее, несмотря ни на что. А о другом деде осталась лишь рябь разрозненных кадров: тусклое, темное, водянистого цвета одеяло в палате ракового корпуса, где мы с отцом навещали деда незадолго до смерти, большая серая голова на приподнятой подушке. Полосатая пижама, из тех, которые, клянусь, сейчас наводят меня только на мысли об Освенциме. И еще помню, как дед приезжал к нам в Москву. Это, скорее всего, было осенью 1970-го. Мне три года, и дед в красивом угольного цвета костюме и белой накрахмаленной рубашке без галстука похож на итальянца. Он улыбается, как дипломат, готовый заключить мир любой ценой — земли, репарации, что угодно. Он улыбается и протягивает маме руку с зажигалкой, в то время как его третья жена, стройная женщина в цветастом платье, достает и вручает мне подарок: лук со стрелами.

— Будь благородным, как рыцарь, — говорит мне дед.

Мама всегда вспоминала свекра как человека «шармантного» и «невозмутимого». Пока я рос, отец вот что говорил мне о своем отце: он был блестящим инженером и мог выявить неисправность в машине по звуку мотора; он обожал историю, в особенности Наполеоновские войны; он никогда не повышал голоса и лучше всех на свете рассказывал анекдоты. Мне кажется, я даже помню, как дед их рассказывает размеренными каденциями, голосом мягкого тембра, который в те времена страшно нравился женщинам. Моя мама истерически хохочет над его шутками; отец тоже смеется, но осторожно и немного нервно. Когда отцу было восемь лет, во время войны, мой дед, тогда капитан третьего ранга, завел новую семью. Полученная в детстве рана не зарубцевалась.

Счастлив автор, на чьих страницах Каллиопа, муза эпического жанра, Клио, муза истории, и Талия, муза комедии и легкой поэзии, поют стройным хором. Каллиопу я оставил за железным занавесом. Клио бросила меня в Ладисполи, укрывшись в приморской траттории. И лишь иммигрантка Талия до сих пор со мной, когда я пишу эти строки уже здесь, в Америке, и когда читаю их в переводе.

Дядя Пиня провел с нами в Ладисполи шесть дней, и эти шесть дней показались нам шестью месяцами. Это были изматывающие, обнажающие правду дни. Кроме всего прочего, за эти шесть дней я услышал от дяди Пини больше викторинных вопросов, чем за всю мою предыдущую жизнь.

— Быстро отвечай, мой мальчик, какая разница между деревней и селом? — мог спросить он, когда, едва за ним поспевая, я шел домой с пляжа, предвкушая сиесту и хоть немного тишины.

— Не знаю, дядя Пиня. В чем? — отвечал я.

— Смотри, ты не знаешь, а я до сих пор помню: в селе должны быть школа и церковь, — провозглашал он.

Мне общение с дядей Пиней давало возможность соединить линии нашего общего семейного прошлого. Мои родители тоже испытывали нечто подобное. Дядя Пиня знал и отца моего отца, и маминого отца еще до того, как мои родители появились на свет. Именно поэтому общение с дядей Пиней в Ладисполи было равносильно уходу из эвклидова повествовательного пространства, где история нашей семьи в России и история наших родных в Израиле шли параллельно, нигде не пересекаясь в двумерном мире, скрепленном редкими письмами и фотографиями. Для нас это был уход — или выход — в иную реальность семейного настоящего и будущего. В этом Лобачевском мире, в котором мы пребывали во время пининого визита, параллельные линии жизни неожиданно и непредсказуемо пересекались.

Однако за удовольствие пересечь семейные пути сообщения надо было платить… Его назойливость. Сование носа не в свои дела. Временами это становилось невыносимо. О, с каким пристрастием дядя Пиня учинял допросы! Или взять, к примеру, его страсть к плотской жизни людей и животных. Стоило мне на ладисполийском пляже отлучиться на несколько минут за фотопленкой, как Пиня подскочил к Ирене, моей прибалтийской почти подружке, и начал расспрашивать ее о наших «сношениях», как он выразился. То, что он узнал, его сильно разочаровало.

Худшими были те два дня, когда дядя Пиня воспылал романтическим интересом сначала к моей бабушке, вдове, затем к моей тете. Бабушка твердо отклонила его ухаживания. Он слишком стар, сказала она, а кроме того, что я буду делать с израильским землемером на пенсии, дважды разведенным, который к тому же играл в юности в футбол с моим покойным мужем? Что касается моей тети, то она не стала решительно отвергать знаки внимания дяди Пини и даже пошла на то, чтобы сопровождать его на экскурсии по этрусским гробницам. Тем же вечером мама решительно поговорила с сестрой, а отец пошел на разговор с дядей Пиней. Чтобы охладить его пыл, отец привел несколько аргументов. Наши семьи состояли в отдаленном родстве, напомнил он дяде Пине, и мои родители приходились друг другу пятиюродными братом и сестрой или чем-то в этом роде. В свою защиту дядя Пиня выдвинул тезис о своих «серьезных намерениях», а также напомнил отцу, что большинство ашкеназских евреев приходятся друг другу родственниками — четвероюродными или пятиюродными, но кому это мешает?

В эту ночь мне снилось, что я ищу оазис в пустыне и натыкаюсь на дядю Пиню в костюме бедуина.

— Воды, воды, — говорю я ему во сне.

— А ты вступил во Второй интернационал? — спрашивает он.

— Нет. А зачем?

— Сыр в ресторане был совсем неинтересный, — отвечает дядя Пиня и запевает «Марсельезу» по-русски.

После Ладисполи я виделся с дядей Пиней только раз. Он так и не приехал к нам в Америку — на то были свои причины. Отец переписывался с ним, но не часто, и они увиделись еще раз в середине 1990-х в Израиле, когда мои родители гостили в артистической колонии в Иерусалиме. «Это был уже не тот дядя Пиня», — рассказывали родители. Физически он был по-прежнему крепок, но память стала слабеть.

Летом 1998-го, меньше чем за год до того, как я встретил свою будущую жену и моя жизнь разом переменилась, я предпринял последний холостяцкий вояж. У меня был годовой академический отпуск — мой первый. Я путешествовал семь недель, побывал в моей любимой Эстонии, потом в Польше, где в Кракове поляки торговали памятью в бывшем еврейском квартале, а из живых евреев осталась лишь горстка стариков. После этого я впервые полетел в Израиль, выступил на конференции и две недели колесил по стране. Я был совершенно ошеломлен Израилем. «Не совершили ли мы ошибку тогда, в 1987-м?» — думал я. Этот вопрос крутился у меня в голове все время, пока я путешествовал и встречался с нашими многочисленными израильскими родственниками. Погостив какое-то время в Хайфе, побывав в Верхней Галилее, я вернулся в Тель-Авив. На следующий день за мной заехал младший сын дяди Пини, скульптор и поэт. Если бы не борода, он был бы еще больше похож на моего отца, своего ровесника. Поэт-скульптор повез меня навестить дядю Пиню.

— Звонить отцу бесполезно, — предупредил меня поэт-скульптор. — Он все равно не вспомнит тебя. Просто пойдем к нему с утра.

Дядя Пиня так и жил в той квартире в восточной части Тель-Авива, недалеко от Синерамы и Дворца Спорта, где поселился с семьей еще в начале 1950-х. Он отказывался переселяться в дом для престарелых, и за ним присматривала женщина из России, из постсоветской волны эмиграции. Обрамленный черным дверным проемом, на пороге квартиры стоял дядя Пиня в своем типичном обличье: полосатая рубашка с короткими рукавами и брюки без единой морщинки. Он выглядел иссушенным, как опреснок. (Я одолжил эту метафору у неподражаемого одессита Эдуарда Багрицкого.) В его почти невесомом теле не было больше краткосрочной памяти.

— Ты кто? — спросил он, после того как мы обнялись и поцеловались.

— Дядя Пиня, я внук Изи. Ты помнишь Изю?

— Изю? Моего брата? За кого ты меня принимаешь? Конечно, помню.

И он потянул меня за футболку в свой кабинет, где семейные фотографии теснились на стенах. Я узнавал многие лица. После того как дядя Пиня уехал в 1924-м, его родители старались вклеивать его фото в семейные портреты, так что его голова всегда оказывалась крупнее голов его братьев и сестры.

— Видишь, как далеко отстоит следующее здание? — произнес дядя Пиня с гордостью, открыв одно из окон. — Тель-Авив перенаселен. А здесь рядом есть водопад.

Дядя Пиня сказал «водопад» вместо «фонтан». В сквере через дорогу из каменной глыбы действительно бил большой фонтан.

Русские книги — классика, а также дешевые издания триллеров из жизни «братвы» — лежали кругом, забытые на диване, на подоконниках, на кухонном столе.

— Ты видишь, какая просторная квартира? — сказал дядя Пиня. — Да, вот так вот. Еще раз скажи мне, ты кто?

— Я внук твоего младшего брата, — ответил я.

— У меня их двое. Которого из них?

— Изи. Помнишь Изю?

— Конечно, помню, — ответил Пиня, а я прикоснулся рукой к холодной стене рядом с фотографией трех братьев — Пини, уже подростка, Изи и Паши, которым на фото десять и девять лет, — снятой в ателье каменец-подольского фотографа, оставившего свою размашистую подпись в нижнем углу снимка.

— Конечно, я помню Изю, — повторил Пиня. — Скажи мне еще раз, а ты кто?

Тут он неожиданно вспомнил моего отца и спросил с негодованием в голосе:

— А почему он не присылает свои новые книги?

Значит, память еще не целиком улетучилась?

Через два дня, в пятницу вечером, младшая внучка дяди Пини забрала меня у назначенного места в Дизенгоф-центре, и мы вместе стали пробираться на машине через болотную жару Тель-Авива в сторону дяди Пининого дома, чтобы захватить его по дороге. Мы ехали домой к ее отцу, поэту-скульптору, который жил у моря. Таков был у них еженедельный ритуал — дядя Пиня проводил пятничный вечер в семье одного из сыновей.

Идя по стопам своего отца, кузина занималась искусствоведением и только что провела семестр во Флоренции. Она была одета в белое льняное платье с разрезами на спине. У нее были короткие черные блестящие волосы и глаза орехового цвета, и она не переставала улыбаться.

По дороге я начал рассказывать кузине о приезде дяди Пини к нам в Ладисполи. Мы едва друг друга знали и очень обрадовались тому, что нашли общую точку — любовь к Италии. Большую часть пути к морю дядя Пиня хранил молчание, сидя на заднем сиденье.

— А я вот не изучал итальянский, — сказал он под конец. — Но хорошо говорю по-арабски.

И он демонстративно произнес какую-то арабскую фразу.

За вегетарианским ужином в столовой, глядя на Средиземное море, мы с дядей Пиней говорили по-русски. Остальные члены семьи, для которых родным языком был иврит, нас не понимали.

— С моей первой женой мы говорили между собой по-русски, когда не хотели, чтобы мальчики нас понимали, — рассказывал дядя Пиня. — Но старший сын все-таки чуть-чуть научился. А младший знает лишь пару слов. Вторая жена, да и моя теперешняя подруга — все они из России.

— Папа, а как Верочка? — спросил дядю Пиню поэт-скульптор по-английски.

— А кто это? — спросил дядя Пиня, нимало не смутившись.

— Верочка. Ты что, забыл?

— Ах, Верочка! — дядя Пиня повернулся ко мне и снова перешел на русский. — Верочка — это моя подруга. Моложе меня на несколько лет. Мы с ней пробовали, но, знаешь, у нас не получается.

Недавнее прошлое перестало существовать, а вот далекое прошлое было бескрайним океаном, в волнах которого дядя Пиня еще мог кувыркаться. Я спрашивал его о юности в Каменце и о том, как же он, ребенок из буржуазной семьи, впервые заинтересовался социализмом. Дядя Пиня ответил, что до сих пор испытывает чувство вины из-за одного эпизода, случившегося незадолго до того, как он навсегда покинул родной дом. Отец попросил Пиню сходить с ним в синагогу на *шабес.*  Пиня твердо отказался.

— Я помню этот день, будто это было вчера. Понимаешь, я жалел об этом всю жизнь. Я ведь так никогда больше не увидел своего отца. Я должен был тогда пойти вместе с ним. Принципы, принципы… я должен был послать подальше свои социалистические принципы, — сказал дядя Пиня.

Неужели память питается неискупленной виной? Или чувство вины, как минога, паразитирует на воспоминаниях?

Дядя Пиня прожил еще пять лет. Ему было почти сто, когда жизнь, наконец, предъявила ему свой счет.

Дядя Пиня, ревнитель и открыватель правды любой ценой, даже если это означало нарушить границу неприкосновенной личной жизни человека, остается самым живым из моих покойных родных…

На четвертый день своего визита в Ладисполи дядя Пиня разбудил меня в шесть утра.

— Скорей вставай, мой мальчик. Я вас всех везу в Помпеи. Прямо сейчас.

За завтраком мама сказала, что у нее упало давление и она не чувствует в себе сил, чтобы путешествовать. Я ответил, что не оставлю ее одну. Отцу, в чьих глазах поднималась волна паники, пришлось поехать с дядей Пиней. Путешественники вернулись вечером на следующий день; дядя Пиня вбежал в квартиру, бурлящий эмоциями; за ним следом вошел мой изможденный отец. Неделей позже мы с мамой все-таки съездили в Помпеи с группой беженцев, взяв автобусный тур авантюриста Ниточкина.

Из Помпеи дядя Пиня привез нам в подарок книжку, которая до сих пор хранится в моей домашней библиотеке. Я достаю ее из книжного шкафа в «красной гостиной», где она делит узкую полку с альбомами Модильяни, Малевича и Шагала. Рассматриваю репродукции фресок, на которых совокупляются люди и животные, и думаю о кипучем дяде Пине и о том, что рассказал мне отец сдавленным голосом, когда мы вышли с ним на балкон.

За окнами нашей квартиры солнце уже затонуло в Тирренском море. Дядя Пиня сидел в кухне, перечисляя маме все диковины, увиденные им в Доме Весталок и на Вилле Загадок. Листая книгу, подаренную нам, дядя Пиня показывал маме самые «интересные» фрески, а отец тем временем рассказал мне, как они ехали из Рима поездом до Неаполя и как Горький, святой покровитель пролетарских писателей, должно быть переворачивался в гробу при мысли о том, что его восторженный почитатель дядя Пиня вычеркивает строчку за строчкой из счета в ресторане под открытым небом в Сорренто, в сияющем Сорренто, где отец с дядей Пиней остановились на ночь, перед тем как утром сесть на паромчик и отплыть на Капри.

— Капри — это что-то не из мира сего, — сказал отец. — А дядя Пиня… дядя Пиня был самим собой.

**ИНТЕРЛЮДИЯ**

**La Famiglia Soloveitchik**

Высокая, крупнотелая женщина с двойным пучком рыжеватых волос подошла к нам на пляже и представилась. Мы только что расстелили полотенца у кромки воды рядом с пляжным лагерем ее семейства, где стояли многочисленные холстинковые сумки, кипы вещей прижимали углы цветастой простыни, а вокруг на песке валялись всякие пляжные игрушки и ласты с масками. Правой рукой женщина держала за горлышко пластмассовую бутылку, будто готовилась ее придушить.

— Соловейчик наша фамилия, — сказала она маме. — Мы из Львова. Нет, не родственники, — добавила она загадочно и отбросила голову назад, как кобыла, отгоняющая овода.

После этого она отпила большой глоток какой-то газированной ерунды из жалобно скулящей бутылки. Ее беспощадно проницательные шоколадно-карие глаза закончили сверлить дырки в наших лбах и повернулись к воде, где трое детей резвились и играли так, как играют только братья и сестры. Старшая, девочка лет двенадцати, верховодила двумя мальчиками — лет восьми и четырех. Девочка и младший братик были на одно лицо, с курчавыми темными волосами и матово-белой кожей; оба были похожи на своего угловатого, медлительного отца, который сидел на цветастой простыне, погрузившись в толстый том. Старший мальчик был совсем другой — белоголовый, егозливый.

Тем летом мои родители и Соловейчики сошлись довольно близко, и я виделся с ними почти ежедневно. Алина Соловейчик обычно выступала в роли представителя семьи, возлагая на своего тишайшего мужа Леню многочисленные обязанности по переносу всех вещей и руководству детьми, а также отводя ему роль немого свидетеля того, что она называла «говорить, как есть». У Лени были шерстистые маленькие уши и нежное продолговатое лицо гигантского муравьеда.

— Я в моего украинского папочку, — любила повторять Алина. — Он всегда говорил людям, что о них думает. Не всем нравилось. Но уж уважали его, это точно. А вот моя *идише мама*  — это вам совсем другое дело.

Пока громадная персона Алины не заполнила собой всю страницу, я должен кое-что пояснить. Каждый раз, когда Алина при знакомстве называла свою фамилию, она обязательно упоминала, что со стороны мужа они «не родственники». Родственники кого? Тех, с кем она знакомилась и к кому обращалась? Мало кто понимал, о чем она. Я и сам понятия не имел, пока отец, в те времена мой основной источник еврейской духовности, не объяснил, что имеется в виду не кто иной, как Йосеф Соловейчик, великий американский раввин и философ. Эта уменьшительно-ласкательная птичья фамилия отнюдь не редка среди евреев. У Алины на этот счет был заготовлен афоризм: «Мало ли на свете пташек с такой фамилией?» Откуда эта советская женщина из Львова знала о Раве Соловейчике и почему она считала нужным говорить об этом первому встречному-поперечному, остается загадкой. У Алины Соловейчик было много загадок.

Алина мгновенно выбрала мою маму в товарки и конфидентки и сразу решила спасать ее от грусти. Моя мама, по природе своей человек одновременно робкий и общительный, среди московских подруг славилась своими непреклонными, хоть и негромко высказываемыми убеждениями. Но в первые несколько недель после отъезда из Москвы она была эмоционально опустошена и на пляже позволяла Алине верховодить во всем. Леня и мой отец иногда играли в шахматы и пару раз ходили ловить рыбу с мола, но настоящая дружба возникла между женщинами, матерями.

Соловейчикам, Лене с Алиной (простите мне шальной анапест — но ямб бывает тесноват), было по сорок; они были существенно моложе моих родителей. Направлялись они в Кливленд, где брат Алины обосновался восемь лет назад с детьми, женой и матерью.

— Знаете, как над нами Всевышний подшучивает, — объяснила Алина на второй день знакомства. Она держала в руках большой полиэтиленовый пакет, наполовину наполненный черешней, абрикосами и сливами, которыми угощалась, при этом затягиваясь сигаретой, зажатой в левом углу рта. — Так вот, мой братец теперь чуть ли не спит в синагоге, обрезался и все такое прочее, подумать страшно. А раньше он был главным ассимилянтом во всем нашем прекрасном городе Львове. Как ни странно, это все мамина кровь, ее влияние. Мой украинский папочка, представьте себе, всегда орал на брата, когда тот брался пересказывать мерзкие еврейские анекдотики, которые приносил с улицы. Ой, я вам скажу, нет в этом мире справедливости. Мой братец и ехать-то не хотел, а его в три месяца отпустили. Мы застряли почти на десять лет. А папочка мой лежит в могиле под Львовом.

Алина говорила с гордостью и нежностью о своем отце-украинце, летчике-асе.

— Он бы давно уже был генерал-майором, да он уже и базой военно-воздушной командовал к тому времени. А мы вот вбили себе в глупые головы, что надо уезжать, и эти сволочи его в отставку отправили. Вы представьте только себе, что они ему там, наверху, сказали. И он ни разу, ни разочку нас ничем не упрекнул, даже когда вся эта заваруха началась. Только страдал себе один. Он года в отставке не прожил — инсульт. Ему шестидесяти двух не было, моему папочке.

Мне казалось странным, что Алина так подружилась с моей мамой, а сама ни разу о матери не обмолвилась добрым словом, хоть и ехала с ней «воссоединяться» в Америку. Казалось, Алина винила свою мать-еврейку во всех семейных неудачах. Граничило ли это с тем одомашненным видом предрассудка, который евреи иногда себе позволяют в обществе других евреев? Теперь я бы назвал ее самоненавистницей, но в то ладисполийское лето у меня в словаре не было таких слов. Я просто чувствовал, что Алине некомфортно в еврейской шкуре. Но при этом еврейство, особенно идишские слова и выражения, а также галочьи интонации были в той же мере частью Алины, в какой подкладка бывает частью пальто.

— Я вам скажу, мой папочка — пусть он себе спит спокойно, а не крутит эти чертовы петли на ихних говенных парадах Победы — мой папа любил изображать мамину тетю Голду, она после войны потом жила в Черновцах, с той стороны почти все погибли в лагерях в Заднестровье, но тетя Голда успела эвакуироваться в 1941-м. *Ой, Готэню,*  животики можно было надорвать от смеха! Папа вообще-то очень хорошо относился к маминой мешпухе, но иногда он тоже терял терпение.

То, что у Алины отец был украинец, нееврей, давало ей чувство превосходства. Разрываемая между украинцами и евреями, она и к эмиграции относилась двояко, даже после десяти лет «в отказе».

— Вам, москвичам, этого не понять, — как-то сказала она, пока мы добавляли свои продукты — помидоры, огурцы, зеленый лук, плавящиеся куски сыра и нарезанный хлеб — к провианту Соловейчиков, готовясь к пляжному пикнику. — Я люблю Украину. Люблю наши народные песни, их сладость и горечь. «Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная./Видно, хоч голки збирай./ Вийди, коханая, працею зморена,/ Хоч на хвилиночку в гай», — пропела она.

Алина была первым в моей жизни украинским евреем с такими воинствующе проукраинскими и антирусскими взглядами.

— Украинцы и русские такие разные, — любила повторять она. — Знаете, что мой покойный папочка говорил? «Русские — это же пьяное стадо. Только хохлы и жиды могут жить вместе».

Это было тяжело выслушивать. В то же время казалось, что она без большого тепла относится к своему еврейскому мужу, который на нее чуть ли не молился. На первый взгляд Леня Соловейчик представлялся стереотипом хорошего еврейского мужа, того доброго семьянина, за которого славяне не прочь выдать своих дочерей, несмотря на впитанные с молоком матери предрассудки против евреев. И только потом мы поняли, что Леня являет собой пример того, что сами евреи называют *менш*  — настоящий, редкой души человек.

— Мой Леня хоть, может, и кажется хлюпиком рядом с твоим мужем-боксером, — как-то сказала Алина моей маме так громко, что не только мы с отцом, но и половина пляжа услышала, включая Умберто Умберто, который стоял на парапете на своем посту рядом с киоском с джелато. — Но вы не думайте, он еще как может за себя постоять. Вы бы видели его, когда гэбисты у нас устроили обыск в 1983-м. Я почувствовала, что он глотки им вырвет, если они только тронут детей или меня. — Леня, не урони детей, — вдруг закричала Алина и замахала мужу, который на вытянутых руках выносил сыновей на берег; на море начиналось волнение.

Большей частью это была дневная, пляжная дружба. Алина следовала железным правилам выращивания детей, согласно которым дети должны быть в постели к восьми вечера. Изредка в закатный час Леня и Алина присоединялись к другим фланерам на бульваре. Их жилье, две маленькие комнатки в коттеджике, который они снимали вместе с двумя беженскими семьями, было непригодно для приема гостей.

Несколько раз Соловейчики приходили к нам пить чай на балконе. В один из этих вечеров я остался дома, и мы тогда засиделись до ночи. Сначала отец прочитал нам новый рассказ, написанный в Ладисполи. Действие происходило в отельчике для беженцев под Веной, и Алина была в восторге. После этого я прочитал свой новый рассказик под названием «Австрийская баллада» — об австриячке, содержательнице гостинички, и ее любовнике, еврейском беженце с Украины. Алине рассказик совсем не понравился.

— Юноша, вам еще идти и идти. В рассказе отца я каждое слово чувствовала, каждый оттенок цвета. Я бы сама точно так же все описала, — заявила она без тени смущения. Леня молчал, жуя миндальное печенье.

— Ну, шо ж, — сказала она, запаливая сигарету, — я вам не писатель. Но у меня тоже есть для вас рассказ. Это о любви. И обо мне. Слушайте.

Она сняла ногу с ноги и продолжила.

— Вы знаете, как эти вещи начинаются. Мы с Леней вместе в университете учились. Он стал ученым-химиком в закрытом институте, а я учительницей химии. Потом настала середина 1970-х, волна. Папочка еще был жив; нашей старшенькой, Ниночке, был всего годик. А мне, значит, около тридцати — я тогда больше не хотела детей, все думала сама пойти в аспирантуру. Вот мы и подали на выезд. Леньку уволили, и в ОВИРе сказали, что мы никогда не уедем. Стали мы отказниками. Через два года мой брат Сеня выехал. Папы уже не было в живых, и мама поехала в Америку с братом. А мы застряли, как телега в осенней грязи. На дворе шел 1982 год, Леня работал на заводе удобрений — это с кандидатской и публикациями, а я так и преподавала химию в школе. Они не могли меня тронуть. У меня по всей области были лучшие показатели.

— Ученики Алину просто обожали, — добавил Леня.

— Ну да ладно, я ведь о другом. Была я тогда вполовину сегодняшних габаритов и еще могла нравиться, так, Леня, ведь правда?

— Ты и сейчас у нас красавица, Алиночка, — заторможенно ответил Леня.

— Да, это раньше, пока Сашку не родила. Вот сейчас скину лишний вес, — лихо сказала она и шлепнула себя по бедру. — Я это все вам рассказываю, как пример парадоксов любви, — Алина продолжила рассказ. — Я его знала много лет, на самом деле еще со старших классов. Он был моим первым. Уже потом, в университете, у нас был серьезный роман. Он стал комсомольским вожаком, быстро продвинулся. У него все было как надо: происхождение, внешность, мозги. Такой классический брежневский красавчик из провинции. Сейчас он застрял во вторых секретарях обкома. Он бы гораздо выше сидел, если бы не был таким кобелем насчет баб. Я это всегда про него знала, но меня тянуло к нему, сначала в школе, потом в университете. А особенно влекло, когда мы снова стали видеться — уже когда мы с Леней попали «в отказ». У него была жена, тоже, кстати, еврейка, у него какая-то особая тяга к еврейкам. Идея фикс. Мы встречались в олимпийском спортзале, где у него дружбан был тренером по гимнастике — мы все когда-то в школе вместе учились. Вот он нас и пускал в свою раздевалку с душем. Этот яд все сочился и сочился, потом в марте нам дали разрешение. Я Лене все открыла. Он упал на колени и стал меня умолять. Часами умолял не бросать его. Ради детей, он сказал. И вот мы здесь, едем в Кливленд. В штат Огайо, будь он неладен.

Пока супруги Соловейчики поднимались из выцветших шезлонгов на балконе, я взглянул на Алину, как можно более незаметно, уголком глаза. Большие веревочные вены, словно аквамариновые ящерицы, взбирались по ее крупным ногам, оголенным под задравшейся ярко-зеленой юбкой. Но ее молодое лицо завораживало темной, печальной украинской красотой. «Как это может быть, — думал я, — что меня влечет к этой грузной, горластой сорокалетней женщине из Львова?»

Соловейчики уехали из Италии раньше нас, и мы увиделись лишь через два года. В июне 1990-го я заехал к ним в Кливленд по дороге в университетский городок Блумингтон в штате Индиана, где должен был преподавать в летней школе. Алина работала техником-лаборантом. У Лени уже была кандидатская степень, но он решил получить «американскую Ph. D.» и учился в докторантуре. Изнутри их домик-ранчо в районе Кливленд-Хайтс выглядел как советская квартира, да и сами супруги не утратили своей советской внешности, особенно по контрасту с их обамериканившимися детьми. Старшая, Ниночка, уже была в девятом классе муниципальной школы, а мальчики, Саша и Вовочка, учились в еврейской частной школе.

Прошло больше двадцати лет с тех пор, как мы познакомились с Соловейчиками в Ладисполи. Алина и моя мама до сих пор время от времени перезваниваются, но за все эти годы они ни разу не виделись. То же происходило и с другими семьями, подружившимися в Ладисполи. Новая жизнь разбрасывает иммигрантов по стране, и люди теряют связи безо всякой причины, просто так. Но при этом некоторые воспоминания и персонажи сохраняются и продолжают жить в прошлом — такие же яркие, как и при расставании с ними. Мне трудно представить ладисполийский пляж без Соловейчиков в центре кадра. Алина стоит на цветастой простыне под жарким до помутнения полуденным солнцем и переодевается, снимая черный купальник-бикини с золотыми застежками.

— Леня, возьми бебехи и детей, и давай уже идем, — командует она.

— Алиночка, держи, пожалуйста, полотенце. Все пялятся! — срывается обычно флегматичный Леня.

— А шо такого? Пусть пялятся, если им приятно. Ты бы лучше радовался, что твоей толстой жене есть еще что показать.

Она поворачивается к моей маме, подмигивает ей и начинает так заразительно хохотать, что мама не может удержаться и делит с Алиной комнату смеха, а мы смотрим на них и улыбаемся, развалясь на черном песке Ладисполи. В этих кадрах мы всё еще томимся в ожидании Америки.

**9**

**Изгнание в рай**

Мы прилетели в Америку в конце августа 1987 года на борту теперь уже несуществующей Trans World Airlines (TWA). Самолет был полон иммигрантов — из СССР, Польши, Индии, Пакистана, Египта, — и мы все аплодировали, когда он приземлился на посадочной полосе в аэропорту «Кеннеди» в Нью-Йорке. Впереди была новая жизнь в Новом Свете. К моменту, когда мне летом 2007 года исполнилось сорок, я уже прожил в Америке полжизни — немалое достижение для того еврейского юноши из Москвы, каким я был когда-то.

Лето, которое я провел в Австрии и Италии в 1987 году, вымостило путь к отделению моего русского «я» от моего американского «me». Как временной буфер, три месяца, о которых рассказано в этой книге, разделили мою жизнь, отмежевав российское (и советское) прошлое от американского настоящего. Однако этот рассказ об эмиграции не будет завершен, пока я не опишу еще одно приключение, которое произошло почти в самом конце нашего пребывания в Италии. Это был первый и пока единственный случай в моей жизни, когда я ощутил себя бедняком…

Представьте себе вторую неделю августа в Сорренто. Жара начинала спадать, и потные ладони летнего дня уже не так сдавливали горло и шею. Мы с мамой совершали трехдневный тур по югу Италии. Папа остался в Ладисполи — за неделю до этого он уже побывал в Помпеях и Сорренто в компании дяди Пини.

В Неаполе, после прогулки по замку Кастел Нуово, где булыжники пахли не тонкой пылью древней Европы, но дешевым красным вином и сардинами, наш гид настоял на посещении собора, в котором хранятся останки св. Януария. Имя этого святого покровителя Неаполя заставило меня вспомнить о снеге. Овеваемый благоуханным воздухом, я стоял посреди прохладного склепа и предавался ностальгическим воспоминаниям. Точно наяву я видел зимний пейзаж моей бывшей родины, сугробы, замерзшую реку, иней на проводах. Я целовал молодую женщину, лица которой так и не вспомнил, хотя у нее были теплые, смутно знакомые губы. Видения мои вдребезги разбились о каменные плиты собора, когда пожилой сторож дернул меня за рукав:

— Снимите шляпу, мистер, снимите ее. Вы в храме! — и сторож ткнул черным пальцем в мое украшенное синей лентой канотье. Мое недоумение разъярило его еще сильнее.

На ломаном уличном итальянском — смеси первокурсной латыни, инфинитивов и почти совсем неаполитанской жестикуляции — я попытался объяснить ему, что евреи не обнажают головы в присутствии Всемогущего, а напротив, всегда стараются сохранять их покрытыми, особенно в храме.

Сторож, судя по всему, различил в моих пространных объяснениях всего одно слово — «синагога», от которого лицо его полиловело.

— Синагога! Тут христианский храм! Снимай шляпу, ты… — сторож запнулся, явно испытывая недостаток слов. — Ты стоишь перед мощами св. Януария! Снимай или уходи из святилища!

Зря я не снял шляпу. И, конечно, нехорошо было смеяться над пожилым фанатиком. Но я же думал о снегах моей родной страны.

Следующей остановкой нашего экскурсионного тура были Помпеи. Вспомнив классическое полотно Карла Брюллова «Последний день Помпеи», я вообразил охваченных ужасом римлян, мужчин и женщин в красных тогах, выбегающих из домов и сметаемых потоками лавы. В том, что я увидел в Помпеях, не было ровным счетом ничего трагического или хотя бы торжественного. Вообразите двадцатилетнего молодого человека, разглядывающего — в обществе своей матери — фрески, на которых мужчины совокупляются с женщинами, с другими мужчинами и с животными! Вообразите карликов с копытами и с гигантскими членами. Представьте сухой жар едва перевалившего за полдень августовского дня в Помпеях! И попытайтесь зримо представить нас, двух беженцев из России, стоящими на окаменелой лаве под сводом лазурного неба посреди того, что некогда было Храмом Венеры!

Был у меня тогда рюкзачок — первый и последний. Мне подарила его американка, за которой я приударял в Москве последней моей зимой в России. Этот ярко-синий рюкзачок, теперь болтавшийся у меня за спиной, вмещал бумажник, свернутый анорак и записную книжку с именами и адресами всех, кого я знал в этом мире. Старый бумажник из желтой свиной кожи не лез ни в один карман. В бумажнике лежали семьдесят долларов, отложенных на поездку, и два беженских удостоверения личности, мое и мамино. Точнее говоря, это были даже не настоящие беженские документы. Нас лишили советского гражданства и заставили сдать паспорта перед отъездом из Москвы. Советские выездные визы служили нам удостоверениями личности при въезде в Австрию и Италию. И вот теперь эти подобия транзитных документов исчезли вместе с большей частью адресов моего прошлого, хранившихся в американском рюкзачке.

Я никогда не узнаю, что же на самом деле произошло. Наша группа направлялась к экскурсионному автобусу. Я сказал маме, что пойду поищу фонтанчик с питьевой водой. Нынешние Помпеи выглядят как координатная сетка окаменевшей памяти — узкие улицы, уставленные домами без крыш. Я свернул на ближайшую улицу, и она привела меня к фонтану. Дальнейшее походило на мираж: я помню, как положил рюкзачок на скамью в нескольких метрах от источника, как утолил жажду и подставил голову и плечи под тепловатую воду. Потом повернулся к широкой скамье из розового гранита, на которой мгновение назад лежал мой рюкзачок, но его там не было. Я стоял один посреди того, что было некогда римским городом наслаждений. Тщетно я искал хоть намек на мой ярко-синий рюкзачок, который был столь заметным на блеклых камнях Помпеев. Только послеполуденное небо южной Италии синело над головой — густая синева, растворяющая все и вся вокруг.

Что было делать? По какой бежать улице в этом лабиринте крошащихся стен? Я начинал сомневаться, в своем ли я уме. Может, я оставил рюкзачок в Амфитеатре? В Доме Трагического Поэта или в Доме Фавна? На Форуме? В Храме Юпитера? Пытаясь сориентироваться, я метался взад и вперед. Я старался вспомнить хоть что-нибудь, от чего можно было бы плясать, — фреску, фаллический барельеф, мусорный бак — любой ориентир. Теперь все помпейские дома казались мне одинаковыми, все люди с фресок — на одно лицо: козловидные существа с грязными кудрявыми гривами. Но в панике, обуявшей меня, я, однако, помнил, что опаздываю, что набитый людьми автобус ждет меня на стоянке. И я побежал что было сил. Бедная моя мама восприняла новость стоически. Но в собратьях-беженцах никаких признаков сочувствия не наблюдалось. Похоже, всю свою способность к сочувствию они оставили за турникетом советского паспортного контроля.

— Хватит уже, — рявкнул мне в лицо настройщик из Минска. — Мы уже опаздываем в Сорренто. (Как будто в Сорренто можно опоздать.)

— Не видать вам больше вашего рюкзачка, — проурчал дантист из Пинска. — В Америке купите себе новый.

— Теперь мама тебя отшлепает? — поинтересовалась путешествовавшая с глуховатой бабушкой пятилетняя девочка из Двинска.

Я стал упрашивать Анатолия Штейнфельда, которого жулик Ниточкин назначил старшим экскурсоводом тура, дать мне хоть немного времени.

— Десять минут, — выдавил он сквозь гнилые зубы. Штейнфельд бросил триумфальный взгляд в сторону моей мамы, которая сидела в глубине автобуса, прижимая руки к вискам. Как шакал, жаждущий отведать жар-птицу, Штейнфельд все еще на расстоянии вожделел мою маму, хотя после недавней экскурсии по северу Италии боялся это выказывать. Теперь он выражал свою похоть к чужой жене через открытую враждебность ко мне, ее сыну.

Я побежал в контору музея, надеясь, что там есть бюро находок. В конторе сидели трое мужчин, смотрители-итальянцы (как вскоре выяснилось), одетые в странное сочетание мундира и выдумки и говорившие по-английски еще хуже, чем я по-итальянски. Первым делом они потребовали у меня удостоверение личности.

— Документов у меня нет. Они лежали в рюкзачке.

— Но прежде чем начинать розыски пропавшего в Национальном музее, нам нужно проверить ваши документы. Откуда нам знать, может, вы хотите присвоить чужое имущество.

— Да поймите же, документы лежали в моем бумажнике. Бумажник находится или находился в синем рюкзачке, а рюкзачок пропал!

— Нам очень жаль, мистер, но в таких обстоятельствах мы ничего предпринять не можем. Попробуйте позвонить сюда попозже, вдруг что-нибудь обнаружится. Однако на вашем месте, — и чиновник улыбнулся улыбкой гробовщика, — я бы обратился к карабинерам. Иностранцы — это по их части.

Покидая Помпеи, мы с мамой чувствовали себя совершенно одинокими среди других беженцев из России. Лишенные транзитных документов, дававших нам право на въездную визу в Америку, мы казались себе не чем иным, как бессмысленными персонажами из прошлого. Положение наше было еще более абсурдно, так как нам оставалось провести в поездке целых два уже оплаченных дня. Не могли же мы просто выйти из автобуса и вернуться в Рим, где после долгих выяснений всего за неделю до отлета в Америку нам выдали новые транзитные документы.

На этих документах, выданных взамен пропавших, были наши черно-белые фотографии с клейменым штампом ХИАСа, выжженном в верхнем правом и нижнем левом углах. Новоиспеченные документы подтверждали тот факт, что фотографии действительно принадлежали мне и моей матери, а также указывали наши даты рождения, имена и фамилии родителей. Эти новые документы были еще менее официальными, чем изначальные советские выездные визы, украденные в Помпеях. На этих новых, доморощенных документах под текстом по-итальянски, удостоверяющем наши личности, каменнолицый чиновник службы иммиграции и натурализации потом проштамповал слова: «ПРИНЯТ В КАЧЕСТВЕ БЕЖЕНЦА В СОГЛАСИИ С РАЗД. 207 АКТА ИММ. И HAT. ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ США ПОНАДОБИТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ ИНС НА ВОЗВРАЩЕНИЕ. РАБОТАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ» и накалякал «J.F. К. 8/26/87», а также номер своего нагрудного знака. Иммиграционный чиновник проштамповал наши транзитные бумаги, отобрал у нас въездные американские визы, а также выдал каждому из нас по белой карточке с какими-то номерами и буквами, напечатанными красным цветом.

— Едете в Род-Айленд? — спросил иммиграционный чиновник, впуская нас в страну. — Приятное местечко. Прекрасные пляжи.

В каком-то тумане мы дошли до ресторана, где старые московские друзья, которые уже давно жили в Нью-Джерси, накормили нас сэндвичами, а потом проводили к другому терминалу, где мы сели в малюсенький самолет. Это был пропеллерный самолетик из тех, которые уже давно сняли с рейсов национальных американских авиалиний, и на его дребезжащих крыльях мы полетели из Нью-Йорка в карманную столицу самого маленького штата в Америке. С борта самолетика я взглянул вниз на город Провиденс, где пройдут мои первые два года в Америке, и где — по судьбоносному совпадению — выросла моя жена. Я взглянул на мой первый американский дом и подумал: «Боже, как Провидение может быть таким маленьким?»

Но это все произойдет только через две недели после нашей поездки на юг Италии… А пока наш автобус удалялся от Помпеев и места, где исчез мой ярко-синий рюкзачок. Перспективы попасть в Америку казались почти нулевыми. В карманах наших завалялось на все про все долларов двадцать, а помочь нам с мамой было решительно некому. Мы уже приближались к Сорренто, и Анатолий Штейнфельд сообщил нам, что в ясные дни с самой оконечности мыса, на котором стоит этот город, можно увидеть Капри. Остров Капри как раз и был целью нашей поездки.

Как мне передать ощущения того вечера в Сорренто? Поцарапанный техниколоровый фильм, который я снимал и в котором снимался? Выцветшие краски, притупившиеся ощущения. И только одно острое чувство: тоска. Из этой гавани сирены-соблазительницы манили к себе Одиссея. Сорренто был вечным мотивом моего российского детства, и вот я попал на его улицы и площади парией и нищим. Все годы, пока мы жили за железным занавесом, я безумно хотел увидеть Сорренто. Меня тянуло туда, тянуло ко всему, что я знал об этом городе. Сколько великих писателей бродило по этим улицам, сидело в этих тратториях! Сколько раз я пытался вообразить Сорренто, глядя из окна моей московской спальни на серые февральские сугробы. О чем они размышляли, посасывая папиросы и потягивая кьянти? Скучали ли по родной земле? Горький — по Волге, так широко разливающейся по весне; Ибсен — по туманной, таинственной Христиании… Я по России не скучал. Или скучал, конечно, но ясно понимал, что возврата нет и не будет. В Сорренто я ощутил совершенную зыбкость бытия, тоскуя уже не по прошлому, но по будущему, которое теперь казалось мне, лишившемуся денег и документов, попросту невозможным.

На главном променаде витрины магазинов ломились от серебра и бирюзы. Шикарные парочки целовались взасос прямо посреди толпы. Оркестрики играли «Вернись в Сорренто», а мы с мамой изо всех сил старались не вдумываться в смысл этих слов.

Самодовольный Анатолий Штейнфельд в новой шляпе и темных очках проплыл мимо. Потом он развернулся и догнал нас с мамой.

— Мадам, не заинтересует ли вас романтический ужин со мной? — обратился он к маме.

— Слушайте, Штейнфельд, — мама ответила так быстро и четко, что румянец сыновней гордости ударил по моим щекам и кончикам ушей. — Во-вторых, вы разве не видите, что меня уже пригласили на свидание? — сказала она, опираясь на сгиб моего локтя. — А во-первых, разве в Болонье мой муж вам не велел держаться от меня подальше? Так вот, он будет встречать автобус в Ладисполи на главной площади. А дважды он никогда не предупреждает.

Мама развернулась на каблучках и потянула меня за собой в поток расписной соррентийской толпы. Как я любил ее такой сильной, такой решительной!

Мы купили два ломтика самой дешевой, какую сумели найти, пиццы и слонялись от одного открытого кафе к другому, слушая музыку и не решаясь занять столик. В конце концов мы отыскали кафе, показавшееся нам не таким устрашающим, как остальные, и притулились за угловым столиком, подальше от музыкантов и туристов, восседавших над здоровенными блюдами с салатами и макаронами. Наконец, официант нас все-таки углядел, и мы потребовали карту, словно намереваясь заказать основательный ужин. А когда он подошел снова, я попросил показать нам десертное меню. «Мы передумали. Не голодные», — объяснил я. Мы заказали самую маленькую порцию джелато, фисташкового и арбузного, и немного воды в придачу. Официант смерил нас взглядом, каким патриций удостаивает нищего попрошайку. Он принес блюдце с двумя крохотными шариками мороженого и одной чайной ложкой, а про воду и вовсе забыл. В жизни не пробовал мороженого вкуснее того, которое мы с мамой съели тогда, в Сорренто, на закате.

Было время, когда до рая всякий мог добраться пешком. Можно было оставить позади Сорренто со всей его мирской суетой и сутолокой, с тщетою его причудливых толп, с дорогими ресторанами и сотнями лотков, с которых торгуют мороженым. Просто-напросто покинуть эту обитель карманников и уличных музыкантов и дойти по узенькому перешейку до самого прекрасного места, какое только есть на всем земном лике. Потом вдруг природная катастрофа заставила скалы, соединявшие Капри с материком, опуститься на дно, и возник остров, на который ныне можно попасть лишь по воде. Ну и пусть, так или иначе, а до него все-таки можно добраться!

Поутру, неплотно позавтракав, мы погрузились на паромчик, принадлежащий Navigazione Libera del Golfo. Во времена моего детства совершенный близнец этого паромчика ходил между правым и левым берегами Москва-реки. Такой же престарелый инвалид — облезшая краска, скрипучие двери и пенсионного возраста команда. И вот теперь итальянский паром медленно приближался к конечному пункту нашего путешествия, а мы с мамой сидели на верхней палубе, мысленно перебирая происшествия вчерашнего дня. И чем ближе подходили к Капри, тем легче становилось у нас на душе и тем незначительнее представлялись вчерашние невзгоды. На осмотр Капри у нас было восемь часов плюс десять долларов на двоих, а также половина пленки в старом фотоаппарате, который мой дед привез из Восточной Пруссии среди прочих трофеев 1945 года. Фотографировали мы все больше глазами, и эти фотографии по-прежнему свежи в моей памяти. В тот день мы побывали едва ли не всюду. Сначала бурлящая толпа туристов увлекла нас на Пьяцца Умберто I с ее переполненными кафе и магазинчиками, с гудящей в ушах немецкой и английской речью. Мы читали вслух меню — написанные, точно программы концертов, мелом на грифельных досках. Увертюра: *insalata caprese*  (сыр моцарелла, помидоры, базилик). Вступает первая скрипка: кролик, приготовленный с уксусом и розмарином. Лимонные печенья, *limoncelli,*  точно трели пикколо.

Остров Капри, как мы вскоре узнали из выставленной для всеобщего обозрения карты, вмещает два городка, Капри и Анакапри, и несколько маленьких поселений. Мы решили подняться в горы так высоко, как позволяли нам ноги, — поездка кресельным подъемником из Анакапри на Монте Соларо была нам определенно не по карману. Мы прошли городским парком с кустами миндаля и прогуливающимися парочками ухоженных, светловолосых мужчин. Мама углядела лоток, заставленный сотнями темно-зеленых бутылочек, — это были духи, приготовленные из местных ингредиентов.

— Какие у вас есть запахи? — спросил я длинноногую продавщицу в платье из мягкой желтой материи.

— Любые, — и ее пальчики подхватили один из флакончиков, открыли и протянули маме, а после мне. Из бутылочки повеяло цветущим миндалем. Потом она взяла другой флакончик, и из него пахнуло прохладой океанского бриза. Итальянка держала цветущий миндаль в правой руке, океанский ветерок в левой и улыбалась.

— Мы можем смешать эти ароматы в любимой вами пропорции.

Я хотел было спросить, умеют ли они воссоздавать запахи по описанию — свежескошенное сено, аромат женских волос после долгой ванны, но мне не хватало слов, ни английских, ни итальянских, чтобы это передать.

Есть на свете места, в которых мечтает побывать всякий русский. Одно из них — Париж, другое — Рио-де-Жанейро, третье — Капри. Посетив их, вы умрете счастливым. Мы с мамой нашли на горной террасе открытое кафе с видом на Неаполитанский залив, заказали одну чашку чаю и к нему лимонного печенья. Нам принесли чай в чайничке из нержавеющей стали, молоко и лимон — на выбор. И никаких сожалений мы, расставаясь с семью долларами, не испытали.

— Ты помнишь Геймана? — будто бы невзначай спросила мама.

— Да, прекрасно помню. А что?

— Он всегда мечтал когда-нибудь попасть на Капри. Знал об этом острове все до последней мелочи. Из книг.

Гейман преподавал в Московской консерватории теорию музыки. По рождению он был польским евреем, но избегал всяких упоминаний об этом. Мы знали, что он вырос в Кракове в немецкоязычной семье психиатра. И полагали, что родителей Геймана убили нацисты. Музыка и поэзия — вот две страны, от которых, единственных, он не отрекся. Он был женат на бывшей своей аспирантке, нежной белокурой славянке с кошачьими глазами и вечным румянцем на щеках. Их сын, Кеша, был в средних классах моим лучшим другом. У него в детстве была самая добрая, самая искренняя улыбка, которую я когда-либо встречал. В старших классах, когда мы немного разошлись, Кеша стал боксером и выиграл несколько крупных соревнований. Его забрали в армию из института; вернулся он уже другим, поврежденным человеком. Через семестр после возвращения он бросил институт и ввязался в какие-то сомнительные дела. Время от времени он появлялся, просил у общих московских друзей денег для поддержки «выгодного бизнеса» или оплаты долгов — тех, которые не выплатил его отец. Потом исчез с концами.

Сколько я помню Геймана, он всегда трудился над одной и той же книгой — разбором музыкальной карьеры Стравинского. В конце дня, проведенного в консерватории, он возвращался домой, ронял на пол прихожей потрепанный портфель и прямо в зимнем пальто и котиковой шапке направлялся к пианино. Играл около часа — обычно из фуг Стравинского, порой останавливаясь в середине фразы. Поздним мартовским вечером, за два года до того, как мы уехали из России, жена так и нашла его, мертвого, за инструментом.

— Жаль, что ему так и не довелось увидеть Капри, — после долгого молчания сказала мама. — При жизни. Интересно, как бы он все это воспринял?

Так мы и сидели, мама и я, за одной чашкой чаю, почти на самой верхушке горы-острова. Казалось, весь мир у наших ног. У нас не было ни гроша за душой, никаких документов и удостоверений личности. Мало того, мы, казалось, застряли на пути из одной страны в другую. Жизнь менялась на глазах, но чувствовали мы себя на редкость спокойно — так, словно сама судьба положила нам на плечи свои невесомые руки.

За соседним столиком завтракала чета американцев. Он, пузатый, в красной бейсбольной кепке. Она — с тройным подбородком, в шаблонных, будто бы цыганских серебряных серьгах с бирюзовыми камушками, скорее всего, купленных здесь же, на острове. Разбитной официант принес им две тарелки с трехпалубными сэндвичами, две бутылки кока-колы и два высоких узких стакана. Гаргантюанских размеров сэндвичи источали манящие ароматы копченостей и горчицы. Молча, сосредоточенно американцы вгрызались в сэндвичи, глотали кока-колу.

Им было так хорошо, так уютно в своих «я», что они и думать не думали о каких-то там страхах и запретах, о тревоге за будущее. Они казались — были — людьми до неправдоподобия американскими, будто их окружали прозрачные пузыри, наполненные воздухом их родных штатов — Огайо или Пенсильвании. Беседуя, они называли друг друга «hun» и «luv» (усеченное и искаженное «honey» и «love» — «мой сладкий», «любовь моя»). Разговор состоял из важных замечаний относительно качества итальянской еды: «их» хлеба для сэндвичей, «их» сыра, «их» индейки. Нам с мамой становилось все труднее придерживаться отвлеченных тем.

— Как ты думаешь, какая она, эта Америка? — спросила мама. Говорили мы, разумеется, по-русски; сэндвичевая чета понять нас не могла. — Какая она на самом деле?

— Думаю, там классно. Это что-то вроде игры, правил которой никто не знает, но при этом все по ним играют. Наверное, жить там легко. Просторно. А ты, мамочка, как ты ее себе представляешь?

— Трудно сказать. Надеюсь, это страна, в которой ты не обязан ни в чем участвовать, если сам того не хочешь. Роскошные пляжи… Не знаю… Мне кажется, я слишком много мечтала о ней. Пора уже ехать туда.

— По-моему, американки очень сексапильные.

Внизу под нами виднелся опоясывающий Капри песчаный пляж. Узкая полоска его кишела жизнью, переливалась красками и солнечными бликами.

— Мам, давай пообещаем друг другу, что когда-нибудь вернемся сюда — я, ты, папа, и, кто знает, вдруг я влюблюсь и женюсь. И мы, вчетвером, будем сидеть вот в этом кафе, смотреть через залив на Сорренто и закажем такие же сэндвичи, много сэндвичей, и, конечно, шампанское. И будем разговаривать о нашей новой жизни в Америке и вспоминать старую — в России. Как тебе это?

— Замечательно. Особенно насчет американской жены. Я ее уже почти представляю.

Легкое облачко пронеслось над нашими головами. Вскрикнула чайка. Порыв ветра сдул со стола салфетку.

— Пора идти, — мама глянула на часы. — На этот раз нас с тобой не станут дожидаться. А платить за паром нам нечем.

— Слушай, мама, а может, останемся здесь? Как ты насчет того, чтобы навсегда поселиться в раю?

— Я, пожалуй, еще не готова. Да и папе здесь не очень понравится.

Мы встали, и я обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на счастливую американскую чету, уже приступившую к кофе с пончиками в сахарной пудре.

Теперь, после двадцати пяти лет в Америке, когда мне случается пасть духом, я вспоминаю, как мы с мамой спускались по серпантину к пристани. Ни с того ни с сего пошел дождь. Мы миновали старуху с розовым осликом, потом двух державшихся за руки мужчин, потом мальчика с удочкой. Мы обменивались взглядами, только взглядами. Никакие слова не годились для того, чтобы выразить чувство райской нищеты.

*1996–2006, 2009–2012*

**Послесловие**

В наше время, когда сам климат культуры призывает читателей и издателей рассматривать с тысячекратным увеличением и просвечивать всяческими «лучами» отношения между сырым материалом так называемой реальной жизни и законченной литературной продукцией, я испытываю необходимость высказать несколько наблюдений о моей книге и о том, что в ней описывается.

«В ожидании Америки» — творческий продукт памяти и воображения. Я изменил или даже скрыл имена некоторых людей и организаций, которые стоят за ее страницами. Более того, сама природа реконструкции событий прошлого и повествовательной передачи этих событий требовала, чтобы я время от времени отпускал бразды правления текстом и позволял музам наполнять мои паруса горячим дыханием.

Сочинительство и поэтизацию, как я полагаю, не следует противопоставлять повествовательной правдивости. На самом деле, сознательное авторское управление языком, стилем и структурой повествования превращает документальную бормотуху в художественное произведение нужной выдержки и чистоты. Мне представляется, что попытки читателя выявить, где же именно автор теряется в поисках фантома истинности и аутентичности, заведомо обречены на провал. Такого рода попытки лишают и радости узнавания, и наслаждения художественным откровением. С моей точки зрения, все события, которые я представил в этой книге, «реально» происходили.

*М. Д. Ш.  28 января 2007 года — 12 декабря 2009 года — 24 июля 2012 года  Честнат Хилл — Бруклайн — Саут Чэттэм, шт. Массачусетс*

**Благодарности**

Автор выражает благодарность: переводчикам — Маше Аршиновой, Сергею Ильину, Давиду Шраеру-Петрову и Эмилии Шраер — за проделанную работу; Екатерине Царапкиной и Максиму Мусселю за поддержку перевода этой книги на русский язык; Леону Когану и Ольге Кононовой — за помощь в подготовке рукописи; Михаилу Безродному — за ценные замечания по рукописи перевода; Павлу Подкосову, Ирине Серегиной и их коллегам — сотрудникам издательства «Альпина нон-фикшн».

**\* \* \***

Издание подготовлено при поддержке Бостонского колледжа (Boston College, USA). Издательство передает 100 экземпляров книги в научные организации, библиотеки и учебные заведения России.

**Об авторе**

Максим Д. Шраер (Maxim D. Shrayer) родился в 1967 году в Москве. Вместе с родителями, писателем Давидом Шраером-Петровым и переводчицей Эмилией Шраер (Поляк), провел почти девять лет «в отказе» и в 1987 году иммигрировал в США.

Шраер учился в Московском государственном университете, окончил отделение сравнительного литературоведения Брауновского университета, а в 1995 году получил докторскую степень по русской литературе в Йельском университете. В настоящее время профессор русистики, англистики и еврейских исследований в Бостонском колледже (Boston College). Двуязычный автор и переводчик, Шраер был удостоен Национальной еврейской премии США в 2008 году и стипендии Фонда Гуггенхайма в 2012 году.

Кроме книги «В ожидании Америки» (Waiting for America) англоязычная художественная проза Шраера представлена сборником рассказов «Йом Киппур в Амстердаме» (Yom Kippur in Amsterdam: Stories, 2009). В настоящее время готовиться к печати книга «Покидая Россию» (Leaving Russia) — приквел к книге «В ожидании Америки». Рассказы и переводы Шраера публиковались в таких известных американских и британских журналах, как *Agni, Kenyon Review, New Writing, Partisan Review, Southwest Review*  и др.

На русском языке вышли три сборника стихов Шраера: «Табун над лугом» (Нью-Йорк, 1990), «Американский романс» (Москва, 1994), «Ньюхейвенские сонеты» (Провиденс, 1998).

Шраер также опубликовал ряд критических и биографических исследований на русском и английском языках. Среди них «Мир рассказов Набокова», «Русский поэт/советский еврей: наследие Эдуарда Багрицкого», «Набоков: темы и вариации» и др. В соавторстве со своим отцом выпустил монографию «Генрих Сапгир: классик авангарда» (2004). В 2013 году выходит новая книга Шраера о поэтах — свидетелях Шоа.

Максим Д. Шраер живет в предместье Бостона вместе с женой и двумя дочерьми.

Сайт автора: www.shrayer.com.

**О КНИГЕ «В ожидании Америки»**

*Сюжет книги Максима Д. Шраера захватывает с первых страниц: эмигранты из Советского Союза на полпути к Новому Свету. В середине 1980-х в Вене, а потом в Италии они целое лето ожидают перелета в Америку. Поразительная человеческая ситуация, так талантливо найденная, такая художественная, метафорическая, сильная, что невозможно не вспоминать сюжет Данте. Хотя главный герой Шраера не прошел и четверти жизни — ему двадцать лет, а европейский пейзаж, в котором он с родителями оказался, не назвать сумрачным лесом. Самый выбор темы выдает мастерство автора. С блеском ее разрабатывая, Шраер пишет пронзительную и веселую, населенную многочисленными персонажами и полную великолепных подробностей книгу. Это одновременно книга прощания и хроника переселения в иной мир. Не просто в географическую Америку, но, как становится ясно к финалу, высшей точкой которого становится чтение книги Набокова, — в мир литературы, писательства, творчества.*

*—***Олег Дорман, кинорежиссер**

*Мы пишем о родных и дорогих людях, которых больше нет, и этим продлеваем им жизнь, нашей любовью и словами делаем их немножко бессмертными. Максим Д. Шраер вернул жизнь событиям, которые теперь будут происходить всегда.*

*—***Михаил Шишкин, писатель**

*Грустное (но без вельтшмерца) и веселое (но без одессизма) повествование о жизни советских евреев, ждущих в Австрии и Италии виз, чтоб переселиться на кисельные берега молочной реки Гудзон. Среди запоминающихся надолго — рассказ о московском скрипаче, который, преодолев все границы без документов, возникает на ступенях римского отеля, точно чертик из табакерки, — история, бросающая вызов законам не только бюрократической механики, но и сюжетной баллистики: провербиальная палка доказывает, что стреляет не хуже чеховского ружья.*

*—***Михаил Безродный, писатель, литературовед**

*Сила этой книги лежит прежде всего в велеречивой нео-прустианской прозе Шраера, блестяще динамичной, пронизанной шоком узнавания и богато расцвеченной пейзажами, описаниями и авторскими отступлениями. Рассказчик и его рассказы пленяют и завораживают.*

*—***Сэм Коул, Providence Journal**

*Теперь, много лет спустя, Шраер вспоминает об этом нелегком времени с шармом, проницательностью и неожиданным юмором. Прекрасная книга.*

*—***Лиза Перл Розенбаум, Jewish Book World**

*Переполненная девушками, родителями, безумными родственниками, путешествиями, смешными историями, книгами и радостью нового жизненного пути… «В ожидании Америки» блестяще выполняет свою задачу.*

*—***Мими Шварц, JBooks**

*«В ожидании Америки» — из тех мемуарных книг, которые, как «Говори, память» Набокова, скорее передают ощущение происходящего, а не повествуют о нем.*

— **Дэвид Мохиган, Boston Globe/Off the Shelf**

**Примечания**

**1**

Спустя три недели, уже в Италии, я прочитаю третий сборник русских рассказов Владимира Набокова «Весна в Фиальте». Там есть рассказ под названием «Посещение музея». В этой фантасмагории русский эмигрант посещает местный музей где-то на французской Ривьере и теряется в пещерных коридорах истории. Читая набоковский рассказ на горячем черном песке тирренского пляжа в итальянском городке Ладисполи, я буду вспоминать о музее в Габлице, о невозмутимой абсурдности его собрания, об оленьих рогах и охотничьих сценах и о выборочном подавлении памяти о прошлом.

**2**

Забегая чуть вперед, добавлю здесь одно примечание. В начале августа к нам в Ладисполи из Тель-Авива прилетел дядя Пиня, восьмидесятилетний дядя моего отца, социалист левого крыла. Все вместе мы как-то обедали у нас на балконе, и дядя Пиня, которого распирал пропагандистский зуд, заявил на своем слегка устаревшем русском: «Вы, мои дорогие, хорошие ханжи. Вы не делитесь друг с другом интимными переживаниями. Это большая проблема». И он рассказал о своей семидесятивосьмилетней подружке и их не совсем удачных любовных отношениях. Вдохновленный утопическим жаром дяди Пини, я поведал всем присутствующим о том, как мы с Ланой оказались вместе на заднем сиденье «Мустанга». «И что тут удивительного? — резюмировал дядя Пиня. — Она была голодна!»

